



Джордж Орвелл 1984

ROMA

---



## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### I

Был ясный холодный апрельский день, и часы пробили тринадцать. Пригнув подбородок к груди, чтобы укрыться от отвратительного ветра, Уинстон Смит быстро проскользнул в стеклянные двери Особняка Победы, не успев, однако, помешать вихрю песчанной пыли ворваться следом.

В коридоре пахло вареной капустой и старыми половиками. В конце коридора висел разноцветный плакат, казавшийся слишком большим для того, чтобы вешивать его в помещении. Он изображал громадное — более метра в ширину — лицо мужчины лет сорока пяти с густыми черными усами и с грубо-красивыми чертами. Уинстон стал взбираться по лестнице. Нечего было и думать о лифте. Даже и в лучшие времена он редко работал, а теперь электрический ток днем вообще не подавался. Это было частью режима экономии, которым отмечалась подготовка к Неделе Ненависти. До квартиры надо было пройти семь пролетов лестницы, и Уинстон, в свои тридцать девять лет и со своей верикозной язвой над правой лодыжкой, поднимался медленно, несколько раз отдыхая по пути. На каждой площадке против шахты лифта пристально смотрело с плаката громадное лицо. Это был один из тех портретов, на которых глаза посажены как-то так ловко, что следуют за вами, куда бы вы ни двинулись. «Старший Брат охраняет тебя» — гласила надпись под портретом.

В квартире мелодичный голос читал перечень цифр, имевших какое-то отношение к выплавке чугуна. Голос исходил из металлического овального диска, похожего на ту-

склое зеркало, вделанное в стену направо от входа. Уинстон повернул выключатель, и голос понизился, хотя слова все еще можно было разобрать. Аппарат (называвшийся теле-скрином) можно было только притушить, но не выключить совсем. Уинстон подошел к окну. Синий комбинезон члена Партии лишь подчеркивал его невысокий рост, хрупкое телосложение и худобу. У него были очень светлые волосы и лицо сангвиника, кожа его загрубела от скверного мыла, от тупых бритвенных лезвий и от зимней стужи, которая только что успела кончиться.

Даже сквозь закрытые окна мир снаружи выглядел неприютно-холодным. На улице порывы ветра закручивали в воронки пыль и клочки бумаги, и, хотя сияло солнце и небо было ярко-голубым, всё казалось каким-то бесцветным, кроме наклеенных везде плакатов. Лицо с черными усами пристально смотрело с каждого важного перекрестка. Один из плакатов висел на фасаде дома прямо напротив. «Старший Брат охраняет тебя» — говорила надпись, в то время, как темные глаза глубоко смотрели на Уинстона. Ниже, на уровне улицы, другой плакат с порванным углом судорожно полоскался на ветру, то открывая, то закрывая единственное написанное на нем слово: АНГСОЦ. Вдали, между крышами, плавно скользнул вниз вертолет, повис на мгновение в воздухе, словно синяя мясная муха, и опять устремился дальше в кривом полете. Это полицейский патруль подглядывал в чужие окна. Но патрули — это пустяк. Иное дело — Полиция Мысли . . .

За спиной Уинстона телескрин всё еще что-то бормотал насчет производства чугуна и перевыполнения плана Девятой Трехлетки. Телескрин соединял в себе приемник и передатчик. Он улавливал любой звук, едва превышавший самый осторожный шопот; больше того, — пока Уинстон находился в поле зрения металлического диска, его могли так же хорошо видеть, как и слышать. Нельзя было, конечно, знать, следят за вами в данную минуту или нет. Можно было только строить разные догадки насчет того, насколько

часто и какую сеть индивидуальных аппаратов включает Полиция Мысли. Возможно даже, что за каждым наблюдали постоянно. И во всяком случае, ваш аппарат мог быть включен когда угодно. Приходилось жить, и, по привычке, превратившейся в инстинкт, люди жили, предполагая, что каждый производимый ими звук — подслушивается, и любое их движение, если его не скрывает темнота, — пристально наблюдается.

Уинстон стоял спиной к телескрину. Так было безопаснее, хотя, как он отлично знал, даже и спина могла вас выдавать. На расстоянии километра высилось над окружающим тусклым ландшафтом громадное белое здание Министерства Правды — место его работы. Это Лондон, — думал Уинстон со смутным отвращением, — Лондон, главный город Первой Посадочной Полосы, которая сама является третьей по числу жителей областью Океании. Он старался выдать из памяти хоть несколько воспоминаний, которые могли бы подсказать ему, всегда ли Лондон был таким, каков он сейчас. Всегда ли были эти нескончаемые вереницы неопрятных домов девятнадцатого века, подпертые балками по сторонам, с залатанными картоном окнами, с крышами из гофрированного железа и с этими дурацкими садовыми оградами, покосившимися во все стороны? А разрушенные бомбами кварталы, где кружится в воздухе известка, и ивняк вьется по грудам развалин? А громадные, оставшиеся от бомбардировок пустыри, на которых выросли грязные колонии деревянных лачуг, похожих на курятники? Но, увы, — он не мог припомнить ничего: от детства сохранилось лишь несколько ярко освещенных картин, возникавших безо всякого фона и в большинстве случаев непонятных.

Министерство Правды — Минправ на Новоречи\*) — поразительно отличалось от всего, что открывалось в этот миг взору Уинстона. Это было грандиозное пирамидальное строе-

\*) Новоречь — официальный язык Океании.

ние из сверкающего белого бетона, терраса за террасой устремлявшаяся ввысь на триста метров. Оттуда, где стоял Уинстон, можно было прочесть три лозунга Партии, высеченные изящными буквами на белом фоне здания:

ВОЙНА — ЭТО МИР  
СВОБОДА — ЭТО РАБСТВО  
НЕВЕЖЕСТВО — ЭТО СИЛА

Рассказывали, что Министерство Правды насчитывает три тысячи комнат над землей и столько же под нею. В разных концах Лондона имелось лишь еще три здания такого же вида и размера. Они так подавляли окружающие их строения, что с крыши Особняка Победы можно было видеть все четыре одновременно. Это были здания четырех министерств, между которыми делился весь аппарат государственного управления: Министерство Правды, занимавшееся информацией, увеселениями, образованием и изящными искусствами; Министерство Мира, ведавшее делами войны; Министерство Любви, охранявшее порядок и законы и Министерство Изобилия, ответственное за экономические дела. На Новоречи они назывались: Минправ, Минмир, Минлюб и Минизобилие.

Самым устрашающим из всех было Министерство Любви. В здании, которое оно занимало, не было ни одного окна. Уинстон не только не бывал ни разу в этом Министерстве, но и никогда не подходил к нему на расстояние меньше полукилометра. Туда вообще можно было войти только по служебному делу, и тот, кто шел по делу, попадал в здание сквозь лабиринт колючей проволоки, через стальные двери, мимо скрытых пулеметных гнезд. Даже по улицам, ведущим к его внешним укреплениям, бродили охранники с мордами горилл, одетые в черную форму и вооруженные дубинками.

Уинстон круто повернулся. Он придал своим чертам выражение спокойного оптимизма, которое рекомендовалось принимать, обращаясь лицом к телескрину. Затем он

направился в крохотную кухонку. Уйдя в это время дня из Министерства, он лишился обеда в буфете, хотя и знал отлично, что дома ничего нет, кроме куска черного хлеба, который следовало сохранить на завтрак. Он взял с полки бутылку бесцветной жидкости с простой белой этикеткой, на которой значилось: «Джин Победа». От жидкости тошнотворно отдавало сивухой, как от рисовой китайской водки. Уинстон налил почти полную чашку и, набравшись мужества, одним духом выпил, словно порцию лекарства.

Его лицо мгновенно побагровело, и из глаз покатались слезы. Жидкость походила вкусом на азотную кислоту, и человек, глотнувший ее, чувствовал себя так, будто его стукнули резиновой дубинкой по затылку. Однако, в следующую минуту жжение в желудке прекратилось, и мир повеселел. Из помятой пачки с надписью — «Сигареты Победа» — Уинстон вынул папиросу и неосторожно повернул ее концом вниз, отчего табак тотчас же высыпался на пол. Со второй ему повезло больше. Он вернулся в гостиную и уселся за маленький столик, налево от телескрин. Затем он вытащил из ящика ручку, бутылку чернил и объемистую тетрадь с красным корешком и обложкой под мрамор.

В этой комнате телескрин занимал почему-то необычное положение. Вместо того, чтобы висеть, как полагалось, против двери, откуда была видна вся комната, он был вделан в длинную стену против окон. В той же стене, сбоку от телескрин, имелась неглубокая ниша, где сейчас сидел Уинстон и где, по мысли строителей дома, должны были, по видимому, находиться книжные полки. Сидя в этой нише и откинувшись как можно дальше назад, Уинстон был незрим для телескрин. Пока он оставался в положении, какое занимал теперь, его могли лишь слышать, но не видеть. Эта необычная «география» комнаты отчасти и подсказала ему мысль — заняться тем, что он сейчас собрался делать.

Впрочем, к этому же побуждала его и тетрадь, которую он только что достал из ящика. На редкость красивая тетрадь! Такой гладкой кремовой бумаги, хотя и успевшей

слегка пожелтеть от времени, не делали по крайней мере уже сорок лет. Уинстон мог предполагать, однако, что этой тетрадке даже больше сорока лет. Он увидел ее в окне грязной лавки старьевщика где-то в городских трущобах (квартала он теперь уже не помнил), и его сразу охватило страстное желание приобрести ее. Членам Партии не разрешалось заходить в обычные магазины («имеющие дело со свободным рынком», как их называли), но это правило не слишком строго соблюдалось, потому что некоторых вещей, вроде шнурков для ботинок или лезвий для бритв, нельзя было достать иным путем. Он окинул быстрым взглядом улицу и, проскользнув в лавку, купил тетрадь за два доллара пятьдесят. В то время он не думал, что она понадобится ему для какой-нибудь определенной цели. Чувствуя себя виновным, он принес ее домой в портфеле. Даже не имея на своих страницах ни одной пометки, она была компрометирующей собственностью.

Теперь он собирался начать дневник. Это не было запрещено законом (ничто не запрещалось с того времени, как были упразднены законы), но если бы его уличили, ему пришлось бы, вероятно, поплатиться жизнью или, в лучшем случае, двадцатью пятью годами концентрационных лагерей. Уинстон вставил перо в ручку и пососал его, чтобы снять масло. Перо тоже было устаревшей вещью, которая редко употреблялась даже и для подписи, и он раздобыл его украдкой и не без труда, просто потому, что чувствовал, что красивая кремовая бумага заслуживает того, чтобы на ней писали настоящим пером, а не царапали её химическим карандашом. Вообще, он не привык писать от руки. За исключением самых небольших заметок, обычно все записывалось диктографом, но для настоящей цели он, разумеется, не подходил. Уинстон обмокнул перо и на мгновение в нерешимости остановился. По его телу пробежала дрожь. Сделать первую пометку на бумаге — значит сделать решающий шаг. Мелкими и неуклюжими буквами он вывел:

4-ое апреля, 1984.

Он откинулся назад. Чувство полной беспомощности овладело им. Прежде всего, он не мог сказать определенно, что сейчас идет 1984-ый год. Возможно так и есть: он был более или менее уверен, что ему 39 лет и что он родился в 1944-ом или 1945-ом году, но вообще в теперешние времена нельзя установить какую-либо дату, не рискуя ошибиться на год или на два.

Вдруг он с удивлением подумал — для кого, собственно, собирается вести этот дневник? Для будущего? Для неродившихся? Его мысль с минуту покружилась над сомнительной датой, которую он написал, а затем уперлась в слово Новоречи — двоемыслие. Впервые перед ним предстала вся необъятность его замысла. Как можно установить связь с будущим? По самой природе будущего это невозможно. Если оно станет походить на настоящее, — оно не пожелает его слушать; если же между ним и настоящим будет какая-нибудь разница, — его затея потеряет смысл.

Некоторое время он сидел, тупо глядя на бумагу. Телекран начал передавать какую-то скрипучую военную музыку. Странно, что он не только потерял способность выразить себя, но даже забыл, что именно хотел сказать вначале. Неделями он готовился к этой минуте, и ему ни разу не пришла в голову мысль, что понадобится еще что-то, кроме смелости. Ведь самый процесс писания будет нетруден. Все, что он должен сделать — это занести на бумагу томительно долгий беспокойный монолог, пробежавший в его сознании буквально годы. Но сейчас и он вдруг оборвался. Вдобавок его верикозная язва начала невыносимо зудеть. Он не решался почесать ее, чтобы она не воспалилась. Секунды бежали. Он не ощущал ничего, кроме белизны лежавшей перед ним бумаги, зуда кожи над лодыжкой, грома музыки и легкого опьянения, вызванного джином.

Вдруг, в какой-то полной панике, он начал писать, едва сознавая то, что заносит на бумагу. Опуская сначала прописные буквы, а затем даже и точки, он писал мелким, но

детским почерком, который расплзался по странице вверх и вниз:

4-ое апреля, 1984. Вчера вечером в кино. Все фильмы военные. Один очень хороший об одном пароходе полном беженцев, который бомбят где-то в Средиземном. Публика потешалась над кадрами, изображавшими огромного толстого человека, который старался уплыть от вертолета. сначала вы видели как он словно дельфин барахтался в воде, потом его показывали с вертолета через прицел пулемета, потом его всего изрешетили и море вокруг стало розовым и он пошел ко дну так быстро словно все дыры наполнились водой. публика надрывалась со смеху когда он тонул. затем показывали полную детей спасательную шлюпку и повисший над нею вертолет. на носу сидела женщина средних лет кажется еврейка и держала на руках мальчика лет трех. мальчик пронзительно кричал от страха и прятал голову у нее между грудей словно хотел зарыться в ней а она все обнимала его и успокаивала хотя сама посинела от ужаса. все это время она закрывала и закрывала его сколько могла как будто ее руки могли защитить его от пуль. потом вертолет бросил бомбу в 20 килограмм, лодка вспыхнула и разлетелась в щепки. тут были восхитительные кадры — рука ребенка которая поднималась все выше выше и выше вертолет с камерой на носу должен быть следовал за нею и на местах для членов партии сильно захлопали но какая-то женщина внизу на пролетарских местах вдруг принялась шуметь и закричала чтобы этого не показывали ребятам они не показывали это неправильно не для ребят это неправильно пока полиция не вышвырнула ее вон Я полагаю с нею не случилось ничего никто не считается с тем что говорят пролы обычная пролетарская реакция они никогда не . . .

Уинстон остановился отчасти потому, что его свела судорога. Он не понимал, что заставило его излить этот поток

чепухи. Но любопытно, что пока он ею занимался, в его уме пробудилось воспоминание иного рода и притом настолько ясное, что он чувствовал себя почти способным записать его. Он сознавал теперь, что его внезапное решение пойти домой и сегодня же начать дневник было вызвано совсем другим событием.

Это случилось, — если о такой туманной вещи вообще можно сказать, что она «случилась», — утром в Министерстве.

Было около одиннадцати ноль-ноль, и служащие Отдела Документации, где работал Уинстон, занимались тем, что перетаскивали стулья из кабинок в зал и расставляли их посередине, против большого телескрена, готовясь к Двум Минутам Ненависти. Уинстон как раз садился на свое место в одном из средних рядов, когда в комнату неожиданно вошли два человека, которых он знал только в лицо. Одним из них была девушка, с которой он часто встречался в коридорах. Он не знал, как ее звать, но ему было известно, что она работает в Отделе Беллетристики. Судя по тому, что он видел ее иногда с замасленными руками и с гаечным ключом, можно было думать, что она занимается какой-то технической работой на автоматическом писателе. Это была девушка лет двадцати семи, смелого вида, с густыми черными волосами, с веснушчатым лицом и с быстрыми движениями спортсменки. Её комбинезон был перехвачен узким алым кушаком, — эмблемой Антиполовой Лиги Молодежи, — обвитым несколько раз вокруг талии так, чтобы подчеркнуть красивую форму ее бедер. Уинстон не влюбил ее с первого взгляда. И он знал, почему. Потому, что ее окружала атмосфера хоккейного поля и холодного купанья, массовых экскурсий и нравственной чистоты вообще. Он не любил почти всех женщин и, в особенности, молодых и привлекательных. Женщины, и прежде всего молодые, были самыми нетерпимыми, самыми падкими на лозунги, сторонницами Партии, шпионками-любительницами и ищейками, всюду вынюхивавшими уклоны. Эта же девушка казалась ему даже более опасной,

чем большинство других. Однажды, встретившись с ним в коридоре, она быстро покосилась на него таким взглядом, который, казалось, пронзил его насквозь и на минуту преисполнил темным ужасом. Он даже подумал, что она может оказаться агентом Полиции Мысли. Но это было маловероятно. Тем не менее, он продолжал испытывать странную тревогу, смешанную со страхом, и вместе с тем враждебность всякий раз, когда видел ее где-нибудь возле себя.

Другим человеком был некто О'Брайен, член Внутренней Партии, занимавший такой важный и высокий пост, что Уинстон имел о нем лишь смутное понятие. В зале моментально воцарилась тишина, как только люди заметили приближающийся к ним черный комбинезон члена Внутренней Партии. О'Брайен был большим и грузным человеком с толстой шеей, с грубым и жестоким, но вместе с тем, комическим лицом. Несмотря на грозную наружность, в его манерах чувствовалось известное обаяние. У него была занятая и обезоруживающая привычка каким-то непередаваемым, но по-своему культурным жестом поправлять очки на носу. Этот жест напоминал (если только кто-нибудь все еще мыслит подобными понятиями) дворянина восемнадцатого века, предлагающего табакерку. Уинстон встречал О'Брайена быть может раз двенадцать за столько же лет. Он испытывал глубокое влечение к этому человеку и не только потому, что его занимал контраст между изысканными манерами О'Брайена и его боксерской наружностью. Главным образом, это влечение проистекало из тайного убеждения или даже просто из надежды, что политическая правота О'Брайена небыстречна. Что-то в его лице несомненно подсказывало эту мысль. Но, с другой стороны, то, что выражалось на лице О'Брайена, возможно даже не было отступничеством, а просто интеллектом. Во всяком случае, он производил впечатление человека, с которым можно было бы поговорить, если бы удалось как-нибудь обмануть телескрин и остаться с ним с глазу на глаз. Уинстон никогда не делал ни малейшей попытки проверить свою догадку, да такой возможности

ему и не предоставлялось. Войдя в зал, О'Брайен взглянул на часы, и, увидев, что они показывают около одиннадцати ноль-ноль, решил, видимо, остаться в Отделе Документации до конца Двух Минут Ненависти. Он опустился на стул в том же ряду, где сидел Уинстон, так что их разделяло всего несколько мест. Маленькая женщина со светлорыжими волосами, работавшая в соседней с Уинстоном кабинке, сидела между ними. Черноволосая девушка уселась прямо позади.

В следующее мгновение дикий скрежет вырвался из большого телескрена, стоявшего в конце комнаты, словно заработала какая-то чудовищная несмазанная машина. От этого звука пробежал мороз по коже, и дыбом становились волосы. Ненависть началась.

Как обычно, на экране замелькало лицо врага народа Эммануила Гольдштейна. Тут и там среди зрителей зашикали. Маленькая рыжеволосая женщина пискнула от страха и отвращения одновременно. Когда-то давно (когда именно, — никто точно не помнил) ренегат и отступник Гольдштейн был одной из ведущих фигур в Партии и стоял почти рядом со Старшим Братом, но потом занялся контрреволюционной деятельностью, был приговорен к смерти, таинственно бежал и исчез. Программа Двух Минут Ненависти менялась изо дня в день, но Гольдштейн всегда оставался ее главным действующим лицом. Он был первым изменником в Партии, первым осквернителем ее чистоты. Все последующие преступления против Партии, всякое предательство, все акты саботажа, ересь и уклоны — прямо вытекали из его учения. Он был еще жив и, — то ли где-то за морем под опекой своих иностранных кассиров, то ли (как об этом порой говорили слухи) в каком-то тайном месте в самой Океании, — замыслил заговор.

Сердце Уинстона сжалось. Он никогда не мог видеть лица Гольдштейна, не испытывая сложного болезненного чувства. Это было худощавое еврейское лицо в высоком нервном ореоле белых мелко-вьющихся волос и с маленькой козлиной бородкой, — умное лицо и, тем не менее, как-то

врожденно-неприятное, которому длинный тонкий нос, увенчанный на кончике очками, придавал к тому же выражение старческой глупости. В этом лице было что-то овечьё, и голос напоминал бляние овцы. Гольдштейн обрушился с обычными уничтожающими нападками на учение Партии, нападками до того ошибочными и преувеличенными, что они не обманули бы даже ребенка, но вместе с тем, правдоподобными настолько, чтобы внушить тревожную мысль, что иные, менее уравновешенные люди, могут и увлечься ими. Он поносил Старшего Брата, осуждал диктатуру Партии, требовал немедленного заключения мира с Евразией, он отстаивал свободу слова, свободу печати, свободу собраний, свободу мысли, истерически кричал о том, что революция предана, — и все это в стремительных и многосложных выражениях, как бы пародировавших обычный стиль партийных ораторов, в выражениях, насыщенных таким количеством слов Новоречи, какого не употреблял в будничной жизни ни один член Партии. А чтобы не было сомнений в том, что именно стоит за словоблудием Гольдштейна, все это время позади него маршировали бесконечные колонны евразийских солдат; крепкие парни с бесстрастными лицами азиатов шеренга за шеренгой выплывали на поверхность телескрина и пропадали, заменяясь другими, точно такими же. Тупой, ритмический топот солдатских сапог служил фоном для блестящего голоса Гольдштейна.

Не прошло и тридцати секунд, как половина зрителей в зале невольно разразилась восклицаниями ярости. Вид самодовольного овечьего лица и ужасающей силы евразийской армии позади него был невыносим; кроме того, одно появление Гольдштейна или даже одна мысль о нем автоматически рождали страх и гнев. Ненависть к Гольдштейну была более постоянной, чем даже к Евразии или Истазии, потому что, воюя с одной из этих стран, Океания обычно находилась в мире с другой. Но вот что было странно: хотя Гольдштейна ненавидели и презирали все, хотя каждый день и тысячу раз в день, — с трибун, по телескрину, в книгах и газе-

тах, — его теории опровергались, разбивались вдребезги, осмеивались и выставлялись напоказ, как самый жалкий вздор, — несмотря на все это, его влияние, казалось, ничуть не ослабевало. Вечно находились новые и новые простаки, готовые попасться ему на удочку. Не проходило дня, чтобы Полиция Мысли не разоблачала саботажников или шпионов, действовавших под его водительством. Он командовал огромной и таинственной армией — подпольной сетью заговорщиков, всецело посвятивших себя одной цели: ниспровержению власти Государства. Предполагали, что эта организация называет себя Братством. Шопотом рассказывались также разные истории об ужасной книге, — средоточии всей ереси, — автором которой был Гольдштейн и которая тайно распространялась то здесь, то там. У нее не было названия. О ней говорили (если вообще говорили) просто как о книге. Но все это относилось к области туманных слухов. Ни один рядовой член Партии никогда не упоминал ни Братства, ни книги, если этого можно было избежать.

На второй минуте ненависть перешла в иступление. Люди вскакивали с мест и орали во все горло, стараясь заглушить блеющий голос, раздававшийся с экрана и доводивший их до бешенства. Маленькая рыжеволосая женщина покраснела и то открывала, то закрывала рот, словно выброшенная на сушу рыба. Даже мрачная физиономия О'Брайена пылала. Он сидел, очень прямой, на стуле, и его мощная грудь поднималась и дрожала, как будто в неё били волны. Девушка, с черными волосами вдруг закричала — «свинья! свинья! свинья!» — и, схватив тяжелый словарь Новоречи, швырнула его в экран. Ударив Гольдштейна по носу, он отскочил, — голос неумолимо продолжал звучать. В минуту просветления Уинстон поймал себя на том, что кричит вместе с другими и неистово стучит каблуками по перекладине стула. Самое страшное в Двух Минутах Ненависти заключалось не в том, что каждый должен был участвовать в них, а в том, что, участвуя, невозможно было оставаться безучастным.

Но уже через тридцать секунд притворяться было незачем. Отвратительный экстаз страха и мести, желание убивать, мучить, сокрушать кузнечным молотом чьи-то черепа, подобно электрическому току, неслись по всему залу, превращая людей против их желания в визжащих и гримасничающих помешанных. И тем не менее, их ярость оставалась ненаправленным и отвлеченным чувством, которое, как пламя паяльной лампы, могло переключаться с одного объекта на другой. Так, например, в какую-то минуту ненависть Уинстона была обращена вовсе не против Гольдштейна, а, наоборот, против Старшего Брата, Партии, Полиции Мысли, и в это время его сердце устремлялось к осмеянному и одинокому еретика на экране — единственному стражу правды и здравого смысла в мире лжи. А еще через секунду он был снова заодно с другими, и все, что говорилось о Гольдштейне, казалось ему правдой. В такие минуты его затаенная ненависть к Старшему Брату превращалась в обожание, а сам Старший Брат — в непобедимого и неустрашимого защитника, возвышавшегося, как скала, между ним и азиатскими ордами; Гольдштейн же, несмотря на свое одиночество, беспомощность и неизвестность, которая окутывала самое его существование, представлялся неким злым волшебником, способным одной мощью голоса разрушить основы цивилизации.

По временам можно было сознательно направить ненависть по тому или иному пути. Каким-то громадным усилием воли, как человек, который отрывает голову от подушки в ночном кошмаре, Уинстон вдруг сумел переключить свою ненависть с лица на экране на черноволосую девушку, сидевшую за ним. Живые и прекрасные видения вспыхивали в его мозгу. То он забивал ее насмерть резиновой дубинкой. То привязывал обнаженную к столбу и расстреливал из лука, как св. Севастиана. То он насиловал ее и в момент высшего наслаждения перерезал ей горло. Лучше и полнее, чем прежде, он понимал теперь, почему так ненавидит ее. Потому что она молода, красива и — бесполо; потому что он хотел

бы обладать ею, но знал, что этого не будет никогда; потому что вокруг ее дивной талии, которая, казалось, просится в объятия, обвивался только гнусный алый кушак — воинствующий символ целомудрия.

Ненависть достигала высшей точки. Голос Гольдштейна превратился в настоящее бляение, и лицо на мгновение стало подлинной овечьей мордой. Потом на ее месте возникла фигура громадного и ужасного по виду евразийского солдата; держа перед собою грохочущий автомат, он двигался прямо на зрителей и, казалось, вот сейчас прыгнет на них с экрана, так что люди в передних рядах в испуге отшатнулись от него на своих стульях. Но в тот же миг глубокий вздох облегчения вырвался у всех: ненавистная фигура растворилась, обратившись в лицо Старшего Брата — черноусого, черноволосого, преисполненного силы и загадочного спокойствия, в такое громадное лицо, что оно заполнило собою почти весь экран. Никто не слышал, что говорил Старший Брат. Просто несколько слов ободрения, вроде тех, что говорятся в громе битвы и, хотя не различаются в отдельности, но воскрешают уверенность тем, что они были вообще сказаны. Затем лицо Старшего Брата опять исчезло, и вместо него выступили три лозунга Партии, написанные четкими заглавными буквами:

ВОЙНА — ЭТО МИР  
СВОБОДА — ЭТО РАБСТВО  
НЕВЕЖЕСТВО — ЭТО СИЛА

Однако, создавалось впечатление, что лицо Старшего Брата продолжало еще несколько секунд оставаться на экране, словно его отпечаток в глазах зрителей был слишком жив, чтобы сразу стереться. Маленькая рыжеволосая женщина перегнулась через спинку стоявшего перед нею стула. Прошептав дрожащим голосом что-то похожее на «Спаситель!» — она простерла руки к экрану, а затем закрыла ими лицо. Было видно, что она молится.

В этот миг вся группа людей низкими голосами, медленно, ритмично, монотонно затянула — «Эс-Бэ!.. Эс-Бэ!.. Эс-Бэ!..»

— очень медленно, с большой паузой между первым «эс» и вторым «бэ» — тяжелое, бормочущее пение, в котором было нечто первобытное: за ним невольно слышался топот босых ног и дробь том-тома. Оно тянулось секунд тридцать. Напев этот часто раздавался в минуты особенно большого подъема чувств. Он представлял собою род гимна в честь мудрости и величия Старшего Брата, но прежде всего это был акт самогипноза: намеренное усыпление сознания с помощью ритмического шума. В душе Уинстона словно что-то оборвалось. Если во время Двух Минут Ненависти он не мог устоять против общей истерии, то это получеловеческое, монотонное «Эс-Бэ!.. Эс-Бэ!..» всегда наполняло его ужасом. Конечно, он тянул вместе со всеми, иначе и быть не могло. Умение скрывать свои чувства, следить за выражением лица и делать то, что делают все остальные уже превратилось в инстинктивную реакцию. Но был какой-то промежуток времени, всего две-три секунды, когда выражение глаз, возможно, могло его выдать. И в этот самый промежуток произошла одна многозначительная вещь, если она действительно произошла.

На миг он поймал глаза О'Брайена. О'Брайен встал. Он был без очков и как раз надевал их своим характерным жестом. Однако, на какую-то долю секунды глаза их встретились, и в этот миг Уинстон знал, да, знал! — что О'Брайен думает о том же, что и он. Ошибки быть не могло. Как будто их сердца открылись, и этот взгляд передал чувства одного другому. «Я с тобою, — словно говорил О'Брайен. — Я знаю совершенно точно, что ты чувствуешь. Я знаю всё о твоей ненависти, о твоём негодовании и презрении. Но не беспокойся. Я — с тобою!» А затем искра сознания погасла, и лицо О'Брайена стало таким же непроницаемым, как и у всех других.

Вои и все. И он уже сомневался — было ли это? Такие происшествия никогда ни к чему не приводили. Они только поддерживали в нем веру или надежду, что он не одинок в своей вражде к Партии. В конце концов, слухи об огромной

тайной сети конспираторов могли быть правдой, и Братство, может быть, действительно существовало. Несмотря на бесконечные аресты, признания и казни, не верилось, что оно просто вымысел. Иногда он верил в него, иногда нет. Никаких доказательств не существовало, а лишь смутные намеки, которые, возможно, что-то значили, но могли и ничего не значить: обрывки случайно подслушанных разговоров, неясные каракули на стенах уборных, иногда даже — движение руки при встрече незнакомых людей, служившее, быть может, опознавательным сигналом. Но всё это — только догадки, и очень вероятно — плод его воображения. Он направился в свою кабинку, не посмотрев еще раз на О'Брайена. Мысль о том, чтобы как-нибудь закрепить их мимолетное общение даже не приходила ему в голову. Это таило бы в себе невероятную опасность, если бы он и знал, как это можно сделать. На секунду, на две они обменялись многозначными взглядами — и все. Но и это было памятным событием в том замкнутом мире одиночества, в котором приходилось жить.

Уинстон очнулся и выпрямился на стуле. Отрыгнулось джином.

Его взгляд снова сосредоточился на тетрадке. Он обнаружил, что пока сидел в бесплодной задумчивости, он что-то бессознательно писал. И притом не прежним неуверенным и сжатым почерком. Теперь его перо с наслаждением скользило по гладкой бумаге, выводя большими ровными заглавными буквами:

**ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА  
ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА  
ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА  
ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА  
ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА**

— и так на полстраницы.

Он почувствовал, что невольно снова поддается панике. Это было глупо, потому что написанные им слова были не

опаснее, чем самое решение начать дневник. И все же, на минуту он испытал соблазн: а не вырвать ли испорченные страницы и не покончить ли разом всю историю?

Но, сознавая бесполезность этого намерения, он отказался от него. Безразлично, станет он писать «Долой Старшего Брата!» или не станет. Безразлично, будет продолжать дневник или не будет. Все равно Полиция Мысли доберется до него. Он уже совершил, — и совершил бы, даже если бы никогда не брался за перо, — тягчайшее из преступлений, которое содержит в себе все другие. Преступление мысли — таково его название. А преступление мысли не такая вещь, которую можно скрыть навеки. Можно увернуться на время, даже на года, но рано или поздно должен наступить конец.

Он наступит ночью, потому что арестовывают только по ночам. Внезапный рывок во сне. Грубая рука, трясущая вас за плечо. Слепящий свет в глаза. Круг каменных лиц возле постели. И в огромном большинстве случаев — никакого суда, никакого сообщения об аресте. Люди просто исчезают и всегда ночью. Ваше имя устраняется со всех документов, всякий след, вами оставленный, стирается, а тот факт, что вы когда-то существовали — сначала отрицается, а потом о нем попросту забывают. Вы уничтожаетесь, превращаетесь в нуль, или, как принято выражаться, распыляетесь.

На мгновение он словно впал в истерику. Торопливыми и неряшливыми каракулями он принялся писать:

*они расстреляют меня Мне наплевать они подстрелят меня сзади в затылок Мне наплевать долой старшего брата они всегда стреляют в затылок Мне наплевать долой старшего брата . . .*

Слегка стыдясь себя, он откинулся на стуле и положил перо. В следующее мгновение он весь затрепетал. В дверь постучали.

Уже! Он притаился, как мышь, в тщетной надежде на то, что кто бы это ни стучался, он, может быть, уйдет после первой же попытки. Но, нет — стук повторился. Самое худшее теперь — это промедление. Его сердце колотилось, как

барабан, но лицо, благодаря давней привычке, оставалось бесстрастным. Он поднялся и тяжелой походкой направился к дверям.

## II

Когда Уинстон уже взялся за ручку двери, он заметил, что оставил дневник открытым на столе. Слова ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА были написаны вдоль и поперек страницы такими буквами, что их можно было прочесть с другого конца комнаты. Непонятно, как можно было допустить такую глупость! Но тут же он сообразил, что даже охваченный паникой не закрыл тетрадки, чтобы не запачкать кремовой бумаги неподсохшими чернилами.

Он собрался с духом и открыл дверь. И сразу теплая волна облегчения прихлынула к сердцу. Бесцветная, забитого вида женщина, с прямыми прядями волос и морщинистым лицом, стояла у входа.

— Ах, товарищ, — заговорила она скучным, хнычущим голосом, — значит, я не ослышалась, что вы пришли. Не можете ли вы зайти к нам и взглянуть на раковину в кухне. Она забилась и . . .

Это была госпожа Парсонс, жена соседа с того же этажа. (Партия не одобряла слова «госпожа», но, обращаясь к некоторым женщинам, люди инстинктивно пользовались им, хотя и полагалось называть всех «товарищ»). Ей было лет тридцать, но выглядела она много старше. Глядя на нее, можно было подумать, что в каждой складке ее лица осела пыль. Уинстон пошел за нею по коридору. Эти любительские ремонты изводили его чуть не каждый день. Особняки Победы представляли собой старые квартиры, построенные еще в 30-ых годах или около того, и теперь разваливались. Штукатурка вечно осыпалась шелухой со стен и с потолка, трубы лопались при каждом сильном морозе, крыши начинали течь, стоило только выпасть снегу, а батареи отопления нагревались лишь наполовину, если пар, в целях экономии, не был выключен совсем. Ремонты, кроме тех, что можно бы-

ло сделать силами самих жильцов, нуждались в разрешении каких-то таинственных комитетов, которые даже починку оконных рам способны были затянуть на два года.

— Конечно, это только потому, что Том еще не приходил, — заметила туманно госпожа Парсонс.

Квартира Парсонсов была просторнее, чем у Уинстона и захламлена по-своему. Все выглядело разгромленным, раздавленным, словно тут недавно побывал какой-то большой дикий зверь. По полу нельзя было пройти, не споткнувшись о разбросанные всюду спортивные принадлежности. Тут были и хоккейные клюшки, и боксерские перчатки, и порванный футбольный мяч, и пара вывернутых наизнанку пропотевших трусиков. На столе гнезился выводок невымытой посуды и валялось несколько затрепанных ученических тетрадей. На стене висели алые знамена Лиги Молодежи и Юных Шпионов, а также портрет Старшего Брата в натуральную величину. Привычный запах вареной капусты, наполнявший всё здание, стоял и здесь, но забивался другим острым запахом, который, — как об этом непонятным образом, но сразу можно было догадаться, — принадлежал отсутствующему лицу. В соседней комнате кто-то с помощью гребенки и куска туалетной бумаги пытался вторить военной музыке, которая все еще передавалась телескрином.

— Эти дети, — промолвила госпожа Парсонс, полуиспуганно косясь на дверь. — Они сегодня дома и, конечно . . .

У нее была привычка перебивать самое себя на середине фразы. Кухонная раковина была почти до краев наполнена грязной зеленоватого цвета водой, издававшей даже худший запах, чем вареная капуста. Уинстон опустил на колени и осмотрел сифон. Он терпеть не мог копать руками и наклоняться, потому что когда наклонялся, у него начинался кашель. Госпожа Парсонс смотрела с беспомощным видом.

— Конечно, если бы Том был дома, он живо привел бы все это в порядок, — сказала она. — Он любит такие вещи. У него золотые руки, у Тома.

Парсонс был сослуживцем Уинстона по Министерству

Правды. Это был тучный, но подвижной человек, парализованный непроходимой глупостью — какая-то глыба слабоумного энтузиазма, один из тех совершенно нерассуждающих и преданных службистов, на которых даже больше, чем на Полиции Мысли, держалась Партия. Хотя ему уже исполнилось тридцать пять лет, он только теперь, и то против своей воли, был отчислен из Лиги Молодежи, а до этого ухитрился просидеть в Юных Шпионах целый лишний год сверх положенного по закону возраста. В Министерстве он был занят на какой-то второстепенной работе, где не требовалось большого ума, но зато был заправилкой в Комитете Спорта и в разных других комитетах, занимавшихся организацией массовых вылазок, «стихийно» возникавших демонстраций, сбором сбережений и всякой иной общественной работой. С тихой гордостью, попыхивая своей трубочкой, он мог рассказать вам, что за четыре года не пропустил ни одного вечера, чтобы не побывать в Общественном Центре. Непреодолимый запах пота, немой свидетель его напряженной деятельности, следовал за ним повсюду, оставаясь даже и после его ухода.

— Есть у вас гаечный ключ? — спросил Уинстон, безуспешно пытаясь отвернуть руками гайку сифона.

— Ключ? — отозвалась госпожа Парсонс, немедленно впадая в растерянность. — Не знаю . . . Да, да, конечно, есть. Быть может, дети . . .

Топот ботинок и новый взрыв музыки на гребенке возвестили о том, что дети ворвались в гостиную. Госпожа Парсонс принесла ключ. Уинстон спустил воду и с отвращением вытащил клубок волос, забивавший трубу. Он постарался почище вымыть руки, насколько это можно было сделать холодной водой из-под крана, и направился в другую комнату.

— Руки вверх! — раздался свирепый голос.

Хорошенький девятилетний мальчик с волевыми и вместе с тем жестокими чертами лица внезапно выскочил из-за стола, угрожая Уинстону игрушечным револьвером. Его се-

стренка, года на два младше, сделала тот же самый жест, сжимая в руке какую-то деревяшку. Оба были одеты в форму Юных Шпионов: короткие синие штанишки и серые рубашки с красным шейным платком. Уинстон поднял руки, но сделал это с тяжелым чувством в сердце: в поведении мальчика была такая злоба, что оно совсем не походило на игру.

— Ты предатель! — кричал он. — Ты преступник мысли! Ты евразийский шпион! Я расстреляю тебя! Ты у меня распылишься! Я сошлю тебя в соляные копи!

Оба они вдруг запрыгали вокруг Уинстона, крича «предатель!» и «преступник мысли!», причем девочка во всем подражала брату. В этом было что-то устрашающее, словно в возне тигрят, которые вот-вот должны превратиться в настоящих людоедов. Какая-то рассчитанная свирепость была в глазах мальчика — совершенно явное желание ударить или пнуть Уинстона, и сознание, что скоро он станет достаточно взрослым, чтобы сделать это. Хорошо, что у него в руках не настоящий револьвер, — подумал Уинстон.

Глаза госпожи Парсонс тревожно перебежали с Уинстона на детей и снова на Уинстона. Здесь, в гостиной, которая была лучше освещена, он с интересом заметил, что в складках ее лица действительно сидела пыль.

— Они расстроены тем, что не могли пойти смотреть на казнь и потому так шумят, — сказала она. — Я слишком занята, а Том задерживается на работе.

— Почему мне нельзя посмотреть, как будут вешать? — заорал мальчишка во всю мочь.

— Я тоже хочу посмотреть, как вешают, я тоже хочу! — затянула девочка, все еще прыгая по комнате.

Уинстон вспомнил, что сегодня вечером в Парке будут вешать каких-то евразийских пленных, обвиняемых в военных преступлениях. Такие казни происходят приблизительно раз в месяц и являются общедоступным зрелищем. Дети вечно шумно и настойчиво требуют, чтобы их повели смотреть на казнь.

Уинстон распрощался с госпожой Парсонс и вышел. Но не успел он сделать и шести шагов по коридору, как что-то ударило его сзади в шею, причинив мучительную боль. Как будто раскаленный докрасна провод вонзился ему в тело. Повернувшись, он успел увидеть, как госпожа Парсонс толкает сына в комнату, в то время как тот сует себе в карман рогатку.

— Гольдштейн! — прогрохотал мальчишка, когда дверь за ним захлопывалась. Но что поразило Уинстона больше всего — это выражение беспомощного страха на пепельном лице женщины.

Вернувшись к себе, он быстро прошел мимо телескрин и, все еще потирая шею, снова сел к столу. Передача военной музыки по телескрину прекратилась. Вместо нее отрывистый голос военного с каким-то грубым наслаждением читал описание вооружения новых Пловучих Крепостей, которые только что стали на якоря между Исландией и Ферарскими островами.

С такими детьми, — думал Уинстон, — эта несчастная женщина должна жить в постоянном страхе. Пройдут еще год или два, и они начнут следить за нею днем и ночью, чтобы уличить в каком-нибудь уклоне. В теперешние времена почти все дети ужасны. Однако, хуже всего то, что систематическое превращение их с помощью таких организаций, как Юные Шпионы, в маленьких неукротимых дикарей не вызывает у них ни малейшего протеста против дисциплины Партии. Напротив, они обожают Партию и все, что с нею связано. Песни, демонстрации, знамена, массовые экскурсии, упражнения с бутафорскими винтовками, выкрикивание лозунгов, прославление Старшего Брата — вот те игры, которые, по-видимому, привлекают их больше всего. Вся их ярость целиком обращена вовне — против врагов Государства, против иностранцев и предателей, саботажников и преступников мысли. Стало уже почти нормальным, что люди старше тридцати лет боятся своих собственных детей. И не напрасно: не проходит ни одной недели, чтобы Таймс не

опубликовал заметки о каком-нибудь маленьком подлом наушнике — «юном герое», по общепринятому выражению, — который, подслушав несколько компрометирующих фраз, донес на собственных родителей в Полицию Мысли.

Жгучая боль, причиненная рогаткой, немного улеглась. Уинстон равнодушно взялся за перо, раздумывая над тем, что еще можно было бы занести в дневник. Внезапно он опять стал думать об О'Брайене.

Когда-то давным-давно . . . Но когда именно? Лет, быть может, семь тому назад ему приснился сон: будто он идет в крошечной тьме по комнате. И кто-то невидимый, сидя в стороне, замечает в тот момент, когда он проходит мимо: «Мы встретимся в царстве света». Это было сказано очень спокойно, как бы между прочим — тоном утверждения, а не приказа. Он прошел, не останавливаясь. Любопытно, что тогда, во сне, эти слова не произвели большого впечатления на него. Лишь позднее они, казалось, стали наполняться важным смыслом. Он теперь не мог припомнить, до этого сна или после него он увидел в первый раз О'Брайена. Не помнил он и того, когда опознал голос, причудившийся во сне, как голос О'Брайена. Но, так или иначе, он опознал его. Это О'Брайен обращался к нему из темноты.

Уинстон никогда не мог окончательно убедиться — друг ему О'Брайен или враг; невозможно было убедиться даже и после сегодняшнего обмена взглядами. Но это было и не важно. Какое-то понимание связывало их, и оно было более значительным, чем взаимное расположение или партийная дружба. «Мы встретимся в царстве света», — сказал он. Уинстон не знал, что это значит, но был уверен в том, что так или иначе это должно осуществиться.

Диктор на минуту замолчал. В застоявшемся воздухе пролился чистый и прекрасный зов трубы. Голос скрипуче продолжал:

— Внимание! Внимание! Только что получена экстренная телеграмма с Малабарского фронта. Наши войска в Южной Индии одержали блестящую победу. Мне поручено ска-

зять, что битва, о которой мы сейчас сообщим, возможно, подводит нас вплотную к концу войны. Слушайте телеграмму . . .

«Жди скверных новостей», — подумал Уинстон. И действительно, сейчас же за кровавым описанием разгрома евразийской армии и перечислением баснословного количества убитых и пленных, последовало объявление, что, начиная с будущей недели, паек шоколада сокращается с тридцати граммов до двадцати.

Уинстон отрыгнул опять. Опыянение проходило, оставляя чувство пустоты. Телескрин, то ли в ознаменование победы, то ли, чтобы заглушить воспоминание о потерянном шоколаде, разразился гимном «Тебе, Океания». Полагалось встать смиренно. Но в том положении, в каком сидел Уинстон, его не видели.

«Тебе, Океания» уступил место легкой музыке. Держась спиной к телескрину, Уинстон подошел к окну. На дворе по-прежнему было ясно и холодно. Где-то вдалеке с глухим раскатистым грохотом взорвался реактивный снаряд. В настоящее время на Лондон падало от двадцати до тридцати бомб в неделю.

Внизу, на улице, ветер порывисто трепал туда и сюда порванный плакат, и слово АНГСОЦ то появлялось, то исчезало. Ангсоц. Священные принципы Ангсоца. Новоречь, двоемыслие, видоизменения прошлого. Уинстон чувствовал себя так, словно блуждал в лесу или на дне морском, затерявшись в чудовищном мире, где и сам он был чудовищем. Какое одиночество! Прошлое умерло, будущего нельзя себе представить. Может ли он быть уверен, что хоть одно из всех живущих человеческих существ — на его стороне? Может ли он знать, что господство Партии не будет продолжаться вечно? Словно в ответ, три лозунга снова стали надвигаться на него с белого фасада Министерства Правды:

ВОЙНА — ЭТО МИР  
СВОБОДА — ЭТО РАБСТВО  
НЕВЕЖЕСТВО — ЭТО СИЛА

Он вынул из кармана двадцатипятицентовую монету. И на ней ясными крошечными буквами были отчеканены те же лозунги, а на оборотной стороне изображалась голова Старшего Брата. Даже и с монеты глаза преследовали вас. На монетах и на марках, на обложках книг, на знаменах и плакатах, на обертках папиросных пачек — всюду! Вечно подстерегающие вас глаза и обволакивающий голос. Ни во сне, ни наяву, ни на работе, ни за едой, ни дома, ни на улице, ни в ванной, ни в постели — нигде нет спасения от них. И ничто, кроме нескольких кубических сантиметров в вашем чрепе, вам не принадлежит.

Солнце переместилось, и бесчисленные окна Министерства Правды, более не освещаемые им, глядели зловеще, как бойницы крепости. Его сердце дрогнуло перед громадным пирамидальным призраком. Его не взять приступом — оно слишком прочно. Тысяча ракетных бомб — и то не разобьет его.

Опять он с недоумением подумал: для кого пишет дневник. Для будущего? Для прошлого? Для века, который можно лишь вообразить? А ведь впереди его ждет не смерть, а уничтожение. Дневник превратится в пепел, а сам он в пыль. Лишь Полиция Мысли, быть может, прочитает то, что им написано, прежде чем вытравить написанное из жизни и из памяти. Как можно искать поддержки у будущего, если ни один ваш след, даже ни одно безымянное слово, нацарапанное на клочке бумаги, не может уцелеть?

Телескрин пробил четырнадцать. Через десять минут ему надо было выходить. Он должен вернуться на работу к четырнадцати тридцати.

Странно: бой часов словно придал ему новые силы. Он был одиноким духом, вещающим правду, которой никогда никто не услышит. Но пока он говорит ее, преемственность,

каким-то неизвестным образом, сохраняется. Духовное наследство человечества передается дальше не потому, что вас кто-то услышал, а потому, что вы сами сохранили рассудок. Он вернулся к столу, обмокнул перо и написал:

*Будущему или прошлому, — тому веку, когда мысль свободна, когда люди отличаются друг от друга и не живут в одиночестве, тому веку, когда существует правда и то, что сделано — то сделано — от эпохи единообразия, от эпохи одиночества, от эпохи Старшего Брата, от эпохи двоемыслия — привет!*

Он уже мертв — промелькнуло у него. Ему казалось, что только теперь, когда он обрел способность выражать себя, он сделал решающий шаг. Последствия каждого действия заключаются в самом этом действии. Он написал:

*Преступление мысли не влечет за собою смерть: оно ЕСТЬ смерть.*

Теперь, когда он смотрел на себя, как на мертвого, необходимо было остаться в живых как можно дольше. Два пальца на правой руке были запачканы чернилами. Именно такая мелочь может выдать. Какой-нибудь фанатик в Министерстве из числа тех, что во все суют свой нос (скорее всего женщины, вроде той, маленькой, рыжей, или черноволосой девушки из Отдела Беллетристики), пожалуй, заинтересуется, почему он писал в обеденный перерыв и почему писал старинным пером да что он писал, а потом и намекнет, где надо. Он отправился в ванную комнату и смыл чернила темнокоричневым грубым мылом, которое скребло кожу, как нождак, и потому очень подходило для его цели.

Затем он положил дневник в ящик стола. Нечего было и думать о том, чтобы спрятать его, но он, по крайней мере, хотел быть уверенным, что будет знать, когда его обнаружат. Волос, заложенный между концами страниц, был бы слишком заметен. Кончиком пальца он подобрал приметную белесоватую пылинку и поместил ее на угол обложки, откуда она обязательно должна была слететь, если бы тетрадь пошевелили.

### III

Уинстону снилась его мать.

Ему было, как он полагал, лет десять или одиннадцать, когда она исчезла. Она была высокой, стройной и довольно молчаливой женщиной с медленными движениями и с роскошными белокурыми волосами. Отца он представлял себе более смутно: как худого, темноволосого человека в очках, всегда одетого в изящный черный костюм. (Уинстону почему-то особенно запомнились очень тонкие подошвы отцовских ботинок). Оба они, очевидно, были проглочены одной из великих чисток пятидесятых годов.

В эту минуту мать, держа на руках его младшую сестренку, сидела где-то глубоко внизу, значительно ниже того места, где находился он сам. Сестру он не помнил вовсе, знал только, что она была совсем еще крохотным, всегда молчаливым и хилым ребенком с большими внимательными глазами. Обе они смотрели на него. Они были где-то под землей, на дне колодца, например, или в очень глубокой могиле, во всяком случае, уже много ниже его и в каком-то таком месте, которое само уходило все вниз и вниз. Или они находились в салоне тонущего корабля и глядели на него сквозь темную завесу воды. В салоне еще был воздух, они еще могли видеть его, так же, как и он их, но они всё время погружались глубже и глубже в зеленую воду, которая вот-вот должна была навеки скрыть их из глаз. Вокруг него были воздух и свет, в то время как их засасывала смерть, и она затягивала их потому, что он был здесь наверху. И он и они знали это, и по их лицам он видел, что они знают. Однако, ни на лицах у них, ни в сердцах не было упрека, а одно лишь понимание того, что они должны умереть, чтобы он жил и что это — часть неизбежного порядка вещей.

Он не мог припомнить, что случилось, но сознавал во сне, что почему-то мать и сестра должны были пожертвовать собою ради него. Это был один из тех снов, которые, сохраняя характерную обстановку сна, служат продолжени-

ем нашей мысли и в которых познаются факты и идеи, кажущиеся и новыми и ценными после пробуждения. Уинстона внезапно поразила мысль, что тридцать лет тому назад, когда умерла его мать, смерть ее воспринималась так трагически и горько, как это уже невозможно теперь. Трагедия, думал он, — понятие старого времени, когда еще существовали уединение, любовь и дружба и когда члены одной семьи были верными друзьями, даже не нуждаясь в объяснении этого. Воспоминание о матери ранило его в сердце потому, что она умерла, любя его, когда он был еще слишком мал и эгоистичен, чтобы отвечать ей той же любовью, и еще потому, что каким-то образом, — он не знал точно, каким, — она принесла себя в жертву ради её собственного и незыблемого понятия о долге. Он знал, что такие вещи невозможны теперь. Да, теперь были страх, ненависть и боль, но не было величия чувств и глубокой, и многообразной скорби. И то, и другое, как ему казалось, он видел в больших глазах матери и сестры, когда они смотрели на него сквозь зеленую воду из глушины сотен саженей и все еще продолжая погружаться вниз.

Внезапно он оказался на лужайке, поросшей короткой упругой травой. Был летний вечер, и косые лучи солнца золотили землю. Пейзаж, расстилавшийся перед его взором, так часто являлся ему во сне, что он никогда не мог вполне уверенно сказать, видел он его в жизни или нет. Мысленно, наяву, он называл его Золотую Страной. Это было старое, потравленное кроликами пастбище, с бегущей по нему пешеходной тропинкой и с кротовинами то тут, то там. На противоположной стороне, за неровной живой изгородью, кущи вязов слабо покачивались под легким ветерком, шевеля густой массой листьев, словно космами женских волос. Где-то рядом, хотя и невидимый, медленно струился чистый поток, и в заводях его, под ивами, играли ельцы.

Черноволосая девушка шла через поле к нему. Как бы одним движением, она сорвала с себя одежду и с пренебрежением швырнула ее в сторону. У нее было белое и гладкое

тело, но оно не вызывало в нем желания — он едва взглянул на него. Непреодолимое восхищение охватило Уинстона в этот миг — восхищение жестом, которым она отбросила одежду. Его грация и небрежность, казалось, зачеркивали всю культуру, все мировоззрение, словно и Старший Брат, и Партия, и Полиция Мысли могут быть обращены в ничто одним великолепным движением руки. Этот жест также принадлежал старому времени. Уинстон проснулся со словом «Шекспир» на устах.

Из телескрина доносился раздражающий уши свист, который продолжался на одной и той же ноте тридцать секунд. Он давался в семь пятнадцать — время подъема служащих. Уинстон с усилием поднялся с постели, — он спал голый, потому что члены Внешней Партии получали лишь три тысячи талонов на одежду в год, а пижама одна стоила шестьсот, — и взялся за грязную фуфайку и трусики, лежавшие на стуле. Через три минуты начиналась физзарядка. Но тотчас же он весь скрючился от бешеного кашля, который охватывал его почти всегда вскоре после пробуждения. Этот кашель так опустошал его легкие, что для того, чтобы восстановить дыхание, приходилось ложиться на спину и с трудом делать несколько глубоких судорожных вдохов. От кашля вздувались вены и начинала зудеть верикозная язва.

— Группа от тридцати до сорока! — затыкал пронзительный женский голос. — От тридцати до сорока! Становитесь в позицию, пожалуйста. Тридцатилетние — сорокалетние!

Уинстон встал навытяжку перед телескрином, на экране которого уже появилось изображение щуплой, но мускулистой женщины, выглядевшей молодо не по годам и одетой в тунику и спортсменки.

— Упражнение на сгибание и разгибание рук, — отчеканила она. — Следите за мною. Раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре! Давайте, товарищи, давайте! Больше жизни! Раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре!

Боль от пароксизма кашля все же не совсем вытравивала

из памяти впечатление сна, а теперь эти ритмичные движения в какой-то мере освежили их. В то время как он с выражением свирепого наслаждения, которое считалось самым подходящим для физической зарядки, автоматически выбрасывал руки вперед и назад, его мысль пробивала себе путь к туманным дням раннего детства. Это было необычайно трудно. Все, что происходило до конца пятидесятых годов, поблекло. Когда нет внешних регистраторов событий, с которыми можно сверяться, даже контуры собственной жизни теряют отчетливость. Вспоминаются грандиозные события, которых, может быть, вовсе и не было; вспоминаются детали происшествий, но общего духа времени почувствовать уже больше нельзя: наконец, имеются периоды, вообще не отмеченные в памяти ничем. Все было иным тогда. Даже названия стран и их очертания на карте были другими. Первая Посадочная Полоса, например, называлась в те дни не так, а Англией или Британией, хотя Лондон, — в этом он был почти убежден — всегда назывался Лондоном.

Уинстон не помнил такого времени, когда его страна не воевала бы, но ясно представлял, что когда он был еще ребенком, существовал довольно продолжительный период мира, потому что одним из его ранних воспоминаний был воздушный налет, который, как ему казалось, застал всех врасплох. Быть может, это было, когда атомная бомба упала на Колчестер. Он не помнил самого налета, но вспоминал руку отца, крепко сжимавшую его руку, когда они спешили вниз, вниз и вниз, куда-то глубоко под землю, все кругом и кругом по спиральной лестнице, которая звенела у него под ногами и, наконец, так утомила его, что он начал хныкать, и они должны были остановиться и отдохнуть. Мать, как всегда мечтательно-медлительная, шла далеко позади. Она несла на руках его маленькую сестренку, но, может быть, это был просто ворох одеял, — он не был уверен, что его сестра уже родилась к тому времени. Наконец, они очутились в каком-то шумном, переполненном людьми помещении, которое, как он понял, было станцией метро.

По всему полу, выложенному каменными плитами, и на двухэтажных металлических койках — везде теснились люди. Уинстон с отцом и матерью нашли местечко на полу; рядом с ними на койке сидели старик со старухой. На старике был черный приличный костюм и черная же кепка, сдвинутая на самый затылок. У него было багровое лицо, с голубыми, полными слез, глазами и седая голова. Он весь пропах джином. Казалось, что джин выделяется у него даже через кожу, вместо пота, и что слезы, катившиеся у него из глаз, — тоже чистый джин. Несмотря на то, что он был под хмельком, он мучился каким-то неподдельным и невыносимым горем. В своем детском уме Уинстон решил, что со стариком случилось что-то ужасное, что-то непоправимое и незабываемое. Ему также казалось, что он знает, что это такое. Возможно, что была убита маленькая внучка старика или кто-то другой, кого он очень любил. Чуть не каждую минуту старик повторял:

— Не надо было верить им. Разве я, мать, не говорил, что не надо? Вот что вышло из нашей веры. Я все время это говорил. Ну, как можно было верить этим мерзавцам?

Но кто такие эти мерзавцы, которым нельзя было верить, — Уинстон теперь не мог припомнить.

Примерно с этих пор война буквально не прекращалась, хотя, строго говоря, это была не всегда одна и та же война. Когда он был ребенком, в самом Лондоне несколько месяцев шли беспорядочные уличные бои, и некоторые их эпизоды он помнил довольно живо. Но проследить историю всего периода и сказать, кто с кем сражался в тот или иной момент, было совершенно невозможно, потому что ни один письменный источник и ни один устный рассказ никогда не упоминали ни о каком союзе, кроме существующего. В настоящее время, например, в 1984-ом году (если это 1984-ый год) Океания находилась в состоянии войны с Евразией и в союзе с Истазией. И ни в публичных, ни в частных высказываниях не позволялось говорить, что в свое время три эти силы группировались иначе. Но Уинстон очень хорошо знал, что

на самом деле всего четыре года назад Океания воевала с Истазией и была союзницей Евразии. Однако, это был просто обрывок тайных знаний, которым он владел потому, что его память недостаточно хорошо контролировалась. Официально никакой смены союзников никогда не происходило. Океания воюет против Евразии, — значит, Океания всегда была в войне с Евразией. Тот, кто был врагом в данный момент, всегда изображался абсолютно вечным врагом, из чего следовало, что никакие соглашения с ним ни в прошлом, ни в будущем невозможны.

Ужасно то, — думал он в десятитысячный раз, с болью откидывая назад плечи (положив руки на бедра, вращать верхней частью корпуса — упражнение, полезное для мышц спины), — ужасно то, что все это может оказаться правдой. То, что Партия способна накладывать руку на прошлое и говорить о том или ином событии — его никогда не было — страшнее даже пыток и смерти.

Партия утверждала, что Океания никогда не была союзницей Евразии. Он, Уинстон Смит, знал, что Океания была в союзе с Евразией всего четыре года тому назад. Но где существовало это знание? Лишь в его сознании, которое, несомненно, скоро будет уничтожено. И если все другие принимали ложь, которую навязывала Партия, если все источники повторяли эту ложь, — значит, ложь входила в историю и становилась правдой. «Кто управляет прошлым, — гласил партийный лозунг, — тот управляет будущим, а кто управляет настоящим, тот управляет прошлым». И все же, прошлое, столь переменчивое по своей природе, никогда не изменялось. То, что правда сейчас, было правдой вовеки. Это совершенно просто. Поэтому, все, что от вас требуется — это побеждать и побеждать без конца собственную память. Это называется «управляемой реальностью» или, на Новоречи, — «двоемыслием».

— Стоять вольно! — твякнула инструкторша немного снисходительнее, чем прежде.

Уинстон опустил руки по швам и снова медленно набрал

в легкие воздуха. Его мысль скользнула в запутанный лабиринт двоемыслия. Знать и не знать, сознавать всю правду и в то же время говорить тщательно сочиненную ложь; придерживаться одновременно двух мнений, исключаящих друг друга, знать, что они взаимно-противоположны и верить в оба; пользоваться логикой против логики; отвергать мораль и вместе с тем претендовать на нее; верить в то, что демократия невозможна и что Партия — страж демократии; забывать все, что необходимо забыть, затем, когда это требуется, восстанавливать забытое в памяти и снова моментально забывать и, наконец, — как высшее искусство, — применять этот процесс к самому процессу, т. е. сознательно усыплять сознание и следом за тем уметь заставить себя забыть акт самогипноза, который вы только что совершили. Даже для того, чтобы понять слово «двоемыслие» необходимо прибегать к двоемыслию.

Инструкторша опять отдала команду «смирно».

— А теперь давайте посмотрим, кто из нас сумеет прикоснуться к кончикам пальцев на ногах, — объявила она с воодушевлением. — Пожалуйста, товарищи, сгибайтесь только в поясице. Раз-два! Раз-два!

Уинстон терпеть не мог этого упражнения, от которого у него по ногам от пяток до ягодиц пробежала острая боль и часто снова начинался приступ кашля. Его воспоминания утратили всякую прелесть. Прошрое, рассуждал он, не только изменено, но и уничтожено. Потому что как можно восстановить даже самые очевидные факты, когда не существует никаких свидетельств, кроме вашей собственной памяти? Он старался вспомнить, в каком году услышал первый раз о Старшем Брате. Кажется, это было в шестидесятых годах, хотя уверенным быть и нельзя. В истории Партии Старший Брат, конечно, фигурировал как вождь и страж революции с первых ее дней. Его героическая деятельность постепенно отодвигалась все дальше и дальше в глубь времен, пока не обняла собою баснословного мира сороковых и тридцатых годов, когда капиталисты в своих странных цилиндрических

шляпах разъезжали по улицам Лондона в больших сверкающих автомобилях или в застекленных экипажах, запряженных лошадьми. Оставалось неизвестным, что в этой легенде было правдой и что присочинено. Уинстон не мог припомнить даже, когда возникла сама Партия. Ему не верилось, что он слышал слово Англоц до 1960-го года, но возможно, что его эквивалент на Староречи — «английский социализм» — был в употреблении раньше. Все сливалось в какую-то мглу. Иногда, однако, удавалось обнаружить явную ложь. Неправда, например, что Партия изобрела самолеты, как это утверждается в книгах по ее истории. Он помнил самолеты со дней раннего детства. Но ничего нельзя доказать. И никогда нет улики. Только один раз в жизни у него в руках оказались безошибочные доказательства подделки исторических фактов. И в этом случае . . .

— Смит! — завизжал сварливый голос из телескрина. — 6079, Смит У! Да, вы! Наклонитесь ниже, пожалуйста! Вы можете проделать это лучше. Просто не стараетесь. Ниже, пожалуйста! Вот это лучше, товарищ. А теперь все встаньте вольно и смотрите на меня.

Горячий пот внезапно выступил по всему телу Уинстона. Но лицо по-прежнему было непроницаемым. Никогда не обнаруживать уныния! Никогда не обижаться! Одно движение глаз может вас выдать. Он стоял смирно, наблюдая, как инструкторша поднимала руки над головою и — не то, что грациозно — но очень четко и искусно касалась руками кончиков пальцев на ногах.

— Вот так, товарищи! Я хочу, чтобы вы делали это вот так. Смотрите еще. Мне тридцать девять лет, и у меня четверо детей. Теперь смотрите, — она наклонилась снова, — видите, я не сгибаю колен. Каждый из вас может это сделать, если захочет, — добавила она, выпрямляясь. — Каждый, кому нет сорока пяти лет, вполне может коснуться рукою пальцев на ногах. Не всем нам выпала честь сражаться на фронте, но все мы, по крайней мере, должны быть в форме. Вспомните наших ребят на Малабарском фронте. Вспомните моряков

на Плавающих Крепостях! Подумайте только, что им приходится терпеть. А теперь попробуем опять. Это уже лучше, товарищ, много лучше, — добавила она одобрительно, обращаясь к Уинстону, который впервые за несколько лет сильным рывком и не согнув колен, сумел коснуться пальцев на ногах.

#### IV

С глубоким бессознательным вздохом, от которого он обычно не мог удержаться в начале рабочего дня, несмотря даже на близость телескрин, Уинстон потянул к себе диктограф, сдул с трубки пыль и надел очки. Затем он развернул и скрепил вместе четыре маленьких бумажных цилиндра, которые уже успела выбросить пневматическая трубка, установленная справа от письменного стола.

В стенах кабинки имелось три жерла. Направо от диктографа — маленькое пневматическое сопло для письменных сообщений, налево, побольше — для газет, а несколько в стороне, но на расстоянии, до которого Уинстон легко доставал рукою — большая продолговатая щель, забранная проволоочной сеткой. Она служила для уничтожения бумажного хлама. Тысячи или десятки тысяч таких щелей имелись в здании и не только в каждой комнате, но и в каждом коридоре, где они находились на коротком расстоянии друг от друга. По некоторым причинам они получили прозвище «щелей-напоминателей». Если было известно, что такой-то документ подлежит уничтожению или если даже просто вам попадался на глаза ненужный клочок бумаги, вы автоматически приподнимали крышку ближайшей щели-напоминателя и опускали туда этот клочок. Струя теплого воздуха уносила его в громадные печи, скрытые где-то во чреве здания.

Уинстон просмотрел четыре листочка, которые он перед этим развернул. Каждый из них содержал сообщение в одну или две строчки, написанное на сокращенном жаргоне, который употреблялся в Министерстве для внутренних целей; не будучи настоящей Новоречью, он однако содержал в себе

много заимствованных из ее слов. В донесениях говорилось: таймс 17.3.84. речь сб африке противoinформационна выпрямить

таймс 19.12.83. предсказание 3 лп 4 квартал 83 опечатки сверить текущий выпуск

таймс 14.2.84. млинзобилие шоколаде противовыдержки выпрямить

таймс 3.12.83. сообщение днєвприказе сб двутыпоснехорошо ссылки нєлюдєй полнопереписать и верхпред доархивации

С чувством некоторого удовлетворения Уинстон отложил четвертое донесение в сторону. Это будет сложная и ответственная работа, и еѹ лучше заняться под конец. Три других были простой рутинѹ, хотя над вторым сообщением, быть может, и придется покорпеть из-за обилия скучных цифр.

Уинстон набрал «обратные» номера телескринѹ и потребовал соответствующие выпуски Таймса. Спустя всего несколько минут они выскользнули из сопла автомата. Полученные им сообщения касались газетных телеграмм и статей, которые, по тем или иным причинам, подлежали переделке или, как было принято выражаться на официальном языке, — выпрямлению. Например, 17-го марта Таймс общал о произнесенной накануне речи Старшего Брата, в которой предсказывалось, что затишьє на Индийском фронте будет продолжаться, но что в ближайшее время евразийцы начнут наступление в Северной Африке. Однако, случилось так, что Верховное командование Евразии повело наступление в Южной Индии, оставив в покое Северную Африку. Поэтому необходимо было переделать соответствующий абзац речи Старшего Брата таким образом, чтобы его предсказание совпадало с действительным ходом вещей. Или, в другом случае, Таймс 19-го декабря опубликовал официальное предсказание, касающееся выпуска разных товаров потребления в четвертом квартале 1983-го года, который одновременно был и шестым кварталом Девятой Трехлетки. Сегодняшний номер содержал отчет о действительном вы-

пуске, причем обнаруживалось, что официальное предсказание грубо ошибалось в каждом случае. Работа Уинстона состояла в том, чтобы выправить первые цифры и привести их в соответствие с более поздними. Что касается третьего донесения, то оно относилось к очень простой ошибке, которую можно было исправить в две минуты. Совсем недавно, в феврале, Министерство Изобилия опубликовало обещание (или, на официальном языке, — «категорическое обязательство») не сокращать шоколадного пайка в 1984-ом году. Но на самом деле, как об этом уже знал Уинстон, в конце этой недели паек шоколада уменьшался с тридцати граммов до двадцати. Всё, что нужно было сделать Уинстону — это заменить прежнее обещание предостережением, что, быть может, в апреле или около этого времени придется сократить паек.

Как только Уинстон кончал с сообщением, он прикреплял записанное диктографом исправление к соответствующему номеру Таймса и совал его в пневматическую трубку. Затем, почти бессознательным движением, он комкал оригинальное сообщение и все свои заметки и опускал то и другое в щель-напоминатель, предоставляя пламени пожрать их.

Он не знал в подробностях, что происходило в запутанном лабиринте, куда вели пневматические трубы, но общее представление у него все же имелось. После того как все поправки, которые приходилось вносить в тот или иной номер Таймса собирались вместе, они тщательно сверялись, весь номер перепечатывался, оригинал уничтожался, и его место в архиве занимала новая исправленная копия. Этот процесс непрерывной переделки касался не только газет, но и книг, журналов, брошюр, афиш, листовок, фильмов, звукозаписей, карикатур, фотографий — всех видов литературы и всех документов, которые могли иметь какое-либо политическое или идеологическое значение. День за днем, почти даже минута за минутой прошлое приводилось в соответствие с настоящим. Таким образом, правильность каждого предсказа-

ния Партии могла быть доказана документально. Ни одно газетное сообщение, ни одно мнение, которые противоречили нуждам дня, не сохранялись. Вся история становилась палимпсестом, на котором старые записи выскабливались и заменялись новыми всякий раз, когда это было необходимо. И ни в одном из этих случаев, — когда дело было уже сделано, — нельзя было доказать подлога. В самой большой секции Отдела Документации, значительно превосходившей ту, где работал Уинстон, служащие занимались только тем, что разыскивали и собирали все экземпляры книг, газет и других документов, которые считались отжившими и подлежали уничтожению. Номер Таймса, который в результате изменений политического курса или ошибочных пророчеств Старшего Брата перепечатывался чуть не десять раз, хранился до сих пор в архивах под первоначальной датой и не было ни одного другого экземпляра, чтобы опровергнуть его. То же самое и с книгами: их изымали, переписывали по нескольку раз и обязательно переиздавали без каких бы то ни было указаний на сделанные изменения. Даже письменные инструкции, получаемые Уинстоном, от которых он всегда спешил отделаться тотчас же после их использования, никогда не говорили о подлоге и даже не намекали на его возможность; говорилось лишь об упущениях, ошибках, опечатках или искаженных цитатах, нуждавшихся в исправлениях в интересах точности.

Но на самом деле, — думал он, подгоняя цифры Министерства Изобилия, — на самом деле это даже и не подлог. Это просто замена одной бессмыслицы другою. Большинство тех материалов, которые приходилось обрабатывать, не имели ничего общего с действительностью, не имели даже и подобия сходства с действительностью, какое содержится в прямой лжи. Статистические данные в первоначальных версиях были так же фантастичны, как и в исправленных. В большинстве случаев от вас ожидали просто выдумки. Например, по предварительным подсчетам Министерства Изобилия выпуск сапог должен был достичь в квартале ста со-

рока пяти миллионов пар. Действительное производство составляло, по официальным данным, шестьдесят два миллиона. Переписывая цифры предсказания, Уинстон, однако, уменьшил их до пятидесяти семи миллионов, чтобы можно было утверждать, что план был перевыполнен. Но, при всех условиях, шестьдесят два миллиона были ничуть не ближе к истине, чем пятьдесят семь или даже сто сорок пять миллионов. Скорее всего никаких сапог вообще не было выпущено. И уж во всяком случае никто не знает подлинных цифр производства и даже не стремится их узнать. Известно было лишь, что в каждом квартале производилось на бумаге астрономическое количество сапог, в то время, как быть может половина жителей Океании ходила босиком. И так было со всеми документами, касающимися и важных вещей и мелочей. Все постепенно исчезало в призрачном мире, где в конце концов даже и даты теряли свою точность.

Уинстон посмотрел через коридор. В кабинке напротив маленький небритый педантичного вида человек по имени Тиллотсон усердно работал, положив на колени свернутую газету и прижав к самым губам трубку диктографа. У него было такое выражение, словно он старался скрыть от всех, о чем секретничает один-на-один с диктографом. Он поднял глаза, и его очки враждебно сверкнули в сторону Уинстона.

Уинстон едва знал Тиллотсона и не имел понятия о том, чем он занимается. Служащие Отдела Документации не любили говорить о своей работе. В длинном, без окон, коридоре с двумя рядами кабинок, с нескончаемым шелестом бумаг и гудением голосов, бормочущих что-то в диктографы, было, по крайней мере, человек двенадцать, не известных Уинстону даже по именам, хотя он и видел каждый день, как они пробегали по коридору или жестикулировали во время Двух Минут Ненависти. Он знал, что в соседней кабинке маленькая рыжеволосая женщина целыми днями занимается тем, что вылавливает в прессе и вычеркивает имена людей, которые были распылены и поэтому рассматривались, как никогда не существовавшие. Занятие такого рода

определенно подходило ей — муж этой женщины был распылен примерно года два тому назад. А еще несколькими кабинками дальше кроткое, мечтательное и инертное создание по имени Амплефорс, с очень волосатыми ушами и с поразительным талантом жонглировать рифмами и размерами, было занято изготовлением подтасованных вариантов или так называемых сверенных текстов стихов, которые стали неприемлемыми идеологически, но по тем или иным соображениям сохранялись в антологиях. И этот коридор с его, приблизительно, пятьюдесятью служащими был лишь одной подсекцией, одной ячейкой гигантского и сложного аппарата Отдела Документации. Внизу, вверху, по сторонам — всюду роились служащие, занятые такой разнообразной работой, какую трудно даже и вообразить. Тут были громадные типографии со своими редакторами, типографскими специалистами и со сложно-оборудованными ателье для подделки фотографий. Тут был сектор телепрограмм со своими инженерами и постановщиками и с целыми труппами актеров, специально подобранных за умение имитировать голоса. Была армия клерков, занятых только тем, что они составляли списки книг и журналов, подлежащих изъятию. Были громадные склады для хранения исправленных документов и тайные печи для уничтожения оригиналов. И, конечно, хотя и совершенно анонимный, был направляющий разум, координировавший все эти усилия и определявший генеральную линию, от которой зависело, что такие-то и такие-то фрагменты прошлого сохранялись, другие фальсифицировались, а третьи совершенно переставали существовать.

Но и Отдел Документации в конечном счете был только одной ветвью Министерства Правды, главная работа которого состояла не в реконструкции прошлого, а в том, чтобы снабжать граждан Океании газетами, фильмами, учебниками, программами передач по телескрину, пьесами, романами — словом, всеми видами информации, инструктажа и развлечений от статьи до лозунгов, от лирического стихотворения до биологического трактата и от букваря до слова-

ря Новоречи. При этом Министерство должно было обслуживать не только разнообразные нужды Партии, но и повторять всю операцию на более низком уровне для нужд пролетариата. Был целый ряд самостоятельных секций, имевших дело с пролетарской литературой, музыкой, драмой и вообще с пролетарскими развлечениями. Там издавались сенсационные пятицентовые рассказы и дрянные газеты, не печатавшие почти ничего другого, кроме спорта, уголовной хроники и астрологии; там изготовлялись грязные сексуальные фильмы и сентиментальные песенки, сочинявшиеся исключительно механическим способом — с помощью особого калейдоскопа, известного под названием версификатора-автомата. Имелась также целая подсекция, которая на Новоречи называлась Порносек и была занята печатанием порнографических открыток самого низкого пошиба. Эти открытки рассылались в запечатанных конвертах, и ни один член Партии, за исключением тех, кто занимался их изготовлением, не имел права их видеть.

Пока Уинстон работал, еще три сообщения выскользнули из пневматической трубы, но это были мелкие вопросы, и Уинстон отделался от них до того, как работа была прервана Двумя Минутами Ненависти. Когда они истекли, он вернулся в кабинку, взял с полки словарь Новоречи, отодвинул в сторону диктограф, протер очки и приступил к главной части сегодняшней работы.

Работа была самым большим удовольствием в жизни Уинстона. Конечно, в большинстве она представляла собой надоедливую рутину, но среди этой рутины попадались иногда настолько трудные и запутанные дела, что в них можно было заблудиться, словно в глубине математической задачи — случаи тончайшего подлога, совершая который невозможно было руководствоваться ничем иным, кроме знания принципов Ангсоца и понимания того, что хочет сказать Партия. Уинстон обладал тем и другим. Поэтому ему временами доверялась переделка даже передовых статей Тайм-

са, написанных целиком на Новоречи. Он развернул сообщение, отложенное раньше в сторону. Там стояло:

таймс 3.12.83. сообщение дневприказе сб двуплюснехорошо  
ссылки нелюдей полнопереписать и верхпред доархивашии.

На староречи (или на литературном английском) это значило:

Сообщение о Дневном Приказе Старшего Брата в Таймсе от 3-го декабря 1983-го года крайне неудовлетворительно и содержит ссылки на несуществующие лица. Переписать полностью и представить корректуру на высшее утверждение до отправки в архив.

Уинстон прочитал преступную статью. Было такое впечатление, что Дневной Приказ Старшего Брата посвящался, главным образом, восхвалению организации, известной под именем ПСПК. Она заималась тем, что снабжала моряков Плавающих Крепостей папиросами и некоторыми другими вещами, не входившими в число предметов первой необходимости. В приказе особенно выделялся некий товарищ Уитерс, видный член Внутренней Партии, и говорилось о награждении его орденом «За выдающиеся заслуги» 2-ой степени.

Три месяца спустя ПСПК было внезапно распущено без объяснения причин. Можно было предполагать, что Уитерс и его сотрудники находились теперь в опале, хотя ни в прессе, ни по телескрину на этот счет не говорилось ничего. Но этого и следовало ожидать, потому что политических преступников чрезвычайно редко отдавали под суд или обвиняли гласно. Большие чистки, захватывавшие тысячи людей и сопровождавшиеся показательными процессами изменников и преступников мысли, которые угодливо признавались в своих преступлениях и осуждались на смерть, — представляли собой особые зрелища; они устраивались не чаще, чем один раз в два-три года. Обычно люди, навлекавшие на себя недовольство Партии, попросту исчезали — так, что о них нельзя было услышать ничего. Никто не имел ни малейшего понятия о том, что с ними происходило. Возможно, что

в отдельных случаях они даже оставались в живых. Не считая собственных родителей, Уинстон лично знал человек тридцать, пропавших в то или иное время таким образом.

Уинстон легонько провел по носу скрепой для бумаг. В кабинке напротив товарищ Тиллотсон по-прежнему сгибался с ужасно секретным видом над диктографом. На мгновение он поднял голову — снова враждебный блеск очков. Уинстона интересовало — не занимается ли товарищ Тиллотсон тем же, что и он. Очень возможно. Такую деликатную работу не доверили бы никогда одному человеку: но, с другой стороны, поручить ее целой комиссии — значит признать открыто факт фальсификации. Скорее всего, не меньше дюжины человек соревновались в этот миг в сочинении различных вариантов того, что было сказано на самом деле Старшим Братом. А затем кто-то из руководителей во Внутренней Партии должен будет выбрать ту или иную версию, отредактировать ее и пустить в ход всю сложную машину подбора необходимых справок, после чего выбранная этим руководителем ложь превратится в постоянный документ и станет правдой.

Уинстон не знал, что навлекло немилость на Уитерса. Быть может, продажность или неспособность к делу. Быть может, Старший Брат просто решил избавиться от слишком популярного подчиненного. Возможно и то, что Уитерс или кто-нибудь из близких к нему людей были заподозрены в еретических наклонностях. Или, наконец, — и это вероятнее всего, — причина состояла просто в том, что чистки, распыление людей являются необходимым элементом механизма управления. Единственным ключом к делу были слова — «ссылки на нелюдей», указывавшие на то, что Уитерс уже мертв. Арест не означает обязательно немедленную смерть. Иногда арестованных выпускают и позволяют оставаться на свободе год или два, прежде чем казнить. Очень часто человек, которого уже считают мертвым, много времени спустя, как призрак появляется на каком-нибудь показательном процессе и своими признаниями запутывает сотни других,

прежде чем снова исчезнуть — на этот раз уже навсегда. Но Уитерс уже «нечеловек». Он не существовал, не существовал никогда. Уинстон решил, что недостаточно просто видоизменить речь Старшего Брата. Лучше будет посвятить её совершенно новой теме, никак не связанной с её подлинным содержанием.

Можно было бы посвятить её обычному обличению предателей и преступников мысли, но в этом случае подлог станет слишком очевидным, тогда как изобретение какой-нибудь победы на фронте или в борьбе за перевыполнение плана Девятой Трехлетки может чересчур усложнить документ. Нужна какая-то чистая выдумка. И вдруг ему явился, уже как бы в готовом виде, образ некоего товарища Огилви, погибшего недавно в битве при героических обстоятельствах. Случалось, что Старший Брат посвящал Дневной Приказ памяти какого-нибудь скромного рядового члена Партии, чья жизнь и смерть могли служить предметом подражания. Сегодня он должен посвятить её памяти товарища Огилви. Не беда, что никакого товарища Огилви никогда в природе не существовало — несколько печатных строк и поддельных фотографий скоро вызовут его к жизни.

Уинстон подумал с минуту, потом потянул к себе диктограф и начал диктовать в привычном стиле Старшего Брата. Это был одновременно стиль военного и педанта, легко поддающийся имитации благодаря манере оратора задавать вопросы и тут же отвечать на них. («Какие уроки мы можем извлечь из этого факта, товарищи? Уроки эти суть — и это есть одновременно один из основных принципов Ангсоца»... и т. д. и т. п.)

Трех лет отроду товарищ Огилви отказался от всяких игрушек, кроме барабана, пулемета и модели вертолета. Шести лет — годом раньше срока и по специальному исключению из правила — он вступил в организацию Юных Шпионов, а в девять — командовал отрядом. В одиннадцать лет, подслушав разговор, в котором, как ему казалось, были преступ-

ные высказывания, он донес на своего дядю в Полицию Мысли. В семнадцатилетнем возрасте он стал районным организатором Антиполовой Лиги Молодежи. В девятнадцать он сконструировал гранату, принятую Министерством Мира; при первом опытном испытании одним взрывом этой гранаты был убит тридцать один евразийский пленный. Двадцати трех лет он погиб в бою. Летя над Индийским океаном с важным донесением и преследуемый вражескими истребителями, он привязал к телу пулемет и, вместе с донесением, бросился с вертолета в пучину, — конец, о котором, сказал Старший Брат, нельзя думать без зависти. В заключение Старший Брат добавлял несколько штрихов, говорящих о чистоте жизни товарища Огилви и его преданности делу. Он был абсолютным трезвенником, не курил, не позволял себе никаких развлечений, если не считать часа, который он ежедневно проводил в гимнастическом зале, и жил в обете безбрачия, полагая, что брак и заботы о семье несовместимы с постоянной преданностью долгу. У него не было других тем разговора, кроме принципов Ангсоца, и другой цели в жизни, кроме уничтожения евразийского врага и охоты на шпионов, саботажников, преступников мысли и всяких изменников вообще.

Уинстон немного поколебался, — не наградить ли товарища Огилви орденом «За выдающиеся заслуги», но в конце концов оставил эту мысль, решив, что это повлечет излишние справки.

Он снова взглянул на своего соперника в кабине напротив. Что-то определенно говорило ему, что Тиллотсон занят той же самой работой. Невозможно знать, чей вариант будет одобрен, но Уинстон почему-то был уверен, что примут его вариант. Товарищ Огилви, которого нельзя было бы представить час тому назад, стал теперь фактом. Его поразила своей странностью мысль, что можно выдумать мертвого человека, но нельзя сделать того же с живым. Огилви, который никогда не существовал в настоящем, теперь суще-

ствовал в прошлом, а когда о подделке забудут, он будет существовать так же достоверно и с такой же определенностью, как Карл Великий или Юлий Цезарь.

## V

Глубоко под землей, в буфете с низким потолком, очередь, выстроившаяся за обедом, медленно, толчками подвигалась вперед. В комнате, уже полной народу, стоял оглушительный шум. От гуляша, разогревавшегося на плите рядом со стойкой, растекался кислый, металлический запах, который не мог, однако, заглушить паров Джина Победы. В дальнем конце комнаты имелся небольшой бар или, лучше сказать, закуток, и там можно было купить джин по десяти центов за большую порцию.

— А вот и он, легок на помине! — раздался голос за спиной Уинстона.

Уинстон обернулся. Это был его друг Сайми, работавший в Отделе Исследований. Быть может, «друг» и не совсем верное слово. В теперешние времена не бывает друзей, а только товарищи, но общество одних из них приятнее, чем общество других. Сайми был филологом, специалистом в области Новоречи. Он входил в громадную коллегию экспертов, занятых составлением Одиннадцатого Издания словаря Новоречи. Это было крохотное существо, ростом ниже Уинстона, с черными волосами и с большими печальными и вместе с тем презрительно-насмешливыми глазами навывкате, которые словно обшаривали ваше лицо, когда их обладатель говорил с вами.

— Я хотел узнать, достал ли ты ножички для бритвы? — осведомился Сайми.

— Ни одного! — поспешил ответить Уинстон таким тоном, словно он был виноват в этом. — Я облазил все. Их вообще больше не существует.

Все только и делали, что выпрашивали лезвия. На самом деле у Уинстона была припрятана пара новых ножич-

ков. Уже несколько месяцев их не было в продаже. В распределителях для членов Партии всегда отсутствовал какой-нибудь предмет первой необходимости. То не было пуговиц, то штопки, то шнурков для ботинок; сейчас не было лезвий. Их можно было купить только из-под полы на «свободном» рынке.

— Я бреюсь одним и тем же ножичком шесть недель, — солгал Уинстон.

Очередь опять рывком подвинулась вперед. Когда она остановилась, Уинстон снова повернулся к Сайми. Из груды сальных металлических подносов, стоявших на краю прилавка, каждый взял себе по одному.

— Ты ходил вчера смотреть, как вешали пленных? — спросил Сайми.

— Я был занят, — ответил Уинстон безразлично. — Вероятно, я увижу казнь в кино.

— Весьма несовершенный суррогат, — заметил Сайми.

Его иронический взор блуждал по лицу Уинстона. «Я знаю тебя, — казалось говорил он. — Я вижу тебя насквозь и отлично понимаю, почему ты не пошел смотреть на эту казнь». Ядовитая партийность Сайми была чисто рассудочной. С отталкивающим злорадным наслаждением он мог говорить о налете вертолетов на вражеские деревни, о признаниях преступников мысли и о суде над ними, о казнях в подвалах Министерства Любви. Умение разговаривать с ним состояло главным образом в том, чтобы отвлекать его от этих тем и по возможности втягивать в беседы о Новоречи, о которой он умел со знанием дела и интересно говорить. Уинстон слегка отвернулся, чтобы избежать испытующего взгляда больших черных глаз.

— Хорошо вешали, — вспомнил Сайми. — Только, по моему, дело портят тем, что связывают им ноги. Я люблю смотреть, как они дрыгаются. А как у них в конце вываливаются языки! Совершенно синие языки! Мне нравится эта деталь.

— Следующий, пожалуйста! — крикнула особа в белом фартуке и с половником в руках.

Уинстон и Сайми подставили свои подносы к плите. На каждый из них быстро шлепнулся полагающийся обед: розовато-серый гуляш в металлических мисках, ломоть хлеба, кубик сыру, кружка Кофе Победа без молока и таблетка сахарину.

— Вот там под телескрином есть столик, — сказал Сайми. — Давай прихватим по дороге джину.

Им дали джин в толстых фарфоровых кружках без ручек. Они протиснулись сквозь толпу к своему месту и разгрузили содержимое подносов на железный стол, на котором кто-то оставил лужицу гуляша — грязную жидкую болтушку, напоминавшую блевотину. Уинстон поднял свою кружку с джином, остановился на мгновение, чтобы собраться с духом, и проглотил отдававшую сивухой жидкость. Когда слезы перестали застилать глаза, он вдруг обнаружил, что проголодался. Он принялся глотать полными ложками гуляш, в котором среди общей жидкой массы попадались иногда кусочки губчатой розоватой ткани, напоминавшей мясо. Оба молчали до тех пор, пока не опорожнили своих мисок. За столом, налево от Уинстона и немного позади него, непрерывно раздавалось чье-то быстрое, резкое, но неразборчивое бормотанье. Было такое впечатление, словно, перекрывая общий гул, стоявший в комнате, где-то крикает утка.

— Как подвигается словарь? — спросил Уинстон, повышая голос, чтобы Сайми мог его услышать.

— Медленно, — ответил Сайми. — Я сейчас на прилагательных. До чего же это увлекательно!

При упоминании о Новоречии он моментально загорелся. Он отодвинул миску в сторону, взял в одну из своих изящных рук ломоть хлеба, а в другую сыр и перегнулся через стол, чтобы можно было говорить без крика.

— Одиннадцатое Издание будет нашим последним словом, — сказал он. — Мы приводим язык к его окончательной

форме, к той форме, в которую он выльется, когда никто не будет говорить ни на каком другом языке. Когда мы кончим с этим, людям вроде тебя придется снова начинать с азов. Ты, по-моему, считаешь, что наша главная работа состоит в изобретении новых слов. Ничего подобного! Мы уничтожаем слова, множество слов — сотни каждый день! Мы урезаем язык до костяка. Одиннадцатое Издание не будет содержать в себе ни одного слова, которое может устареть до 2050-го года.

Он жадно откусил и проглотил несколько кусков черного хлеба и снова со страстью педанта принялся говорить. Его тонкое темное лицо оживилось, глаза потеряли саркастическое выражение и стали почти мечтательными.

— Прекрасная это вещь — уничтожение слов! Конечно, больше всего бесполезных слов среди глаголов и прилагательных, но легко можно избавиться и от сотен существительных. И не только от синонимов, а и от онтоимов тоже. В конце концов, чем можно оправдать существование слова, которое лишь противоположно другим словам? Слово содержит свою противоположность в самом себе. Возьми, например, «хорошо». Если есть такое слово, то зачем нужно еще «плохо»? «Нехорошо» ничуть не хуже, даже лучше, потому, что оно прямо противоположно, чего нельзя сказать о «плохо». Или, если нужно, например, дать более сильную степень «хорошо», то какой смысл в целом ряде бесполезных и туманных слов, вроде «превосходно», «великолепно» и тому подобное? «Плюсхорошо» покрывает все значение или «двуплюсхорошо», если ты желаешь дать что-нибудь по-сильнее. Конечно, мы уже пользуемся этими формами, но в последнем варианте Новоречи кроме них не будет никаких иных. Все понятие хорошести и плохости будет, в конце концов, покрываться всего шестью словами, а лучше сказать — одним. Чувствуешь ты прелесть этого, Уинстон? Разумеется, идея эта принадлежала С. Б. — спохватился он после короткой паузы.

Что-то вроде вялого порыва промелькнуло на лице Уин-

стона при упоминании о Старшем Брате. Но Сайми тотчас же обнаружил недостаток воодушевления в собеседнике.

— Ты не ценишь Новоречи по-настоящему, Уинстон, — заметил он почти печально. — Даже когда ты пишешь, ты продолжаешь думать на Староречи. Я читал кое-что из того, что ты помещаешь иногда в Таймсе. Неплохо написано, но все-таки это — переводы. В глубине души ты предпочитаешь Староречь со всей ее туманностью и бесполезными оттенками значений. Тебя не захватывает прелесть уничтожения слов. Известно ли тебе, что Новоречь — единственный язык в мире, словарь которого с каждым годом уменьшается?

Конечно, Уинстон это знал. Но, не полагаясь на себя, он промолчал и только (как ему казалось) сочувственно улыбнулся. Сайми снова откусил кусочек черного хлеба, быстро прожевал и продолжал:

— Разве ты не понимаешь, что все назначение Новоречи состоит в том, чтобы сузить границы мысли? В конце концов, мы сделаем преступление мысли буквально невозможным, потому что не останется слов для его выражения. Каждое необходимое понятие будет выражаться одним, и только одним словом с совершенно определенным значением, а все побочные понятия сотрутся и забудутся. Мы недалеко от этого уже и в Одиннадцатом Издании. Но процесс будет продолжаться еще долго после нашей с тобой смерти. С каждым годом все меньше и меньше слов и все уже и уже границы сознания. Конечно, даже и теперь нет ни причин, ни оправдания для преступления мысли. Просто это вопрос самодисциплины и контроля реальности. Но в конечном счете отпадет нужда даже и в них. Революция будет завершена, когда язык станет совершенным. Новоречь — это Ангсоц, а Ангсоц — это Новоречь, — добавил он с каким-то мистическим удовлетворением. — Приходило ли тебе когда-нибудь на ум, Уинстон, что к 2050-му году, самое позднее, не останется в живых ни одного человека, способного понять разговор, который мы сейчас ведем?

— За исключением . . . — начал было Уинстон с сомнением и тут же остановился.

На языке вертелось замечание — «за исключением пролов», но он сдержал себя, не будучи вполне уверен, что это замечание в какой-то мере не является антипартийным. Однако, Сайми угадал, что он хотел сказать.

— Пролы не люди, — заметил он небрежно. — К 2050-му году, а быть может даже раньше, никто уже не будет владеть по-настоящему Староречью. Вся литература прошлого уничтожится. Чоусер, Шекспир, Мильтон, Байрон будут существовать лишь в переводах на Новоречь, превратившись не только во что-то отличное, но и в противоположное тому, чем они были. Даже партийная литература изменится. Даже лозунги будут не те. Как может существовать лозунг «Свобода — это рабство», когда самое понятие свободы упразднится? Весь образ мышления станет иным. В действительности мышления, как мы понимаем его теперь, не будет. Верность принципам Партии означает отсутствие мышления, отсутствие потребности в мысли. Верность — это бессознательность.

А все-таки, — подумал Уинстон внезапно и с глубоким убеждением, — все-таки в один прекрасный день Сайми распылят. Он слишком умен. Он слишком ясно видит и слишком откровенно говорит. Партия не любит таких людей. И однажды он исчезнет. Это написано у него на лбу.

Уинстон доел хлеб и сыр. Он слегка отодвинулся и взялся за кружку с кофе. За столом налево человек со скрипучим голосом все еще ожесточенно говорил. Молодая женщина, быть может, его секретарша, восторженно соглашалась со всем. Время от времени Уинстон улавливал реплики, вроде — «я думаю, вы совершенно правы», «я совершенно согласна с вами» — произносимые молодым и довольно-таки глупым женским голосом. Но другой голос не умолкал ни на минуту, даже когда говорила девушка. Уинстон встречал этого человека, но знал о нем лишь то, что тот занимает какой-то важный пост в Отделе Беллетристи-

ки. Это был мужчина лет тридцати с мускулистой глоткой и с большим подвижным ртом. Его голова была слегка откинута назад, и сидел он под таким углом, что свет падал ему на очки, отчего Уинстон видел вместо глаз два пустых диска. Слегка страшило еще то, что в потоке слов, изливавшихся из его уст, почти невозможно было различить ни одного отдельного слова. Только раз Уинстон поймал фразу «полное и окончательное уничтожение гольдштейнизма», брошенную очень быстро, одним духом, как отливается без шпонов типографская строка. Для всех остальных его речь была просто шумом, криканьем. И все же, хотя невозможно было уловить, что говорил этот человек, его естество не оставляло в общем никаких сомнений. Обвинял ли он Гольдштейна и предлагал усилить меры против саботажников и преступников мысли, громил ли жестокости Евразийской армии, восхвалял ли Старшего Брата и героев Малабарского фронта, — все равно, можно было быть уверенным, что каждое его слово было чистой партийностью, чистым Ансоцем. Наблюдая безглазое лицо, на котором только челюсть быстро двигалась то вниз, то вверх, Уинстон испытывал курьезное чувство, будто перед ним не настоящий человек, а манекен. Это говорил не разум человека, — говорила гортань. Чепуха, исходившая из нее, состояла из слов, но она не была речью в подлинном смысле: это был шум, издаваемый подсознанием и подобный криканью утки.

Сайми на мгновение погрузился в молчание, разрисовывая ложкой узоры в лужице гуляша. Криканье за другим столом все продолжалось, выделяясь в окружающем шуме.

— Есть на Новоречи слово, — сказал Сайми, — не знаю, известно ли оно тебе, — уткомолвить, то есть крикать по-утиному. Это одно из тех занятных слов, которые имеют два противоположных значения. При обращении к оппоненту, это — оскорбление, при обращении к тому, с кем ты согласен, — похвала.

Определенно, Сайми расплыл, — подумал снова Уинстон. Он подумал об этом с оттенком печали, хотя хорошо

знал, что Сайми пренебрегает им и слегка недолгоблывает, что он вполне способен обвинить его в преступлении мысли, если будет иметь основания на то. Был какой-то едва уловимый изъян в Сайми. Чего-то ему недоставало: сдержанности, скрытости, чего-то вроде спасительной глупости. Нельзя сказать, что он уклонист. Нет, он верит в принципы Ансоца, он благоговееет перед Старшим Братом, он радуется победам, ненавидит еретиков не только искренне, но с какой-то ненасытной яростью и именно тех еретиков, которых надо ненавидеть по последним сведениям, недоступным рядовому члену Партии. И тем не менее, его верность Партии вызывает какие-то сомнения. Он говорит вещи, которых лучше было бы не говорить, он читает слишком много книг, он является завсегдатаем кафе «Под каштаном» — излюбленного места художников и музыкантов. Не существует даже неписанного закона, запрещающего бывать в кафе «Под каштаном», однако, в этом имени есть нечто зловещее. Старые, дискредитированные вожди Партии любили собираться в этом кафе до того, как были окончательно вычищены. Рассказывали, что десятки лет тому назад там видели иногда и самого Гольдштейна. Нетрудно угадать судьбу Сайми. И все же несомненно: сумеет Сайми уловить хоть на три секунды тайные помыслы Уинстона, он в ту же минуту предаст его Полиции Мысли. Это может сделать на его месте любой, но Сайми — скорее, чем большинство других. На одном рвении далеко не уедешь. Партийность требует кроме того и бессознательности.

Сайми поднял глаза.

— Вот идет Парсонс, — сказал он.

И что-то в тоне его голоса словно добавляло — «этот убийственный дурак». И, действительно, сосед Уинстона по Особняку Победы, Парсонс, прокладывал себе путь через комнату. Это был бочкообразный среднего роста человек с белокурыми волосами и лягушачьим лицом. В тридцать пять лет он уже успел нажить себе жирок в талии и на шее, но движения его были юношески проворными. Да и весь он так

походил на парня-переростка, что несмотря на форменный комбинезон, его почти нельзя было представить иначе, как в синих трусиках, в серой рубашке, с красным шейным платком Юных Шпионов. При мысли о нём невольно рисовались голые колени в ямочках и засученные до локтей рукава на полных руках. И на самом деле Парсонс неизменно старался обрядиться в трусики, когда какая-нибудь массовая вылазка или другое физкультурное мероприятие позволяли это сделать. Он приветствовал Уинстона и Сайми веселым «Алло, алло!» и, обдавая их острым запахом пота, присел к столу. По всему его румяному лицу выступал бисер влаги. Он отличался необычайной потливостью. В Общественном Центре только потому, как намокали рукоятки ракеток, можно было в любой момент сказать, когда Парсонс играл в пинг-понг.

Сайми извлек полоску бумаги с длинной колонкой слов и, держа в руках чернильный карандаш, погрузился в их изучение.

— Полюбуйтесь, как он трудится во время обеда, — сказал Парсонс, толкая под бок Уинстона. — Вот работяга! Что это у вас там, старина? Наверно, что-нибудь слишком мудреное для меня? Смит, дружище, сказать вам, почему я гонюсь за вами? Это насчет подписки, про которую вы, верно, забыли.

— Какой именно подписки? — спросил Уинстон, автоматически шаря по карманам. Примерно четверть жалования уходила на пожертвования, число которых было так велико, что упомянуть все их было трудно.

— На Неделю Ненависти. Помните — сбор по квартирам. Я казначей в нашем квартале. Мы из кожи лезем вон, чтобы не осрамиться. И поверьте мне — не Парсонс я буду, если на наших с вами Особняках Победы не будут красоваться лучшие на всю улицу флаги. Вы обещали два доллара.

Уинстон отыскал и протянул две смятых и грязных бумажки, которые Парсонс заприходовал в маленьком блокноте аккуратным почерком малограмотного.

— Кстати, дружище, — сказал он. — Я слышал, что мой разбойник стрелял вчера в вас из рогатки. Я задал ему за это хорошую порку и сказал, что если это повторится, я отберу рогатку.

— Мне кажется, его расстроило немного то, что он не попал на казнь, — заметил Уинстон.

— Ну, ясно! Что ни говори, а у мальчишки здоровые взгляды, а? Разбойники они оба, а какие смышленные! Только и мыслей — о войне да о Юных Шпионах. Знаете, что выкинула моя меньшая в прошлую субботу, когда ходила на экскурсию с отрядом за Берхампшtedскую дорогу? Подговорила двух других девчонок, удрала с ними с экскурсии и полдня выслеживала какого-то человека. Целых два часа топали за ним по лесу, а когда дошли до Амерсхама, сообщили о нём в полицию.

— Почему? — спросил с недоумением Уинстон. Парсонс торжествующе продолжал:

— Дочка решила, видите ли, что он — вражеский агент, быть может, сброшенный на парашюте. Но вот попробуйте догадаться, старина, почему она так уцепилась за него? Она, знаете, заметила на нем какие-то странные ботинки, которых ни на ком раньше не видывала. Поэтому, дескать, он мог оказаться иностранцем! Довольно проникательно для семилетнего клопа, а?

— А что же случилось с тем мужчиной? — осведомился Уинстон.

— Ну уж этого я, разумеется, не знаю. Но ничуть не удивлюсь, если его того . . . — Парсонс прицелился в воздух и прищелкнул языком, подражая звуку выстрела.

— Здорово! — неопределенно отозвался Сайми, не поднимая от бумаги глаз.

— Конечно, мы должны быть бдительными, — послушно согласился Уинстон.

— Ясное дело — война! — добавил Парсонс.

Словно в подтверждение его слов, из телескринна, прямо над их головами, раздался звук трубы. Но на этот раз он

возвещал не военную победу, а всего лишь объявление Министерства Изобилия.

— Товарищи! — прокричал энергичный молодой голос. — Товарищи, внимание! Передаем сообщение, которым вы вправе гордиться. Мы выиграли битву за продукцию! Только что законченный официальный отчет о выпуске всех видов товаров потребления показывает, что, в сравнении с прошлым годом, уровень жизни поднялся не меньше, чем на двадцать процентов. По всей Океании сегодня утром происходили мощные стихийные демонстрации. Рабочие и служащие вышли с фабрик и из учреждений и со знаменами в руках шествовали по улицам, выражая благодарность Старшему Брату за его мудрое руководство, которому мы обязаны своей счастливой жизнью. Вот некоторые полные данные. Продукты питания . . .

Слова «наша новая счастливая жизнь» повторялись то и дело. За последнее время они стали любимым изречением Министерства Изобилия. Парсонс, с той минуты, как звук трубы завладел его вниманием, сидел разинув рот, с торжественным и вместе с тем каким-то скучно-просветленным выражением лица. Он не разбирался в цифрах, но чувствовал, что в них есть что-то приятное. Он вытащил огромную, уже наполовину выкуренную трубку. Получая сто грамм табаку в неделю, он редко мог набить её доверху. Уинстон курил сигарету «Победа», осторожно держа ее в горизонтальном положении. Следующий паек начнут выдавать только завтра, а у него осталось лишь четыре сигареты. На мгновение он отвлекся от постороннего шума и прислушался к чепухе, которая лилась из телескрин. Из нее явствовало, что демонстранты благодарили Старшего Брата даже за увеличение шоколадного пайка до двадцати грамм. А ведь не дальше, как вчера, — подумал он, — было объявлено о том, что паек снижается до двадцати грамм в неделю. Неужели можно было проглотить эту пилюлю всего через одни сутки? Да, они проглотили ее! Парсонс проглотил ее легко, с тупостью животного. Безглазое существо за соседним столиком

проглотило фанатично, со страстью, с неистовым желанием выследить, обвинить и распылить всякого, кто способен предположить, что на прошлой неделе паек равнялся тридцати граммам. Сайми, хотя и более сложным путем, путем двоемыслия, все-таки тоже проглотил. Значит, только он, один он помнил? . .

Телескрин продолжал изливать мифическую статистику. По сравнению с прошлым годом, теперь было больше продуктов питания, больше одежды, больше жилищ, больше мебели, больше кухонной посуды, больше горючего, больше кораблей, больше геликоптеров, больше книг, больше детей — всего больше, чем в прошлом году, за исключением болезней, преступлений и сумасшествий. Год за годом и минута за минутой всё со свистом взлетало вверх. Подобно тому, как это делал раньше Сайми, Уинстон взял ложку и принялся размазывать в узор длинную полоску бесцветной подливки, разлитой по столу. С чувством досады он размышлял о материальной стороне жизни. Всегда ли она была такой? Всегда ли люди питались так скверно? Он обвел взглядом буфет. Переполненная людьми комната с низким потолком, грязные от прикосновения бесчисленных тел стены, покоренные железные столы и стулья, поставленные так тесно, что, сидя за ними, люди касались друг друга локтями, погнутые ложки, подносы со вмятинами, грубые белые кружки, все сальное, в каждой щели грязь и, вдобавок ко всему — этот кисловатый смешанный запах скверного джина, скверного кофе, грязной одежды и гуляша. Ваш желудок и кожа вечно протестовали, всегда было такое чувство, что вы обмануты в каких-то ваших законных правах. Правда, он не мог припомнить ничего сколько-нибудь иного. Во все времена, которые он хорошо помнил, было то же самое: всегда нехватало пищи, всегда носки и нижнее белье были в дырах, мебель всегда была шаткой и поломанной, комнаты недостаточно натоплены, поезда метро переполнены, дома разваливались, хлеб всегда был темный, чай был редкостью, кофе — отвратительного вкуса, сигарет нехватало и никогда ничего

не было дешевого и в достаточном количестве, кроме синтетического джина. И хотя, конечно, чем старше вы становитесь, тем труднее это было переносить, однако не указывало ли на противоестественность этого порядка вещей то, что все страдали от лишений и забот, от грязи и холода, от липких носок, от лифтов, которые никогда не работали, от холодной воды, от грубого мыла, от сигарет, из которых высыпался табак, от пищи, имевшей всегда столь странный вкус? И почему это чувствовалось, как нечто нестерпимое, когда в вас просыпались наследственные воспоминания о том, что в свое время дела обстояли иначе?

Он опять окинул взором буфет. Почти все выглядели безобразно и, если бы вместо форменных комбинезонов были одеты во что-нибудь другое, все равно выглядели бы не лучше. В дальнем конце комнаты маленький, удивительно похожий на жучка человек, сидя в одиночестве, отхлебывал из чашки кофе, в то время как его крохотные глазки с острой подозрительностью метались по сторонам. Как легко, — думал Уинстон, — если вы не присматриваетесь к окружающему, — поверить в то, что физический тип, выдвигаемый Партией в качестве идеала, — рослый мускулистый юноша и девушка с крепкой грудью, оба белокурые, живые, загоревшие и беззаботные, — что этот тип действительно существует и даже преобладает. На самом же деле, насколько мог судить Уинстон, большинство жителей Первой Полосы были низкорослыми, черноволосыми и некрасивыми людьми. Занятно, что этот жукообразный тип особенно плодился в Министерствах: невысокие, коренастые мужчины, начинавшие очень рано полнеть, с короткими ногами, с торопливыми движениями, с жирными непроницаемыми лицами и с очень маленькими глазками. Казалось, что именно этот тип особенно преуспевает под господством Партии.

Сообщение Министерства Изобилия закончилось под новый звук трубы и сменилось какой-то дребезжащей музыкой. Парсонс, которого бомбардировка цифрами привела в состояние смутного восторга, вытащил трубку из рта.

— В этом году Министерство Изобилия определенно проделало большую работу, — сказал он, встряхивая голову с видом знатока. — Кстати, Смит, старина, у вас, конечно, не найдется бритвенных лезвий для меня?

— Ни одного, — ответил Уинстон. — Я сам бреюсь одним и тем же шесть недель.

— Ну, ясно. Я просто так решил спросить, старина.

— Очень сожалею, — добавил Уинстон.

Голос за соседним столиком, замолчавший было во время сообщения Министерства Изобилия, опять закричал так же громко, как и прежде. Уинстон почему-то вдруг поймал себя на том, что думает о госпоже Парсонс с ее прямыми прядями волос и пыльным морщинистым лицом. Не далее, чем через два года дети донесут на неё в Полицию Мысли. Госпожу Парсонс распылят. Сайми распылят. Уинстона распылят, О'Брайена распылят. Но зато Парсонса никогда не распылят. Маленьких жукообразных человечков, которые так проворно носятся по лабиринту коридоров Министерства, тоже никогда не распылят. И брюнетку из Отдела Беллетристики никогда не распылят. Казалось, он чутьем угадывал, кто выживет и кто погибнет, хотя и не легко было сказать, что именно позволит людям выжить.

В это мгновение его вывел из задумчивости резкий толчек. Девушка за соседним столиком слегка повернулась и смотрела на него. Эта была та самая — черноволосая! Она смотрела на него как бы украдкой, но странно-внимательно. Встретившись с ним глазами, она тотчас же отвела свои.

Пот выступил по всему телу Уинстона. Мучительная боль, боль страха пронизала его. Она исчезла почти моментально, оставив какую-то изводящую тревогу. Почему она следит за ним? Почему она преследует его? Как на несчастье, он не мог припомнить, сидела она уже за столиком, когда он пришел, или явилась позже. Но вчера, во время Двух Минут Ненависти, она определенно уселась прямо позади него, когда в этом не было никакой необходимости.

Очень может быть, что она подслушивала и старалась проверить, достаточно ли громко он кричит.

Опять он подумал, что она, быть может, и не настоящая агентка Полиции Мысли, но в таком случае обязательно шпионка-любительница, то есть самая опасная из шпионок. Он не знал, долго ли она смотрела на него; возможно, минут пять, и возможно, что выражение его лица недостаточно контролировалось в это время. Ужасно опасно предаваться размышлениям в общественном месте или в поле зрения телескрин. Любая мелочь может вас выдать: нервный тик, бессознательно озабоченный взгляд, привычка бормотать что-нибудь себе под нос — всё, что содержит намек на необычность или походит на попытку что-то утаить. Во всяком случае, неподобающее выражение лица (например, выражение недоверия во время сообщения о победе) само по себе есть наказуемый проступок. На Новоречи для него есть даже специальное слово: лицепреступление.

Девушка опять сидела, отвернувшись от него. В конце концов, можно допустить, что она и не следит за ним, а просто случайно оказывается бок о бок с ним два дня подряд. Его сигарета потухла, и он осторожно положил ее на край стола. Если удастся сохранить табак, он докурит ее после работы. Очень может быть, что человек за соседним столиком — агент Полиции Мысли, очень может быть, что в ближайшие три дня он, Уинстон Смит, очутится в подвалах Министерства Любви, но окурок надо сохранить. Сайми свернул свою полоску бумаги и сунул ее в карман. Парсонс опять заговорил.

— Я вам не рассказывал, старина, — хихикнул он, держа трубку в зубах, — как мои клопы подожгли юбку у торговки на базаре, когда увидели, что она заворачивает сосиски в плакат с изображением С. Б.? Нет, не рассказывал? Подкрались сзади да и чиркнули спичку. Подпалили ее, кажется, изрядно. Ничего, что малыши, а едкие, как горчица! Отличную подготовку им дают теперь в Юных Шпионах, лучше даже, чем в мои дни. Знаете, что они получили там послед-

ний раз? Трубки для подслушивания через замочные скважины! Дочка принесла на следующий вечер одну трубку домой, пробовала подслушивать в гостиной и нашла, что слышит вдвое лучше, чем когда просто прикладывает ухо к скважине. Знаю, знаю, что вы думаете! Вы, конечно, скажете, что это просто-напросто игрушка. А всё-таки разве она их не наставляет на путь истинный?

В этот миг телескрин издал пронзительный свист. Это был сигнал возвращения на работу. Все трое мужчин вскочили, спеша принять участие в битве за лифт, и остаток табаку высыпался из сигареты Уинстона.

## VI

Уинстон писал в дневнике:

*Это было три года тому назад. Было темным вечером на одной из узких улиц неподалеку от большого вокзала. Она стояла у подъезда под уличным фонарем, который едва светил. У нее было молодое, очень густо накрашенное лицо. Именно белизна этого лица, походившего на маску, и ярко красные губы и привлекли меня. Партийки никогда не красятся. В переулке, кроме нас, не было никого, и не виделось телескрин. Она сказала — два доллара. Я...*

Как трудно было продолжать! Он закрыл глаза и прижал к ним пальцы, стараясь погасить вновь и вновь возникавшее видение. Его охватывал непреодолимый соблазн — прокричать во весь голос длинное непристойное ругательство или биться головой об стенку, опрокинуть стол, швырнуть чернильницу в окно, буйствовать, шуметь, причинять боль, — сделать что-то такое, что заставило бы померкнуть терзавшее его воспоминание.

Злейший ваш враг, — думал он, — ваша собственная нервная система. В любой момент внутреннее напряжение может проявиться в видимых симптомах. Он подумал о человеке, повстречавшемся ему на улице несколько недель

тому назад: совершенно простой человек, член Партии, тридцати пяти или сорока лет, довольно высокий и худой с портфелем в руках. Их разделяло несколько метров, когда что-то вроде судороги внезапно исказило левую сторону лица мужчины. Это повторилось снова, когда они сошлись — подергивание, трепет, быстрый, как щелчок затвора фотоаппарата и явно привычный. Помнится, он тогда подумал: этот несчастный обречен. Страшно было то, что происходило это, видимо, бессознательно. Смертельно опасно говорить во сне. Но, как он убедился, ничем нельзя предохранить себя от этого.

Он вздохнул и продолжал:

*Через подъезд и через двор мы прошли с нею в кухню, находившуюся в подвале. Там при слабом свете лампы, стоявшей на столе, я увидел у стены кровать. Женщина . . .*

Уинстона покорило. Хотелось плевать. Вместе с этой женщиной из подвала, он вспомнил о своей жене Катерине. Он женат или, по крайней мере, был женат, а может быть, женат и до сих пор, потому что, насколько ему известно, его жена еще жива. Казалось он опять дышит теплым спертым воздухом подвала с его смешанным запахом клопов, грязной одежды и дешевых духов, отвратительных и в то же время завлекающих, потому что женщины-партийки никогда не душились, их даже нельзя было себе представить надушенными. Только пролетарки пользовались духами. В представлении Уинстона запах духов неразрывно связывался с прелюбодеянием.

Когда он пошел за этой женщиной, это было его первое грехопадение приблизительно за два года. Общение с проститутками, конечно, воспрещалось, но правило относилось к числу тех, которые порой и можно было отважиться нарушить. Это было опасно, но не угрожало смертью. За то, что вас поймали с проституткой, вам могли дать пять лет концентрационных лагерей, не больше. Не так много, но — это лишь в том случае, если вас не изловили во время са-

мого акта. Кварталы бедноты кишели женщинами, готовыми продать себя. Иных можно было купить даже за бутылку запрещенного для пролов джина. Партия молчаливо даже подстрекала проституцию, как отдушину для инстинктов, которые нельзя было подавить. Разврат не угрожал вообще ничем, если он был тайным, безлюбным и если жертвами являлись женщины самого низкого и презираемого класса. Беспощадно каралось лишь сожителство членов Партии. Но хотя это и было одним из тех преступлений, в котором неизменно каялись жертвы больших чисток, все же трудно верилось, что такие вещи действительно случались.

Цель Партии состояла в том, чтобы просто помешать мужчинам и женщинам связывать себя узами взаимной верности, трудно поддающейся контролю. Ее подлинная, тайная цель заключалась в том, чтобы устранить из полового акта всякое наслаждение. Не столько любовь, сколько эротика была врагом, как в браке, так и при внебрачном сожителстве. Все браки между членами Партии подлежали утверждению особого комитета, причем, — хотя этот принцип никогда и не был ясно декларирован, — в разрешении всегда отказывали, если пара производила впечатление людей, физически привлекательных друг для друга. Единственной признанной целью брака было воспроизведение потомства, призванного служить Партии. Половое общение должно было рассматриваться лишь как небольшая неприятная операция, вроде клизмы. Но и это никогда не облекалось в простые и ясные слова, а лишь косвенным путем с детства вдалбливалось в каждого члена Партии. Имелись даже специальные организации, вроде Юношеской Антиполовой Лиги, проповедывавшие обет безбрачия для обоих полов. В этом случае зачатие детей должно было производиться с помощью искусственного оплодотворения (ископ на Новоречи), а дети — воспитываться обществом. По мнению Уинстона, это не имело серьезного значения, хотя и отвечало как-то генеральной линии Партии. Партия стремилась убить половой инстинкт, если же убить не удавалось, то, по крайней мере,

очернить его и представить в извращенном виде. Уинстон не знал почему, но это казалось естественным для Партии. По отношению к женщинам ее усилия в большинстве случаев были более успешными, чем в отношении мужчин.

Он вернулся к мысли о Катерине. Прошло, вероятно, уже десять или даже около одиннадцати лет с тех пор, как они разошлись. Удивительно, как редко думал он о ней! Иногда он совершенно забывал, что когда-то был женат. Они жили всего около пятнадцати месяцев. Партия не разрешала разводов, но в тех случаях, когда не было детей, даже поощряла раздельное жительство супругов.

Катерина была высокая, очень стройная белокурая девушка с прекрасными движениями. У нее было смелое лицо с правильными чертами, которое могло казаться аристократическим до тех пор, пока не обнаруживалось, что за этим лицом не скрывается решительно ничего. Быть может потому, что он был к ней гораздо ближе, чем к большинству других людей, но в первые же дни их брака он убедился, что более пустого, глупого и пошлого создания он никогда в жизни не встречал. В голове у нее не было ничего, кроме лозунгов, и не существовало такой глупости, — решительно ни одной, — которую она не проглотила бы, если эту глупость ей подсовывала Партия. «Ходячий граммофон» — мысленно окрестил он ее. И все-таки он мог бы кое-как ужиться с нею, если бы не одна вещь — пол.

Как только он касался ее, она вся словно содрогалась и каменела. Обнимать ее — было то же самое, что обнимать деревянного идола. Удивительно, что даже, когда она прижимала его к себе, у него было такое чувство, словно в то же время она и отталкивает его изо всех сил: так неэластичны были ее мускулы. Она могла лежать с закрытыми глазами, не сопротивляясь и не содействуя, а покоряясь. Сначала это необыкновенно стесняло его, а потом стало просто ужасать. Но даже и при этом он готов был оставаться с нею,

если бы она согласилась воздержаться от общения. Любопытно, однако, что именно Катерина отказывалась от воздержания. Если можно, — говорила она, — они должны дать жизнь ребенку. Поэтому их связь продолжалась, раз в неделю, регулярно, исключая те дни, когда это было невозможно. Катерина имела даже обыкновение напоминать ему об этом по утрам, как о чем-то таком, чего не следовало забыть сделать вечером. У нее были два выражения для этого. Первое — «делать ребеночка» и другое — «наш долг перед Партией» (да, да, она так именно и говорила!). Довольно скоро он положительно стал испытывать страх, когда назначенный день приближался. К счастью, ребенка не появилось, и в конце концов она согласилась отказаться от дальнейших попыток, а вскоре они разошлись.

Уинстон едва слышно вздохнул. Он снова взял перо и стал писать:

*Женщина повалилась на кровать и тут же, без разговоров, самым непристойным и ужасным жестом, какой только можно вообразить, вздернула юбку. Я . . .*

Он увидел, как, освещенный тусклым светом лампы, он стоит в подвале, вдыхая запах клопов и дешевых духов и испытывая в сердце чувство поражения и горькой обиды, которые даже в этот момент мешались с воспоминанием о белом теле Катерины, навеки замороженном гипнотической силой Партии. Почему это всегда должно быть так? Почему нельзя любить одну женщину, свою женщину, а нужно прибегать к этим животным стычкам с годовыми перерывами? Но настоящая любовь — почти невыносимая вещь. Партийки все одинаковы. Целомудрие так же укоренилось в них, как верность Партии. С помощью различных мер к улучшению здоровья, предпринимаемых с детских лет, с помощью игр, холодных купаний, с помощью всякого вздора, который вдалбливается в них в школе, в Юных Шпионах, в Юношеской Лиге, с помощью лекций, парадов, песен, лозунгов, во-

енной музыки убивается у них естественное чувство. Разум говорил ему, что должны быть исключения, но сердце этому не верило. Все они неприступны, как того и хочет Партия. Желание хотя бы только раз в жизни разбить эту стену целомудрия было в нем даже сильнее желания быть любимым. Успешный и законченный половой акт был мятежом. Страсть — преступлением мысли. Ведь даже если бы он разбудил Катерину, это рассматривалось бы как обольщение, хотя она была его женой.

Но рассказ должен быть доведен до конца. И он написал:

*Я ввернул лампу. Когда я увидел её при свете . . .*

После темноты хилый свет парафиновой лампы казался очень ярким. В первый раз он разглядел женщину как следует. Он шагнул к ней и остановился, полный вождения и ужаса. До боли он сознавал всю опасность того, что пришел сюда. Очень может быть, что патруль схватит его, когда он будет уходить и возможно, что сейчас его уже ждут у дверей. И даже если он уйдет, не сделав того, зачем пришел . . .

Это должно быть написано! Он должен в этом исповедаться! При свете лампы он внезапно увидел, что женщина была старухой! Краска так густо облепляла ей лицо, что, казалось, вот-вот начнет трескаться как картонная маска. Седые пряди сквозили в ее волосах. Но одна деталь поразила его до ужаса: рот женщины, слегка открытый не обнаруживал ничего, кроме пещерной пустоты. В нем не было ни одного зуба.

Торопливо, каракулями он написал:

*Когда я увидел ее при свете, я обнаружил, что она совсем старуха, пятидесяти лет, по крайней мере. Но это не остановило меня и я сделал свое дело . . .*

Он снова прижал пальцы к векам. Наконец-то он это написал, но что изменилось? Лечение не помогло. Желание прокричать во весь голос неприличное ругательство было так же сильно, как и прежде.

## VII

*Если и есть надежда (писал Уинстон), то только на пролов.*

Если и имелась какая-то надежда, то она должна была заключаться в пролах, потому что только там, среди отверженных масс, роившихся как насекомые и составлявших восемьдесят пять процентов населения Океании, могла зародиться сила, способная уничтожить Партию. Партию нельзя ни проверить изнутри. Если у нее и были враги, они не имели возможности объединиться и опознать друг друга. Даже если легендарное Братство существовало, что можно было допустить, то нельзя было понять, как его члены могли собираться больше, чем по двое и по трое. Протест выражался лишь во взгляде, в интонации голоса или, самое большее, — в случайном, шопотом сказанном слове. Между тем, пролы не нуждались бы в конспирации, если бы они сумели как-то осознать свою силу. Им достаточно было бы подняться и хорошенько встряхнуться, словно лошади, отгоняющей оводов. Стоит им захотеть, и они завтра же утром разорвут Партию в клочья. Несомненно, раньше или позже они догадаются это сделать, но пока . . .

Он вспомнил, как однажды, когда он шел по улице, запруженной толпами народа, до него донесся ужасный крик сотен женских голосов, взорвавшийся в переулке немного впереди него. Это был грозный и могучий возглас гнева и отчаяния, глубокое и громкое «о-о-о!» подобное гудению колокола. У него забилося сердце. Началось! — подумал он. — Восстание! Наконец-то пролы вырвались на свободу! Подойдя ближе, он увидел толпу в двести или триста женщин, сгрудившихся вокруг базарных ларьков. Лица этих женщин выражали такое отчаяние, словно они были обреченными на гибель пассажирами тонущего корабля. Но в ту же минуту общая свалка как бы разделилась на множество отдельных ссор. Оказалось, что в одном из ларьков продавались металлические кастрюли. Кастрюли были скверные, деше-

венькие, но кухонную посуду всегда было трудно достать. А тут её запас неожиданно совсем иссяк. Те женщины, которым удалось купить, под толчки и зуботычины остальных старались выбраться из толпы со своими кастрюлями, в то время как десятки других, окружив прилавок, шумно обвиняли продавца в том, что он продавал по знакомству и что у него припрятан остаток товара. Снова всплеснулся крик. Две опухших женщины, — у одной из них растрепавшиеся пряди свисали на лоб, — ухватившись за кастрюлю, старались вырвать ее друг у друга. Они тянули ее до тех пор, пока ручка не обломилась. Уинстон с отвращением глядел на них. Но все же, пусть лишь на мгновение, — какая ужасающая сила прозвучала в этом крике всего двух или трех сотен голосов! Почему они не закричат вот так, когда дело касается чего-нибудь действительно серьезного?

Он написал:

*Пока их сознание не проснется, они не восстанут, но раньше, чем они не восстанут, их сознание не может проснуться.*

Это звучит почти как выписка из партийных учебников, — подумал он. Партия, конечно, утверждала, что она освободила пролов от рабства. До революции они жестоко угнетались капиталистами, подвергались избиениям, голодали, женщин заставляли работать в угольных копях (на самом деле женщины и до сих пор продолжали там работать), шестилетних детей продавали на фабрики. Но в то же время, по принципу двоемыслия, Партия учила, что пролы от рождения — существа низшего порядка, которых, как животных, следует держать в повиновении с помощью немногих простых правил. В сущности, о пролах известно очень мало и нет необходимости знать больше. Пока они плодятся и работают, от них не требуется ничего иного. Предоставленные самим себе, как скот, вольно пасущийся на равнинах Аргентины, они вернулись к образу жизни их предков, который кажется естественным для них. Они рождаются, растут на улице, в двенадцать лет идут работать, затем вступают в корот-

кий период расцвета и полового желания, в двадцать лет женятся и выходят замуж, к тридцати годам достигают среднего возраста, а умирают в большинстве случаев около шестидесяти. Тяжелый физический труд, заботы по хозяйству и о детях, мелкие стычки с соседями, фильмы, футбол, пиво, а больше всего азартные игры — вот и весь их умственный горизонт. Их нетрудно держать под контролем. Небольшое количество агентов Полиции Мысли всегда трется среди них, распуская ложные слухи, беря на заметку и изымая немногих отдельных лиц, которые могут оказаться опасными; но никаких попыток преподать им партийную идеологию не делается. Все, что от них требуется — это примитивный патриотизм, который мог бы проявляться, когда надо согласиться с удлинением рабочего дня или с сокращением пайка. И даже когда они недовольны, что иногда бывает, их недовольство не приводит ни к чему, потому что не имея руководящей идеи, они могут сосредоточить внимание лишь на мелочах. Более крупное зло неизменно ускользает из их поля зрения. У подавляющего большинства пролов нет даже телескрин на дому. Да и гражданская полиция очень редко вмешивается в их дела. В Лондоне громадное количество воров, бандитов, проституток, торговцев наркотиками и гангстеров, — целое государство преступников в государстве, — но поскольку все это происходит среди пролов, этому не придается значения. Во всем, что касается нравственности, пролам разрешено следовать кодексу их предков. Не навязывается им и половой пуританизм Партии. Половая распущенность не преследуется, разводы — разрешены. Точно так же даже и богослужения были бы разрешены, если бы пролы обнаружили хоть малейшую потребность в них. Они — ниже подозрений. Как гласит партийный лозунг: «Пролы и животные свободны».

Уинстон нагнулся и осторожно почесал вериковозную язву. Она опять начала зудеть. Все дело неизменно упирается в то, что нельзя установить, как в действительности жили люди до Революции. Он достал из ящика школьный учеб-

ник по истории, взятый у госпожи Парсонс, и принялся выписывать в дневник следующий отрывок:

В прежние времена (говорилось там), до Великой Революции Лондон не был тем прекрасным городом, каким мы знаем его сейчас. Это были темные, грязные и убогие трущобы, где вряд ли кто-нибудь из жителей ел досыта и где у сотен и тысяч бедняков не было даже обуви на ногах и крыши над головой. Дети не старше вас должны были работать по двенадцати часов в сутки на жестоких хозяев, которые секли их кнутом, если они работали медленно, а кормили только черствым хлебом да водой. Но посреди всей этой ужасной нищеты стояло несколько громадных домов, где жили богатые люди, имевшие по тридцати слуг. Эти богачи назывались капиталистами. Это были толстые, безобразного вида люди с лицами злодеев, вроде того, что вы видите на картинке на следующей странице. Вы видите, что он одет в длинный черный пиджак, который назывался фракком, а на голове у него странная сверкающая шляпа, похожая на печную трубу — цилиндр, как их называли тогда. Это была форма капиталистов и никто, кроме них, не смел ее носить. Все в мире принадлежало капиталистам, а все другие были их рабами. Капиталистам принадлежала вся земля, все дома, все фабрики и все деньги. Если кто-нибудь не повиновался им, они могли бросить его в тюрьму или отнять работу, и он умирал с голоду. Когда простой человек разговаривал с капиталистом, он должен был пресмыкаться перед ним, низко кланяться, снимать шляпу и говорить «сэр». Самый главный из капиталистов назывался королем и . . .

Но он знал остальное. Там, конечно, рассказывалось о епископах, носивших батистовые рукава, о судьях, одетых в горностаевые мантии, о позорном столбе, о бирже, об однообразном изнуряющем труде, о девятихвостке, о банкете у лорда-мэра и об обычае целовать папскую туфлю. Существовала еще одна вещь — j' aespigum sc to, которую, быть

может, лучше было бы и не упоминать в учебнике для детей. Так назывался закон, по которому каждый капиталист имел право спать с любой женщиной, работавшей у него на фабрике.

Как можно узнать, сколько во всем этом лжи? Может быть и правда, что среднему человеку живется теперь лучше, чем до Революции. Единственное очевидное свидетельство против этого — немой протест всего вашего организма, инстинктивное ощущение того, что условия, вас окружающие, — невыносимы и что когда-то они должны были быть иными. Его вдруг поразила мысль, что лучше современную жизнь характеризуют не ее жестокость и не то, что человек так неуверен в завтрашнем дне, а просто ее пустота, бедность и безотрадность. Стоит посмотреть вокруг себя, чтобы убедиться, что жизнь не только не имеет никакого сходства с ложью, изливаемой телескрином, но даже с идеалами, к которым стремится Партия. Очень многие стороны этой жизни — отбывание нудной трудовой повинности, битвы за место в метро, штопанье драных носок, выпрашивание таблетки сахарину, собирание окурков — даже для членов Партии нейтральны и не имеют отношения к политике. Идеальный мир Партии представлял собою нечто грандиозное, ужасающее и великолепное: мир стали и цемента, чудовищных машин, грозного оружия, нацию воинов и фанатиков, идущих вперед и вперед в совершенном единстве, одинаково думающих, выкрикивающих одни и те же лозунги, вечно работающих, сражающихся, торжествующих, вечно кого-то преследующих, — триста миллионов людей с одинаковым обликом. А действительностью были: приходящие в упадок мрачные города, где полуголодные люди едва волочили ноги в драных башмаках и кое-как залатанные дома девятнадцатого столетия, в которых вечно стоит запах капусты и грязных уборных. Вид Лондона, казалось, стоял перед ним, как живой: вид громадного разрушенного города с миллионом домов, похожих на мусорные ящики. И этот вид каким-то образом связывался с воспоминанием о госпоже Парсонс,

женщине с морщинистым лицом и прямыми космами волос, беспомощно копающейся в забитой сточной трубе.

Он протянул руку и опять почесал лодыжку. День и ночь телескрин вдалбливал в вас статистику, доказывающую, что у людей сегодня стало больше пищи и одежды, чем пятьдесят лет тому назад, что они живут в лучших домах, больше развлекаются, что продолжительность жизни увеличилась, а часы работы сократились, что народ стал выше ростом, здоровее, сильнее, умнее, что он получает лучшее образование. Но ни одно из этих утверждений нельзя доказать или опровергнуть. Партия, например, заявляет, что сорок процентов взрослых пролов теперь грамотны, а до Революции их было всего пятнадцать. Она также утверждает, что смертность среди детей равняется теперь лишь ста шестидесяти на тысячу, тогда как до Революции из каждой тысячи умирало триста. И так далее. Вроде одного уравнения с двумя неизвестными. Очень могло быть, что в книгах по истории буквально каждое слово, даже когда речь заходит о вещах, не вызывающих сомнений, — чистая фантазия. Насколько он знал, вряд ли когда-нибудь было что-либо похожее на такой закон, как *jus primae noctis*; или на такое существо, как капиталист, или на такой головной убор, как цилиндр.

Всё исчезало в дымке. Прошлое стерто, подчистка забыта и ложь стала правдой. Только один раз в жизни он обладал конкретным безошибочным доказательством акта фальсификации, но беда вся в том, что обладал он им постфактум. Он держал это доказательство в руках тридцать секунд. Это было, по всей вероятности, в 1973-ем году или, во всяком случае, приблизительно в то время, когда он разошелся с Катериной. Однако, самое событие произошло семью или восьмью годами раньше.

Началось оно в середине шестидесятых годов, в период великих чисток, когда были уничтожены раз и навсегда вожди Революции. К 1970-му году никого из них, кроме Стар-

шего Брата, не оставалось. Все прочие были к тому времени разоблачены, как изменники и контрреволюционеры. Гольдштейн бежал и скрывался неизвестно где, а большинство было казнено после громких показательных процессов, на которых они признавались в своих преступлениях. В числе последних уцелевших были три человека по имени Джонс, Ааронсон и Рутефорд. Примерно в 1965-ом году всех их арестовали. Как это нередко бывало, они исчезли на год или на два, и никто не знал, живы они или погибли, а затем неожиданно их вытащили снова для обычных саморазоблачений. Они признались в связях с вражеской разведкой (в те дни, как и теперь, врагом была Евразия), в присвоении народных средств, в убийстве ответственных членов Партии, в саботаже, жертвами которого были сотни и тысячи людей, и в том, что еще задолго до Революции они начали плести интригу против руководства Старшего Брата. После этих признаний они были помилованы, восстановлены в Партии и назначены на такие посты, которые хотя и казались важными, но на деле ничего не значили. Все трое поместили в Таймсе пространные самоуничижительные статьи, в которых излагали причины своего отступничества и обещали исправиться.

И действительно, через некоторое время после их освобождения Уинстон увидел их всех в кафе «Под каштаном». Он припомнил теперь, как, словно зачарованный ужасом, украдкой наблюдал за ними. Они были много старше его — эти осколки древнего мира, едва ли не последние великие люди, уцелевшие от ранних героических дней Партии. Героика подпольной борьбы и гражданской войны все еще казалось, реяла над ними. Хотя уже в то время факты и даты начали терять свою отчетливость, у Уинстона было такое чувство, что он знал имена этих людей задолго до того, как услышал о Старшем Брате. Но вместе с тем, это были люди, находившиеся вне закона, Партии и враги, безусловно обреченные на гибель в течение года или двух. Все, кто по-

бывал хоть раз в руках Полиции Мысли, кончали возвращением туда. Это были трупы, ожидавшие того момента, когда их отошлют назад в могилу.

Возле них за столиками не было ни души. Неразумно показываться даже близко с такими людьми. Они молча сидели за стаканами джина, настоящего на гвоздике (этой настойкой славилось кафе). Особенно большое впечатление на Уинстона произвела наружность Рутефорда. Когда-то он был знаменитым карикатуристом — в годы Революции и до неё его свирепые карикатуры помогали разжигать общественное мнение. Даже и теперь с большими перерывами они появлялись в Таймсе. Удивительно безжизненные и неубедительные, они были только подражанием его прежней манере, пережевыванием старых тем: трущобы, голодные дети, уличные бои, капиталисты в цилиндрах (словно и на баррикадах они боялись потерять цилиндры) — бесконечные, беспомощные старания уйти в прошлое. Внешность Рутефорда была уродлива: грива сальных седых волос, мешковатое лицо в морщинах, выпяченные губы. Когда-то он был чрезвычайно силен, теперь его большое тело обвисало, горбилось, пухло и расплзлось. Он, казалось, распадался на глазах, как разрушающаяся гора.

Было время дневного затишья — около пятнадцати часов. Уинстон не мог теперь припомнить, как он оказался в кафе в такое время. Комната была почти пуста. Тоненькой струйкой лилась из телескрина дребезжащая музыка. Трое почти неподвижно сидели в глубоком молчании в углу. Официант без напоминания принес новые стаканы джина. Возле столика на доске были расставлены шахматы, но игра не начиналась. Потом, быть может, лишь на полминуты, что-то случилось с телескрином. Мелодия изменилась и вместе с ней изменился весь характер музыки. В неё что-то ворвалось, трудно сказать, что именно. Раздалась какая-то необычайная, надтреснутая, глумливая нота, которую Уинстон мысленно тут же назвал трусливой. И кто-то запел:

Под развесистым каштаном  
Предали друг друга мы;  
Под развесистым каштаном  
Полегли — и мы и вы.

Трое не пошелохнулись. Но когда Уинстон бросил взгляд на обветшавшее лицо Рутефорда, он увидел, что глаза того полны слез. И в первый раз с каким-то внутренним содроганием, сам еще не сознавая, что заставляет его содрогаться, он заметил, что и у Ааронсона и у Рутефорда перебиты носы.

Вскоре после этого все трое снова были арестованы. Передавали, что они якобы приняли участие в новом заговоре сразу же после освобождения. На втором процессе они не только подтвердили все прежние преступления, но и признались в целом ряде новых. Их казнили, и смерть их, в написание потомству, была зафиксирована в книгах по истории Партии. Примерно через пять лет после этого, развертывая пачку документов, только что выброшенных пневматической трубой, Уинстон обнаружил среди них обрывок газеты, очевидно по ошибке сунутый туда и забытый. Он понял все его значение, как только развернул его. Это был десятилетней давности обрывок Таймса, верхняя половина страницы с датой и со снимком делегатов какого-то партийного съезда в Нью-Йорке. Прямо в центре группы бросались в глаза лица Джонсона, Ааронсона и Рутефорда. Ошибиться было невозможно — их имена значились в подписи под снимком.

Вся суть дела состояла в том, что на обоих процессах все трое признавались, будто как раз в это время они находились на территории Евразии. Они вылетели с тайного аэродрома в Канаде и где-то в Сибири встретились с работниками Генерального штаба Евразии, которым и выдали важные военные секреты. Число врезалось в память Уинстона потому, что это был Иванов день и, кроме того, вся эта история описывалась в бесчисленных официальных документах. Вывод следовал только один: признание было ложью.

Конечно, никаким открытием это не являлось. Даже и тогда Уинстон не мог себе представить, чтобы люди, ликвидированные во время чисток, действительно совершали преступления, в которых их обвиняли. Но здесь было конкретное доказательство: кусочек уничтоженного прошлого, вроде ископаемого, попавшего не в то напластование, где ему следовало быть и ниспровергающего геологическую теорию. Ведь этого достаточно, чтобы разнести Партию в пух и прах, если бы можно было этот факт опубликовать и указать на все его значение.

Он продолжал работу. Увидев фотографию и сообразив, что она значит, он тут же накрыл ее другим листом бумаги. К счастью, когда он ее развернул, она была обращена к телескрину обратной стороной.

Потом он положил блокнот на колени и отодвинулся со стулом как можно дальше от телескрина. Не трудно придавать лицу бесстрастное выражение, можно при известном усилии контролировать дыхание, но контролировать биение сердца невозможно. А телескрин настолько тонкий аппарат, что способен уловить даже его. Терзаемый страхом, что какой-нибудь внезапный случай, вроде порыва сквозняка, который может разнести бумаги со стола, выдаст его, он переждал минут десять. Потом, не разворачивая больше фотографии, сунул ее вместе с другим бумажным хламом в щель-напоминатель. В следующий миг она наверно превратилась в пепел.

Это было лет десять-одиннадцать тому назад. Теперь он, может быть, и сохранил бы фотографию. Странно: тот факт, что когда-то он держал ее в руках, казался ему значительным даже теперь, когда и фотография и событие на ней запечатленные стали воспоминанием. Его поразила мысль — а не слабеет ли власть Партии над прошлым оттого, что улика, которая больше не существует, все же в свое время существовала?

Но теперь, если бы, допустим, каким-то чудом и удалось восстановить из пепла фотографию, она едва ли могла

быть уликой. Даже когда он ее обнаружил, Океания уже не воевала больше с Евразией, так что те трое мертвецов, надо полагать, предали свою страну Истазии. Происходили и другие перемены, два или три раза, — он не помнил сколько. Вероятнее всего, признание переписывалось и переписывалось до тех пор, пока факты и даты не потеряли всякое значение. Прошлое не просто изменяется, а изменяется постоянно. Больше всего он мучился тем, что никогда не мог понять, для чего предпринимается весь этот гигантский обман. Непосредственная выгода подделки прошлого была ясна, но ее конечные цели представляли тайну.

Он снова взял перо и написал:

*Я понимаю КАК, но не понимаю ЗАЧЕМ.*

Как не раз бывало прежде, он задумался над тем, не сошел ли он с ума. Возможно, что сумасшествие — это просто особое мнение. Когда-то вера в то, что земля вращается вокруг солнца, была признаком сумасшествия; теперь этот признак — вера в неизменность прошлого. Не он ли один придерживается этой веры? А раз один — значит он сумасшедший. Но то, что он помешанный — не очень беспокоило его, страшно, если он ошибается.

Он взял учебник по истории и посмотрел на портрет Старшего Брата на фронтиспise. Гипнотические глаза пристально смотрели на него. Словно какая-то гигантская сила давила на вас; сжимая мозг, сокрушая вашу веру и убеждая, она проникала в сознание, чтобы лишить вас всех его доводов. В конце концов Партия заявит, что два и два — пять, и придется верить ей. Они неминуемо рано или поздно придут к этому, потому что вся их логика требует этого. Не только просто достоверность опыта, но и сама объективная действительность молчаливо отрицается их философией. Ересь из ересей почитается за здравый смысл. И страшно не то, что вас уничтожат за то, что вы думаете иначе, а то, что они могут оказаться правы. В конце концов, откуда известно, что два и два — четыре? Или что закон тяготения имеет силу? Или, что прошлое неизменно? Ведь если и прош-

лое и объективная реальность существуют лишь в сознании, а само сознание подчиняется контролю, то значит . . .

Не может быть! Внезапно его мужество как-то само собой окрепло. Лицо О'Брайена безо всяких ассоциаций вдруг возникло перед ним. Тверже, чем прежде, он мог сказать теперь, что О'Брайен на его стороне. Он пишет свой дневник О'Брайену и для О'Брайена. Это вроде бесконечного письма, которого никто никогда не прочитает; но оно адресовано определенному лицу и из этого факта обретает свой характер.

Партия требует, чтобы вы отрицали то, что слышат ваши уши и видят глаза. Это ее безоговорочный и самый существенный приказ. Ему стало страшно, когда он подумал о громадной силе врага: о легкости, с которой каждый партийный интеллигент победит его в споре, об искусных доводах, которых он не в силе понять, а тем более опровергнуть. И все-таки он прав! Они неправы, а он прав! Очевидность, простодушие и правду надо защищать. А правда — в избитых истинах, поэтому — держись их! Вселенная существует, ее законы неизменны. Камни тверды, вода жидка, предметы, как и прежде, падают к центру земли. С таким чувством, что он обращается к О'Брайену и излагает важную аксиому, он написал:

*Свобода есть свобода, как два и два — четыре. Если это принять, — все остальное следует.*

## VIII

Откуда-то снизу, из глубины подъезда, растекался по улице аромат жареного кофе, настоящего кофе, а не Кофе Победа. Уинстон невольно остановился. Секунды на две он перенесся назад, в полузабытый мир детства. Потом дверь захлопнулась, и аромат исчез, словно внезапно оборвавшийся звук.

Уинстон прошел по тротуарам несколько километров, и его верикозная язва ныла. Второй раз за три недели он про-

пускал вечер в Общественном Центре — опрометчивый шаг, потому что каждое посещение Центра, конечно, тщательно проверялось. В принципе, у члена Партии не было свободного времени и, за исключением часов сна, он никогда не оставался один. Предполагалось, что если он не занят работой, не ест и не спит — он участвует в коллективных развлечениях. Если же вы занимались чем-нибудь таким, что давно давало основание предполагать в вас склонность к одиночеству, даже если вы шли погулять один, вы всегда подвергали себя известной опасности. На Новоречи существовало для этого особое слово — своежизнь, означающее индивидуализм и эксцентричность.

Но сегодня вечером, когда он вышел из Министерства, благоухание апрельского воздуха околдовало его. За целый год он ни разу не видал такого нежно-голубого неба, и внезапно долгий шумный вечер в Общественном Центре с его скучными и утомительными играми, лекциями, с его пьяной дружбой, показался ему невыносимым. Под влиянием внезапного порыва он повернул с автобусной остановки в другую сторону и отправился странствовать по лабиринту лондонских улиц, сперва на юг, потом на восток, потом снова на север, затерявшись на незнакомых улицах и не заботясь о том, куда идет.

«Если и есть надежда, — писал он в дневнике, — то только на пролов». Эти слова мистической правды и вместе с тем явной несуразицы снова и снова приходили ему на ум. Он находился в каких-то безликих и сумрачных трущобах к юго-западу от того места, где когда-то была станция Сан Пакрас. Он шел по мощеной булыжником улице с маленькими двухэтажными домами, распахнутые двери которых, странно похожие на крысиные норы, выходили прямо на тротуары. Между булыжниками там и тут стояли грязные лужи. В темных дверных пролетах и возле них, а также в узеньких переулочках, ответвлявшихся в обе стороны, роилось удивительное количество народу — девушки с грубо накрашенными губами и в полном расцвете молодости, парни,

гонявшиеся за ними, расплывшиеся женщины с переваливающейся походкой, вид которых говорил о том, во что превратятся девушки лет через десять; были тут и старые, согнувшиеся в три погибели существа, волочащиеся на вывороченных ногах, и одетые в лохмотья босоногие дети, игравшие в лужах и разбегавшиеся врассыпную при сердитых криках матерей. Приблизительно четвертая часть окон в домах была разбита и заколочена досками. Большинство людей не обращало на Уинстона никакого внимания, но некоторые провожали его глазами с настороженным любопытством. Две женщины безобразного вида, скрестив кирпично-красные руки на фартуках, беседовали у подъезда. Подойдя к ним, Уинстон уловил обрывки разговора:

— Да-а . . . А я, значит, ей и говорю: все это хорошо, говорю, а только будь ты на моем месте — и ты бы так же сделала. Других, говорю, легко судить, когда над самой забота не висит.

— Вот то-то и оно, — соглашалась другая. — Других, знамо, легко судить. Вот то-то и оно . . .

Пронзительные голоса резко оборвались. С молчаливой враждебностью женщины разглядывали Уинстона, пока он проходил. Собственно, это была даже и не враждебность, а просто что-то вроде настороженности, мгновенной собранности, словно при приближении неведомого зверя. Синий партийный комбинезон не часто можно было видеть на таких улицах, как эта. И, конечно, неблагоразумно было появляться в здешних местах без определенного дела. Стоит натолкнуться на патруль — и вас могут задержать. «Разрешите ваши документы, товарищ. Что вы тут делаете? Это ваша обычная дорога домой?» И так далее и так далее. Хотя и нет правила, запрещающего ходить с работы домой другой дорогой, чем обычно, однако, если Полиция Мысли услышит об этом — этого достаточно, чтобы привлечь к себе ее внимание.

Внезапно всю улицу охватило смятение. Со всех сторон понеслись предостерегающие крики. Люди, словно кролики,

кинулись в подъезды. Недалеко от Уинстона молодая женщина выскочила из дома, схватила крошечного ребенка, игравшего в луже и, накрыв его передником, бросилась назад — и все это, как бы одним движением. В то же мгновение какой-то человек в черном, собранном в гармошку костюме, вынырнув из переулка, подбежал к Уинстону и, взволнованно указывая на небо, закричал:

— Пароход! Берегитесь, хозяин! Прячьте голову! Ложитесь скорее, ложитесь!

«Пароходами» пролы почему-то окрестили реактивные снаряды. Уинстон тотчас же упал на землю вниз лицом. Пролы почти никогда не ошибались в предостережениях такого рода. Они словно обладали каким-то инстинктом, позволявшим им предугадать появление реактивных снарядов, хотя последние, по общему мнению, и двигались со скоростью, превышавшей скорость звука. Уинстон охватил руками голову. Раздался грохот, от которого, казалось, вздыбилась мостовая; дождь легких предметов забарабанил по спине Уинстона. Поднявшись, он увидел, что весь засыпан осколками стекла из ближайшего окна.

Он двинулся дальше. Снаряд снес группу домов в двухстах метрах от него по той же улице. Черный плюмаж дыма повис в небе, а ниже под ним стояло облако известковой пыли, в котором темнела уже собиравшаяся вокруг руин толпа. Небольшой слой извести покрывал и тротуары впереди Уинстона, а посреди этого слоя он заметил ярко-красный прожилок. Подойдя ближе, он увидел, что это кисть человеческой руки. Оторванная в запястье, она была так обескровлена, что походила на гипсовый слепок. Он столкнул ее ногой в канаву и, чтобы избежать встречи с толпой, свернул в боковую улицу направо. Не больше, чем через три или четыре минуты он вышел из пределов пораженной снарядом площади, и жалкая роевая жизнь снова закипела вокруг него, словно ничего и не произошло. Было около двадцати часов и излюбленные пролами питейные заведения («пивнушки», как их называли пролы) кишели посетителями. Из гряз-

ных дверей, открывавшихся в обе стороны, вырывался наружу запах мочи, опилок и кислого пива. В углу, образованном выступающим фасадом дома, стояли трое мужчин; тот, что стоял посередине, держал в руке сложенную газету, которую двое других внимательно рассматривали из-за его плеча. Даже еще до того, как он приблизился настолько, чтобы различить выражение их лиц, Уинстон мог заметить напряжение в каждой линии их тела. Несомненно, они читали важные новости. Он был в нескольких шагах от них, как группа вдруг раскололась, и из нее выделились двое бешено спорящих мужчин. С минуту казалось, что они вот-вот схватятся драться.

— Будешь ты, чорт тебя возьми, слушать, что я говорю?! Говорят тебе, что уже больше четырнадцати месяцев не выигрывал ни один номер с семеркой на конце!

— Нет, выигрывал!

— Нет, не выигрывал! Придем домой, я покажу тебе все номера за два года. Я их все записываю, как часы. И говорю тебе: ни одного номера с семеркой на конце!

— А я говорю, что у того, который выиграл, была семерка. Я почти помню этот треклятый номер — он кончался на 407. Это было в феврале, на второй неделе февраля.

— Да иди ты к чорту с февралем. У меня они все записаны черным по белому. И ни одного номера . . .

— Да бросьте вы об этом! — сказал третий.

Разговор шел о лотерее. Отойдя метров тридцать, Уинстон обернулся. Они все еще продолжали страстно спорить. Лотерея с ее громадными еженедельными выигрышами была тем общественным событием, которому пролы уделяли серьезное внимание. Возможно, что для миллионов из них она была главным, если не единственным оправданием существования. Это пустое развлечение приносило им радость и успокоение и служило стимулом какой-то умственной жизни. Когда дело касалось лотереи, даже люди, едва умевшие читать и писать, оказывались способными на сложные вычисления и невероятное умственное вдохновение. Были це-

лые кланы людей, промышлявшие на жизнь продажей систем, предсказаний и амулетов счастья. Уинстон не имел никакого отношения к лотереям, которыми ведало Министерство Изобилия, но (как и всякий член Партии) знал, что выигрыши были в значительной мере воображаемыми. На самом деле выплачивались только небольшие суммы, а крупные выигрывались людьми, никогда в природе не существовавшими. При отсутствии какой бы то ни было настоящей связи между отдельными частями Океании это достигалось без труда.

И все же: если и была надежда, то лишь на пролов. И она была единственной опорой. Выраженная в словах она казалась обоснованной, но стоило взглянуть в лица встречавшихся на тротуаре людей, и эта надежда становилась только делом веры. Улица, на которую свернул Уинстон, вела вниз с холма. У него было такое ощущение, что когда-то раньше он уже бывал в этих местах и что где-то тут неподалеку проходит главная артерия этой части города. Навстречу доносился шум голосов. Улица круто повернула направо и закончилась лестницей, ведущей в глубокий переулок, где несколько лоточников торговали залежавшимися овощами. В этот момент Уинстон вспомнил, где он. Переулок выходил на главную улицу и за следующим поворотом, не больше, чем в пяти минутах ходьбы, была лавка старьевщика, где он купил тетрадь, служившую теперь дневником. А недалеко оттуда в писчебумажной лавочке он приобрел ручку и бутылку чернил.

Он задержался на минуту на верхней ступени лестницы. На другой стороне переулочка находилась маленькая грязная пивнушка, окна которой казались подернутыми инеем, а на самом деле попросту были покрыты пылью. Очень старый человек, весь скрюченный, но подвижной, с белыми усами, торчащими вперед как у креветки, толкнул дверь и вошел в пивную. Наблюдая за ним, Уинстон вдруг подумал, что этот старик, которому никак не менее восьмидесяти, был уже человеком средних лет, когда произошла Революция.

Таких, как он немного, и они — последнее звено, связующее нынешние времена с исчезнувшим миром капитализма. В самой Партии оставалось мало людей, мировоззрение которых сложилось до Революции. Старшее поколение было в большинстве уничтожено великими чистками пятидесятых и шестидесятых годов, а немногие оставшиеся в живых, давно запуганы до полной умственной капитуляции. Если и оставался еще кто-нибудь, способный правдиво описать условия жизни в начале века, то такого можно было найти только среди пролов. Внезапно ему вспомнился отрывок из книги, который он переписывал в дневник, и безумный порыв охватил его. Что если он зайдет в пивнушку, попробует познакомиться со стариком и расспросить его? Он скажет: «Расскажите, как вам жилось, когда вы были мальчиком. Какова была в то время жизнь — лучше, чем нынешняя, или хуже?»

Поспешно, чтобы не дать страху овладеть собою, он сбежал с лестницы и пересек узенькую улочку. Конечно, это было безумием. По обыкновению, никакого определенного правила, запрещающего вступать в беседы с пролами и заходить к ним в пивные, не существовало, но и то и другое было настолько необычным, что не могло пройти незамеченным. Если появится патруль, он попробует сослаться на приступ дурноты, но вряд ли ему поверят. Он толкнул дверь, и отвратительный сырнй запах прокисшего пива ударил ему в нос. Шум голосов упал наполовину, как только он вошел. Он чувствовал, что за его спиною все взоры устремлены на его синий комбинезон. Метание стрел, которым занимались посетители в противоположном конце комнаты, прекратилось, может быть, секунд на тридцать. Старик, следом за которым он пришел сюда, стоял у стойки и, видимо, о чем-то препирался с кабатчи́ком, — большим и крепким молодым человеком с крючковатым носом и огромными руками. Стоявшая вокруг кучка людей с кружками в руках наблюдала за сценой.

— Я же просил тебя, как человека, — говорил старик, вызываяще выпячивая грудь. — А ты говоришь, что во всем

твоём проклятом кабашишке нет ни одной пинтовой кружки.

— Да что еще за пинта, дьявол ее задави? — спрашивал кабатчик, упираясь пальцами в стойку и перегибаясь через неё.

— Полюбуйтесь на него! Называет себя кабатчиком и не знает что такое пинта! Ну, половина кварты, понимаешь? А в галлоне — четыре кварты. В другой раз придется, видно, учить тебя грамоте.

— Сроду не слыхивал, — коротко объявил кабатчик. — Литр и пол-литра — вот всё, что мы подаем. Кружки на полке перед тобою.

— Мне нужна пинта! — упрямо повторил старик. — Тебе ничего не стоит нацедить мне пинту. Когда я был молодой, мы и понятия не имели об этих чортовых литрах.

— Когда ты был молодой, мы все пешком под стол ходили, — ответил кабатчик, кидая взгляд в сторону остальных посетителей.

Раздался взрыв хохота, и неловкость, вызванная появлением Уинстона, казалось, исчезла. Лицо старика вспыхнуло под седой щетиной. Он двинулся прочь, что-то бормоча себе под нос и — натолкнулся на Уинстона. Уинстон мягко взял его за руку.

— Можно предложить вам выпить? — спросил он.

— Вы джентльмен, — ответил старик, снова выпячивая грудь. Он словно не замечал синего комбинезона Уинстона. — Пинту! — добавил он воинственно в сторону кабатчика. — Пинту горлодера!

Кабатчик быстро нацедил два полулитра темно-коричневого пива в толстые кружки, сполоснув их перед этим в ведре под стойкой. Пиво было единственным напитком, который можно было получить в пивных для пролов. Джин им не разрешался, хотя на практике они могли его достать легко. Метание стрел возобновилось, а люди у стойки заговорили о лотерейных билетах. О присутствии Уинстона в мгновение ока забыли. Под окном стоял необделанный сосновый стол, за которым можно было побеседовать со стариком, не

опасаясь того, что их подслушают. Все это было ужасно опасно, но, во всяком случае, как он убедился сразу же при входе в комнату, в ней не было телескрин.

— Мог бы дать и пинту, — проворчал старик, подсаживаясь к своей кружке. — Пол-литра мало. Пол-литра меня не устраивают. А целый литр чересчур много. От него мой мочевой пузырь начинает протекать. О цене я уж не говорю.

— Вам пришлось наверно видеть много перемен с того времени, когда вы были молодым? — попробовал закинуть удочку Уинстон.

Светло-голубые глаза старика переходили от доски, в которую метали стрелы, к стойке, от стойки — к дверям мужской уборной, словно он думал о том, что вот тут, в пивной, и должны были произойти перемены.

— Пиво было лучше, — произнес он наконец, — и дешевле. Когда я был молодой, пиво средней крепости, — мы звали его горлодером, — стоило четыре пенса за пинту. Это было до войны, конечно.

— До какой именно войны? — спросил Уинстон.

— До всяких войн, — неопределенно отозвался старик. Он опять выпрямил плечи и поднял свою кружку. — Ваше здоровье!

Резко выделявшийся на его тощей шее кадык с неожиданной быстротой задвигался вверх и вниз, и пиво исчезло. Уинстон направился к стойке и вернулся с двумя новыми полулитрами. Старик, должно быть, забыл о своем предубеждении против целого литра.

— Вы гораздо старше меня, — сказал Уинстон. — Вы были уже взрослым, когда я еще не появился на свет. И вы, наверное, помните, как жилось в старые дни, до Революции. Люди моего возраста фактически не имеют никакого представления о тех временах. Мы можем узнать о них только из книг. Но то, что говорится в книгах, быть может, и неправда. Мне хотелось бы услышать ваше мнение на этот счет. Книги по истории говорят, что жизнь до Революции ничем не походила на теперешнюю. Самый ужасный гнет,

бесправие и нищета, хуже которых ничего нельзя вообразить, царили в те времена. Здесь, в Лондоне, громадное количество людей всю жизнь, от рождения до смерти, питалось впроголодь. Половина населения ходила разутая. Люди работали двенадцать часов в сутки, бросали школу в девятилетнем возрасте, спали вдесятером в одной комнате. И в то же время существовала очень небольшая кучка людей, — всего несколько тысяч, — которых называли капиталистами и которые были богаты и могущественны. Они владели всем, чем только можно владеть. Они жили в громадных великолепных домах, имели по тридцать слуг, разъезжали в автомобилях и в каретах четвериком, пили шампанское, ходили в цилиндрах . . .

Старик вдруг оживился.

— Цилиндры! — сказал он. — Как странно, что вы вспомнили о них. Только вчера я тоже подумал о них. Сам не знаю, почему. Просто пришло в голову, что я уже давным давно не вижу цилиндров. Они пропали начисто. Последний раз я надевал цилиндр на похороны невестки. Это было . . . не могу сказать когда, . . . лет пятьдесят тому назад, должно быть. Конечно, как вы сами понимаете, я брал его на этот случай напрокат.

— Это не так важно, насчет цилиндров, — заметил терпеливо Уинстон. — Главное то, что эти капиталисты да еще небольшая группа их приживальщиков, вроде адвокатов и священников, были настоящими властителями мира. Всё, что существовало, — существовало для их выгоды. Вы, — то есть, простые люди, — были их рабами. Они могли делать с вами, что угодно. Могли отправить вас как скот, в Канаду. Могли, если хотели, спать с вашими дочерьми. Могли приказать выпороть вас особой штукой, которая называлась девятихвосткой. При встречах с ними вы должны были снимать шляпу. Каждый капиталист ходил в сопровождении толпы лакеев, которые . . .

Старик снова загорелся.

— Лакеи! — повторил он. — Как давно не слышал я это-

го слова. Лакеи! Оно уносит меня назад. Я припоминаю, как когда-то, — чорт знает когда, — я любил ходить по воскресеньям после обеда в Гайд Парк слушать молодчиков, которые выступали там с речами. Армия спасения, католики, евреи, индусы — всякая публика там собиралась. И был там один тип, — не помню теперь, как его звали, — но вот уж говорун так говорун! Ну и давал им жизни! «Лакеи! — говорил он. — Лакеи буржуазии! Прислужники правящего класса. Паразиты, — называл он их еще. — Гиены!» Так прямо и говорил — «гиены». Вы понимаете, конечно, что он имел в виду Рабочую партию.

У Уинстона было такое впечатление, что они говорят со стариком на разных языках.

— Что мне действительно хотелось бы знать, — сказал он, — так это следующее: чувствуете ли вы, что вы теперь свободнее, чем в те времена? Чувствуете ли вы себя более человеком? В прежние дни богачи, эта верхушка . . .

— Палата лордов, — вставил старик, вдруг вспомнив прошлое.

— Ну, пусть будет Палата лордов. Так вот я спрашиваю: эти люди могли обращаться с вами как с низшим существом потому только, что они были богаты, а вы бедны? Правда ли, например, что вы должны были называть их «сэр» и снимать шляпу при встрече?

— Да, — сказал старик, — им нравилось, когда вы касались шляпы, встречаясь с ними. Это указывало на то, что вы их уважаете. Я лично не соглашался с этим, но все-таки делал довольно часто. Можно сказать, что я должен был это делать.

— И эти люди и их слуги действительно имели привычку толкать вас с тротуара в канавы? Я только повторяю то, что читал в книгах по истории.

— Один из них как-то толкнул меня, — ответил старик. — Я помню это, будто всё произошло вчера. Это было вечером в день лодочных гонок. В такие вечера люди обычно здорово распоясывались. И вот на Шафтсбери авеню я

столкнулся с одним молодым парнем. Джентльмен с головы до пят: крахмальная рубашка, цилиндр, черное пальто. Он шел по тротуару вроде как покачиваясь, ну, мы и столкнулись с ним. «Почему ты не смотришь, куда лезешь?» — сказал он. А я ему: «Ты думаешь, что ты купил этот проклятый тротуар?» А он мне: «Я тебе отвинчу башку, если ты станешь грубить». А я ему: «Ты пьян, — говорю. — Я из тебя сделаю котлету в полминуты». И тут, верите ли, он схватил меня за грудки и дал мне такого, что я чуть не угодил под колеса автобуса. Ну, я тогда был помоложе и собирался было смазать его только разок, как вдруг . . .

Чувство беспомощности овладело Уинстоном. Память старика представляла из себя просто грудку всяких вздорных подробностей. Можно было спрашивать его целый день и не добиться ничего. Но история, созданная Партией, могла быть до какой-то меры правдой, могла даже оказаться полной правдой. Он сделал последнюю попытку.

— Возможно, что я не совсем ясно выразился, — сказал он. — Мне хотелось сказать следующее: вы много прожили на свете и половина вашей жизни протекла до Революции. В 1925-ом году, например, вы были уже взрослым. Так вот, не можете ли вы сказать, поскольку вы, конечно, это помните, — тогда, в 1925-ом году, людям жилось хуже или лучше, чем теперь? Если бы можно было выбирать, что бы вы предпочли — те времена или теперешние?

Старик задумчиво смотрел на доску, в которую метали стрелы. Медленнее, чем прежде, он допил свое пиво. Когда он опять заговорил, тон его был каким-то снисходительно-философским, словно он размяк от пива.

— Я знаю, что вы ожидаете услышать от меня, — начал он. — Вы думаете, я скажу, что мне хотелось бы опять стать молодым. Большинство людей говорят, что хотели бы помолодеть, когда их спросишь об этом. В молодости вы здоровы и сильны. А когда доживешь до моих лет, вечно чувствуешь себя неважно. Я мучусь ночами, а с мочевым пузырем и совсем плохо. Шесть и семь раз за ночь он поды-

мает меня с постели. Но, с другой стороны, старость имеет и свои громадные преимущества. Куда меньше беспокойства! Ничего общего с женщинами, — а это великая вещь. Верите ли, у меня не было женщины уже чуть не тридцать лет. Больше того — не было даже и желания . . .

Уинстон откинулся на стуле к подоконнику. Продолжать было бесполезно. Он собрался было купить еще пива, как вдруг старик поднялся и быстро зашаркал к вонючему писсуару в другой конец комнаты. Лишние пол-литра уже подействовали на него. Уинстон посидел минуту или две, глядя в пустой стакан, и сам не заметил, как ноги снова вынесли его на улицу. Спустя двадцать лет самое большее, — размышлял он, — великий и простой вопрос: «была жизнь до Революции лучше или хуже, чем теперь?» — станет окончательно неразрешимым. Собственно даже и теперь на него невозможно получить ответа, потому что немногие уцелевшие люди старого мира не в состоянии сравнить один век с другим. Они помнят миллион бесполезных вещей — ссору с сослуживцем, поиски потерянного велосипедного насоса, выражение лица давно умершей сестры, воронки пыли ветряным утром семьдесят лет тому назад, — но все существенные факты остаются вне поля их зрения. Они — как дети, которые за деревьями не могли увидеть леса. А когда память изменяет, а письменные источники подделываются, — когда это происходит, — приходится соглашаться с претензиями Партии на то, что она улучшила условия жизни, ибо более не существует и никогда вновь не появится никакой нормы, с которой можно было бы сравнить эти условия.

В этот миг ход его мысли резко оборвался. Он остановился и посмотрел вокруг. Он находился на узенькой улочке, где несколько темных маленьких лавчонок перемежались с жилыми домами. Прямо над его головой висели три облезлых металлических шара, которые когда-то, видимо, были позолочены. Ему казалось, что он знает это место. Ну, конечно! Он стоял возле лавки старьевщика, где купил дневник.

Приступ страха на мгновение обуял его. Покупка тетради сама по себе была достаточно опрометчивым шагом, и он клялся никогда больше не приближаться к этому месту. Но стоило ему дать волю своим мыслям, и ноги сами привели его сюда. Это как раз и было одним из тех самоубийственных импульсов, от которых он надеялся оградить себя, начиная дневник. Но тут же он заметил, что хотя было уже около двадцати одного часа, лавочка еще не закрывалась. Чувствуя, что он навлечет меньше подозрений, находясь внутри, чем болтаясь около лавки на тротуаре, он ступил в подъезд. Если его спросят, он достаточно правдоподобно может ответить, что ищет лезвия для бритв.

Хозяин как раз только зажег висячую керосиновую лампу, издававшую чадный, но какой-то уютный запах. Это был человек лет шестидесяти, хилый и сутуловатый, с длинным носом и с добрыми глазами, которые были искажены толстыми очками. У него была почти совсем седая голова, но густые брови сохраняли черный цвет. Очки, мягкие хлопотливые движения и то, что одет он был в поношенный пиджак из черного бархата — все это создавало вокруг него атмосферу какой-то смутной интеллигентности, словно он был кем-то вроде писателя или музыканта. У него был тихий, как бы увядший голос и несколько лучшее произношение, чем у большинства пролов.

— Я узнал вас еще на тротуаре, — тотчас же сказал он. — Вы тот джентльмен, что купил альбом молодой дамы. Сколько прекрасной бумаги, сколько бумаги! Раньше она называлась верже. Такой бумаги нет... о, я полагаю, уже лет пятьдесят. — Он, прищурившись, взглянул на Уинстона поверх очков. — Могу я чем-нибудь служить вам? Или вы хотите просто посмотреть?

— Я проходил мимо, — неопределенно заметил Уинстон, — и заглянул. Мне не нужно ничего особенного.

— Это и хорошо, — сказал хозяин, — потому что вряд ли вы найдете что-нибудь по вкусу. — Он, словно в оправдание, повел кругом мягкой рукой. — Вы сами видите: можно

сказать, пустая лавочка. Между нами говоря, со старинной уже почти покончено. И спросу нет да и на складе ее не имеется. Мебель, посуда, стекло — все постепенно бьется. А металлические вещи идут, конечно, в переливку. Уже много лет я не видел бронзовых подсвечников.

Но на самом деле в крохотном помещении лавчонки негде было повернуться, хотя ничего мало-мальски стоящего в ней и не было. На полу, заставленном по всем стенам бесчисленными запыленными рамами для картин, почти не оставалось места. На окне лежали на подносах гайки и болты, старые стамееки, перочинные ножи со сломанными лезвиями, потускневшие часы, которые даже не претендовали на точность хода, и разный другой хлам. И только куча всякой всячины, вроде лакированных табакерок и агатовых брошек, лежавших на столике в углу, производила такое впечатление, что среди этих вещей может оказаться что-нибудь интересное. Когда Уинстон подошел к этому столику, его взгляд был привлечен круглой гладкой вещью, мягко поблескивавшей в свете лампы. Он взял ее в руки.

Это был большой кусок стекла, округлый с одной стороны и плоский с другой, образующий почти полушарие. Была какая-то своеобразная мягкость, как у дождевой воды, и в цвете и в самом строении стекла. В его сердцевине, увеличенный овальной поверхностью, находился странный розовый спиральный предмет, напоминавший розу или морскую анемону.

— Что это такое? — спросил Уинстон зачарованно.

— Это коралл, — сказал старик. — Его привезли скорей всего с Индийского океана. Их обычно вставляли в стекло. Он сделан не меньше, чем сто лет назад. Даже больше, судя по виду.

— Красивая вещь, — сказал Уинстон.

— Красивая, — подтвердил хозяин понимающе. — Но много ли теперь людей, которые согласятся с этим? — Он закашлялся. — Теперь, если вы пожелаете приобрести его, он обойдется вам в четыре доллара. А я помню время, когда за

такую вещь можно было получить восемь фунтов, а восемь фунтов это были . . . не могу сообразить, но это были большие деньги. Но кто в наши дни интересуется настоящей стариной, даже тем немногим, что еще сохранилось?

Уинстон тут же заплатил четыре доллара и опустил заветную вещь в карман. Его привлекала не столько ее красота, сколько то, что от нее веяло духом совсем иного времени. Такого стекла, отливавшего мягкостью дождевой воды, он никогда не видел. Оно было вдвойне прекрасно благодаря явной бесполезности, хотя и можно было догадаться, что когда-то оно служило пресс-папье. Стекло оттягивало карман, но, к счастью, не особенно в нем выделялось. Необычайная, даже компрометирующая для члена Партии вещь! Все старинное, а, значит, и прекрасное, всегда вызывало смутные подозрения. Старик заметно повеселел, получив четыре доллара. Уинстон понял, что он удовлетворился бы тремя или даже двумя.

— Не хотите ли посмотреть еще одну комнату наверху? — сказал он. — Там немного, всего несколько вещей. Я зажгу лампу, если мы пойдем.

Он засветил другую лампу и, согнув спину, пошел вперед показывать дорогу, медленно ступая по крутой, выбитой лестнице. Миновав крохотный проход, они оказались в комнате, выходившей окнами не на улицу, а на мощный булыжником двор и на крыши с целым лесом дымовых труб. Уинстон обратил внимание на то, что мебель в ней была расставлена так, словно комната еще предназначалась для жилья. На полу лежала дорожка, на стенах висели две-три картины и глубокое, не очень опрятное кресло было подвинуто к камину. Старомодные часы с двенадцатичасовым циферблатом тикали на камине. У окна, занимая почти четверть комнаты, стояла громадная кровать, на которой еще лежал матрац.

— Мы жили здесь с женой до самой ее смерти, — заметил старик, словно в чем-то оправдываясь. — Я мало-помалу распродаю мебель. Теперь очередь вот за этой прекрасной кро-

вацию красного дерева. Впрочем, она была бы прекрасной, если бы удалось выжить из нее клопов. Но я опасаясь, что она покажется вам слишком громоздкой.

Он держал лампу высоко над головой, чтобы осветить всю комнату, и в ее теплом, тусклом свете помещение выглядело странно-привлекательным. В голове Уинстона мелькнула мысль о том, что, пожалуй, было бы нетрудно снять эту комнату за несколько долларов в неделю, если бы он только мог решиться на подобный риск. Это была дикая, невозможная идея, которую он должен был тут же отбросить; но комната пробудила в нем нечто вроде ностальгии, вроде родовой памяти. Ему казалось, что он точно знает, как человек чувствовал себя, сидя в такой комнате в глубоком кресле перед пылающим камином, протянув ноги к решетке, — совершенно один, совершенно нетревожимый боязнью, когда никто за ним не следил, никто не преследовал и когда не раздавалось ни единого звука, кроме пения чайника, висевшего на крюке, и приветливого тиканья настенных часов.

— Я не вижу телескрин, — не мог он не прошептать.

— О, — сказал старик, — у меня никогда не было этих штук. Слишком дорого. Да я никогда как-то и не чувствовал нужды в них. А теперь не хотите ли взглянуть на тот столик с откидной доской, что стоит в углу? Однако, вам пришлось бы сменить петли, если бы вы захотели пользоваться доской.

В другом углу стоял маленький книжный шкаф, и Уинстон уже было направился к нему. Но в нем не оказалось ничего, кроме хлама. Охота за книгами и их уничтожение велись в пролетарских кварталах с таким же усердием, как и всюду. Во всей Океании вряд ли имелся хоть один экземпляр книги, изданной до 1960-го года. Старик, все еще державший лампу в руке, стоял перед картиной в раме палисандрового дерева, висевшей по другую сторону камина против кровати.

— Если вы случайно интересуетесь старыми гравюрами, — начал он деликатно, — то вот . . .

Уинстон подошел посмотреть картину. Это была графюра на стали, изображавшая овальной формы здание с прямоугольными окнами и с небольшой башенкой впереди. Оно было окружено балюстрадой, а на заднем плане виднелось что-то похожее на статую. Уинстон несколько минут внимательно глядел на здание. Оно казалось ему смутно-знакомым, но статуи он не помнил.

— Рама прикреплена к стене, — сказал старик, — но я мог бы отвинтить ее, если вам угодно.

— Я знаю это здание, — произнес Уинстон наконец. — Оно теперь разрушено. Оно стоит посередине улицы против Дворца Правосудия.

— Совершенно верно. Против суда. Его разбомбили... ммм... уже много лет назад. Когда-то оно было церковью. Церковь Святого Климента Датчанина — вот как она называлась. — Он снова улыбнулся, словно извиняясь, что сказал что-то слегка смешное и добавил: — «Кольца-ленты, кольца-ленты, — зазвенели у Климента».

— Что такое? — спросил Уинстон.

— О! «Кольца-ленты, кольца-ленты, — зазвенели у Климента». Это у нас в детстве был такой стишок. Я уже забыл, как там дальше, но конец помню — «Свечка осветит постель, куда лечь. Сечка ссечет тебе голову с плеч». Это было что-то вроде танца. Играющие брались за руки и поднимали их, а вы бежали в этих воротцах и когда доходили до слов «сечка ссечет тебе голову с плеч» — все опускали руки и старались поймать вас. Эта песенка была просто перечислением церквей. В ней упоминались все лондонские церкви, то есть, главные из них, конечно.

Уинстон старался угадать, какому веку принадлежит церковь. Определить возраст лондонских зданий всегда было трудно. Все большое и внушительное, если только у него был достаточно новый вид, автоматически считалось воздвигнутым после Революции. Все же то, что несомненно выглядело старше, приписывалось смутной эпохе, имевшей

название Средних веков. О веках капитализма положительно утверждалось, что они не создали никаких ценностей. Изучение истории по памятникам архитектуры давало ничуть не больше, чем изучение её по книгам. Статуи, надписи, мемориальные доски, названия улиц, — все, что могло пролить свет на прошлое, подвергалось систематическому изменению.

— А я и не знал, что это была церковь, — сказал Уинстон.

— Их осталось еще довольно много, — ответил старик, — хотя они и используются для других целей. Ну, как же там дальше было в этой песенке? Ага, я припоминаю теперь!

Кольца-ленты, кольца-ленты, — зазвенели у Климента, Фартинг меньше, чем полтина, — загудели у Мартина.

— А где была церковь Святого Мартина?

— Святого Мартина? Она еще стоит. Это на Площади Победа рядом с картинной галереей. Здание с портиком в виде треугольника, с колоннами по фасаду и с высокой лестницей.

Уинстон хорошо знал здание, о котором говорил старик. Это был музей наглядной пропаганды, с моделями реактивных снарядов и Плавающих Крепостей в масштабе, с восковыми фигурами и панорамами, изображавшими зверства врага, и тому подобным.

— Ее обычно называли Святым Мартином на-Полях, — пояснил старик, — хотя никаких полей в той части города я не упомяну.

Уинстон не купил картины. Это было бы еще более нелепым приобретением, чем стеклянное пресс-папье и к тому же картину никак нельзя было принести домой, не вынув из рамы. Но Уинстон постоял перед ней еще несколько минут, разговаривая со стариком, имя которого оказалось не Уик, как можно было заключить из надписи над фасадом лавочки, а Чаррингтон. Господин Чаррингтон был вдовцом шестидесяти трех лет, из которых тридцать прожил в этой

лавочке. Все эти годы он намеревался сменить надпись над окном, но так и не собрался сделать этого. И пока они беседовали, в ушах Уинстона непрерывно звучали запомнившиеся наполовину слова песенки — «Кольца-ленты, кольца-ленты, — зазвенели у Климента, Фартинг меньше, чем полтина, — загудели у Мартина». Странная вещь: когда вы повторяете это про себя, создавалось впечатление, что вы и в самом деле слышите звон колоколов — колоколов исчезнувшего Лондона, который все еще где-то существовал, замаскированный и позабытый. Казалось, что до Уинстона то с одной призрачной колокольни, то с другой доносился их перезвон. Насколько он припоминал, он никогда не слышал настоящего колокольного звона.

Уходя от Чаррингтона, он постарался сделать так, чтобы старик не провожал его и не заметил, с какими предосторожностями он будет выходить на улицу. Он уже решил, что через некоторое время, скажем — через месяц, снова рискнет зайти сюда. Это, может быть, даже и не опаснее, чем уклониться от посещения Общественного Центра. Самой большой глупостью было, прежде всего, то, что он пришел сюда после покупки дневника и не зная, можно ли доверять хозяину. Но тем не менее . . .

Тем не менее, — думал он, — он вернется сюда. Вернется и купит еще какую-нибудь безделицу. Купит гравюру Святого Климента Датчанина, вынет из рамы и потихоньку принесет домой под комбинезоном. Он постарается вытянуть из Чаррингтона остальную часть стихотворения: Даже сумасшедшая мысль о найме комнаты наверху снова промелькнула в уме. Подъем духа секунд на пять заставил его забыть об осторожности, и он вышел на тротуар, не посмотрев в окно. Импровизируя мелодию, он начал даже потихоньку мурлыкать:

Кольца-ленты, кольца-ленты, — зазвенели у Климента, Фартинг меньше, чем полтина, — загудели у Мартина.

И вдруг — словно его швырнули в ледяную воду. Не

дальше, чем в десяти метрах от него двигалась фигура в синем комбинезоне. Девушка из Отдела Беллетристики, та самая — черноволосая! День уже угасал, но узнать ее было нетрудно. Она посмотрела прямо в лицо ему, а потом быстро прошла мимо, делая вид, что не заметила его.

Некоторое время Уинстон не мог пошелохнуться. Потом свернул направо и тяжело зашагал прочь, не замечая, что идет не туда. Так или иначе, один вопрос решен. Больше нельзя сомневаться, что девушка шпионит за ним. Скорее всего, она пришла сюда следом за ним; трудно поверить, что она случайно оказалась в тот же самый вечер на той же самой захолустной улице в нескольких километрах от ближайшего квартала, где живут члены Партии. Очень уж необычайное совпадение. И совсем неважно — агентка или Полиции Мысли или добровольная шпионка, желающая выслужиться. Важно, что она следит за ним. Быть может, она видела его и в тот момент, когда он входил в пивную.

Итти было трудно. Кусок стекла в кармане бил по бедру при каждом шаге, и он уже собрался выбросить его. Особенно мучили рези в животе. Одно время ему казалось, что он умрет, если сейчас же не доберется до уборной. Но в таких кварталах, как этот, общественных уборных не было. Затем спазмы прошли, оставив тупую боль.

Улица, по которой он шел, оказалась тупиком. Уинстон остановился на несколько секунд, смутно раздумывая над тем, что делать, потом повернул кругом и пошел обратно той же дорогой. Но тут он вспомнил, что девушка прошла мимо всего три минуты назад, и если сейчас побежать, можно настичь ее. Настичь и где-нибудь в безлюдном месте проломить ей череп булыжником. Тяжелый кусок стекла, лежащий у него в кармане, как раз подойдет для этой цели. Но он тут же оставил этот замысел, потому что даже мысль о малейшем физическом усилии была невыносима. Он не в силах бежать, он не в силах нанести удар. Кроме того, она молода, сильна и будет защищаться. Потом он подумал, не поспешить ли ему в Общественный Центр и не остаться ли

там до закрытия, чтобы заручиться хоть некоторым алиби. Но и это было невозможно. Смертельная усталость овладела им. Хотелось только одного — добраться поскорей до дома, сесть и отдохнуть.

Он вернулся в квартиру в двадцать третьем часу. Свет обычно гасился в двадцать три тридцать. Он прошел в кухню и залпом выпил почти полную чашку Джина Победа. Потом сел к столу в нише и вынул из ящика дневник. Но открыл его не сразу. Телескрин передавал надрывное дребезжащее пение какой-то девицы, исполнявшей патриотическую песню. Уинстон сидел, уставившись на тетрадь в мраморной обложке и тщетно стараясь выключить из сознания металлический голос.

Они приходят ночью, всегда ночью. Самое правильное — покончить с собой до того, как вас схватят. Несомненно, некоторые так и поступали. Многие из исчезнувших на самом деле покончили с собой. Но надо обладать мужеством отчаяния, чтобы убить себя в таких условиях, когда совершенно невозможно достать ни огнестрельного оружия, ни верных, быстро действующих ядов. С некоторым недоумением он подумал о биологической бесполезности боли и страха и о вероломстве человеческого организма, который замирает в инерции в тот самый момент, когда необходимо особое усилие. Он мог бы заставить замолчать эту черноволосую, если бы действовал быстро, но именно в минуту крайней опасности он и потерял способность действовать. Его поразила мысль, что в критический момент никто никогда не борется с внешним врагом, а лишь с самим собою. Даже сейчас, несмотря на джин, тупая боль в желудке мешала ему думать последовательно. И так всегда, — размышлял он, — во всех обстоятельствах, кажущихся героическими или трагическими. На поле битвы, в камере пыток, на тонущем корабле — всюду забывается то, за что вы боретесь, потому что всю вселенную закрывает собою необычайно разрастающееся в такую минуту тело; и даже когда вы не парализованы страхом и не вопите от боли, жизнь

есть постоянная борьба с голодом, холодом, с недосыпанием, с изжогой или зубной болью.

Он открыл дневник. Необходимо было записать нечто важное. Девица запела другую песню. Голос ее, казалось, вонзался в мозг, как зазубренный осколок стекла. Он старался думать об О'Брайене, кому и для кого он писал дневник, но вместо этого стал думать о том, что с ним произойдет, когда Полиция Мысли схватит его. Страшно не то, что вас убьют — этого вы ждете. Но, прежде чем вы умрете (никто не говорит о таких вещах, но все знают), вы должны пройти обычные допросы, а допрос — это пресмыкание у ног и вопли о пощаде, треск сломанных костей, выбитые зубы и окровавленные клочья волос. Для чего все эти муки, если конец заранее известен? Почему нельзя вычеркнуть из вашей жизни несколько дней или недель? Никому еще не удалось остаться неразоблаченным, и все сознавались. Раз уж вы не удержались от преступления мысли, вы обречены на смерть. Зачем же тогда весь этот ужас, который ничего не изменяя, будет жить веками?

Несколько успешнее, чем прежде он снова постарался вызвать образ О'Брайена. «Мы встретимся в царстве света», — говорил ему О'Брайен. Он понимает значение этих слов, или надеется, что понимает. Царство света — это будущее. Будущее, которого никто не увидит, но где каждый таинственным предвидением обретает свое место. Голос, надоедливо визжавший из телескрина, мешал думать дальше. Он взял сигарету. Половина табаку сейчас же высыпалась на язык — горькая пыль, которую не удавалось выплюнуть. На смену О'Брайену всплыло лицо Старшего Брата. Как несколько дней тому назад, он вытащил из кармана монету и посмотрел на нее. Перед ним было спокойное, сильное, покровительственное лицо, но что за усмешка таилась под черными усами! И, как тяжелый похоронный звон, он снова услышал:

ВОЙНА — ЭТО МИР  
СВОБОДА — ЭТО РАБСТВО  
НЕВЕЖЕСТВО — ЭТО СИЛА

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### I

Часов в десять утра Уинстон вышел из своей кабинки, направляясь в уборную.

Из другого конца длинного, ярко освещенного коридора двигалась навстречу ему одинокая фигура. Это была брюнетка из Отдела Беллетристики. Четыре дня прошло с тех пор, как он повстречался с ней у лавки старьевщика. Когда она подошла ближе, он увидел, что одна рука у нее подвязана. Повязка была одного цвета с комбинезоном и не видна издали. Должно быть девушка повредила руку, крутя один из больших калейдоскопов, на которых «набрасывались» сюжеты романов. Такие происшествия были обычным делом в Отделе Беллетристики.

Их разделяло метра четыре, не больше, как вдруг девушка споткнулась и почти навзничь повалилась на пол. У нее вырвался резкий крик боли. Несомненно, она упала прямо на больную руку. Уинстон на миг остановился. Девушка поднялась на колени. Ее лицо стало изжелта-белым, отчего рот казался еще более алым, чем всегда. Она умоляюще смотрела на Уинстона, и в выражении ее глаз было, пожалуй, больше страха, чем боли.

Странные, разнородные чувства прихлынули к сердцу Уинстона. Перед ним был враг, стремившийся погубить его; но перед ним было и человеческое существо, страдавшее от боли, быть может, от мучительной боли перелома. И он уже инстинктивно кинулся ей на помощь. В тот миг, когда он увидел, что она упала на забинтованную руку, он словно ощутил боль в собственном теле.

— Вы повредили что-нибудь?

— Ничего . . . Рука . . . Сейчас это пройдет.

Она говорила прерывающимся от волнения голосом. И в самом деле, она была очень бледна.

— Ничего не сломали?

— Ничего. Было немножко больно . . . Сейчас лучше.

Она протянула ему здоровую руку, и он помог ей подняться. Ее лицо снова порозовело и, по-видимому, она чувствовала себя много лучше.

— Ничего, — повторила она коротко. — Я только слегка ушибла руку. Спасибо, товарищ.

— С этими словами она быстро направилась дальше своим путем, как будто, в самом деле, ничего не случилось. Весь инцидент продолжался не больше полминуты. Умение сдерживать свои чувства и не позволять им отражаться на лице давно стало привычкой, если не инстинктом. Кроме того, в момент происшествия они находились прямо перед телескрином. И все же было очень трудно ничем не выдать изумления, охватившего его на две-три секунды, когда, помогая девушке подняться, он вдруг ощутил, что она что-то сует ему в руку. Несомненно, она делала это намеренно. Это был какой-то маленький плоский предмет. Входя в уборную, Уинстон сунул его в карман и ощупал. Предмет оказался свернутым в квадрат кусочком бумаги.

Стоя перед писсуаром, Уинстон кое-как ухитрился развернуть его в кармане. Несомненно, это было какое-то послание. На миг им овладел соблазн — зайти в один из клозетов и тут же прочитать письмо. Но он хорошо знал, что это было бы невероятной глупостью. Ни об одном другом месте нельзя было сказать с большей уверенностью, что оно находится под постоянным наблюдением телескринна, чем о клозете.

Он вернулся в кабинку, сел, ловко сунул записку в грудку бумаг, лежавших на столе, надел очки и придвинул диктограф. «Пять минут, — твердил он про себя, — по крайней мере пять минут». Ужасно громко колотилось сердце. К

счастью, работа, которой он занимался, — подделка длинной колонки цифр, — не представляла ничего особенного и не требовала большого внимания.

Конечно, записка имела какое-то политическое значение. Пока он предвидел только две возможности. Первая, и самая вероятная, та, что девушка, как он и опасался, — агентка Полиции Мысли. Он не знал, почему Полиция Мысли избрала такой способ, чтобы передать ему свое распоряжение, но, очевидно, у нее были на то свои соображения. Записка могла содержать угрозу, вызов, приказ покончить с собой, а может быть, и какую-то ловушку. Но возникала и другая дикая догадка, которую он тщетно гнал от себя. Что, если послание исходило не от Полиции Мысли, а от какой-нибудь подпольной организации? Что, если Братство в самом деле существует, и девушка принадлежит к нему? Мысль — абсурдная, но именно она первой пришла ему в голову, когда он ощутил в руке бумажку. Только позднее, через несколько минут, явилось другое, более правдоподобное объяснение. Однако даже и теперь, уже сознавая, что записка может означать для него смерть, он все еще не верил этому и, хотя безосновательно, но упорно на что-то надеялся. Сердце билось, и он с трудом сдерживал дрожание голоса, бормоча свои цифры в диктограф.

Он свернул и сунул в пневматическую трубу готовую пачку бумаг. Прошло уже восемь минут. Он поправил на носу очки, перевел дыхание и потянул к себе новую кипу бумаг, на которой сверху лежала записка. Он развернул ее. Крупным, детским почерком там было написано:

Я люблю вас.

Он был так ошеломлен, что не сразу догадался выбросить компрометирующий документ в щель-напоминатель. И, прежде чем сделать это, не удержался и перечитал письмом, желая убедиться, что не ошибся, хотя и знал, как опасно проявлять слишком большой интерес к бумагам.

Всю остальную часть утра работать было очень трудно. Трудно было сосредоточиться на пустой работе и еще труд-

нее скрыть свое волнение от телескрин. Он весь словно горел в огне. Обед в душном, переполненном людьми и шумном буфете был просто мученьем. Он рассчитывал хоть немножко посидеть один во время обеденного перерыва, но, как назло, слабоумный Парсонс плюхнулся рядом и принялся без умолку говорить о подготовке к Неделе Ненависти. От него так разлило потом, что металлический запах гуляша почти не чувствовался. С особенным энтузиазмом Парсонс рассказывал о том, как отряд Юных Шпионов, к которому принадлежала его дочка, готовит к Неделе Ненависти двухметровый макет головы Старшего Брата из папье-маше. Уинстона больше всего раздражало, что за гулом голосов он почти не слышал глупых разглагольствований Парсонса и должен был все время переспрашивать. Только один раз мельком он увидел девушку, сидевшую с двумя другими в дальнем конце комнаты. Казалось, что она не замечает его, и он больше не смотрел в ее сторону.

После полудня стало легче. Как только он вернулся с обеда, к нему поступила трудная и тонкая работа, которой нужно было посвятить несколько часов, отложив все остальное. Нужно было так подделать несколько сообщений (двухлетней давности) о производстве товаров, чтобы набросить тень на видного члена Внутренней Партии, находившегося теперь в немилости. В таких вещах Уинстон был силен, и часа на два ему удалось совершенно изгнать образ девушки из головы. Потом этот образ венулся, и вернулось неистовое, нестерпимое желание остаться одному. Пока он не останется один, нельзя обдумать до конца создавшуюся ситуацию. Вечером надо было идти в Общественный Центр — сегодня был его клубный день. С жадностью волка он проглотил безвкусный ужин в буфете, помчался в Центр, посидел на торжественно-глупом заседании «дискуссионной группы», сыграл две партии в пинг-понг, выпил несколько стаканов джина и с полчаса провел на лекции на тему «Анг-соц и игра в шахматы». Он изнывал от скуки, но не испытывал на этот раз желания удрать с вечера. Слова «я люблю

вас» пробудили в нем желание жить, оставаться в живых, и малейший риск внезапно стал казаться глупостью. Лишь около двадцати трех часов он очутился дома, в постели, в темноте, неуловимый — пока он молчал — даже для телеэкрана, и мог подумать обо всем как следует.

Вопрос о том, как снестись с девушкой и назначить свидание, наталкивался на чисто технические трудности. Он не думал больше, что она готовит какую-то ловушку. Он знал, что это не так — видел по тому, как она волновалась, передавая записку. Ясно, что она сама была в ужасе от своей выдумки — и не без основания, конечно. Ни минуты он не думал и о том, чтобы отклонить ее предложение. Всего пять ночей тому назад он собирался размозжить ей голову булыжником. Но теперь и это не имело значения. Ее молодое обнаженное тело, каким он видел его во сне, стояло перед ним. Как и все женщины, она представлялась ему глупой, начиненной ложью и ненавистью, с чревом, набитым льдом. Но при мысли о том, что он может потерять ее, что ее белое молодое тело ускользнет, его охватывала лихорадка. Больше всего он опасался, что она может просто передумать, если он не сумеет достаточно быстро найти путь к ней. А это так невероятно трудно! Так же трудно, как сделать шахматный ход, когда вы уже заматованы. Куда ни повернись — везде телескрины. В сущности, все возможные способы встречи с нею промелькнули у него в сознании в те пять минут, пока он читал и перечитывал ее письмо; теперь он снова, не спеша, перебирал их один за другим, словно раскладывал в ряд инструменты на столе.

Совершенно очевидно, что встреча, подобная сегодняшней, не может повториться. Встретиться, пожалуй, было бы нетрудно, если бы девушка работала в Отделе Документации, но он едва представлял, где находится Отдел Беллетристики, и у него не было никакого повода пойти туда. Или, если бы он знал, где она живет и когда кончает работу, он, возможно, мог бы подстеречь ее где-нибудь на дороге; но стараться просто выследить ее при выходе из здания опасно.

Это значит слоняться без дела возле Министерства, что не может пройти незамеченным. О письме он даже не думал: ни для кого не секрет, что все письма вскрываются. Лишь очень немногие пользуются услугами почты. При этом приходится прибегать к открыткам с большим количеством готовых фраз, из которых нужно только вычеркнуть неподходящие. Кроме того, он не знал ни имени девушки, ни адреса. В конце концов, он решил, что самое безопасное место для встречи — буфет. Если он сумеет поймать ее за столом одну где-нибудь посередине комнаты, подальше от телескрин и если в помещении в этот момент будет достаточно шумно, — если все это продлится, скажем, секунд тридцать, — можно будет перекинуться несколькими словами.

Всю следующую неделю жизнь была, как неустанная мечта. На другой день она пришла в буфет после свистка, когда Уинстон уже уходил: видимо, ее перевели в более позднюю смену. Встретившись на ходу, они даже не поглядели друг на друга. Днем позже она была в буфете в обычное время, но в компании трех других девиц, и сидели они прямо под телескрином. Затем, в течение трех ужасных дней, она совсем не появлялась. Его душа и тело изнывали от нестерпимой чувствительности, прозрачности чувств, превращавшей всякое движение, всякий звук, всякое прикосновение и всякое слово, которое он слышал или произносил, в страдание. Даже во сне ее образ не оставлял его. В эти дни он не прикасался к дневнику. Облегчение приносила только работа, в которой он иногда минут на десять забывался. Он не имел ни малейшего понятия о том, что с ней случилось. И не было возможности навести справки. Ее могли распылить, могли перевести в другой конец Океании; она могла покончить с собой или, — что хуже всего, — могла просто передумать и решила избегать его.

Потом она снова появилась. На руке у нее больше не было повязки, и только на запястье оставался яркий пластырь. Чувство облегчения, охватившее Уинстона, когда он увидел ее, было так велико, что он не мог сдержать себя и

несколько секунд смотрел на нее прямо в упор. На следующий день он чуть было не изловчился подсесть к ней. Когда он вошел в буфет, она сидела одна довольно далеко от телескрин. Было еще рано, народ только собирался. Очередь подвигалась, и Уинстон почти уже дошел до стойки, но тут задержался минуты на две, потому что кто-то впереди стал жаловаться, что ему не дали сахара. Однако, когда Уинстон получил поднос, девушка все еще была одна. С безразличным видом он шел к ней, отыскивая глазами место за ближайшим столиком. Оставалось метра три, как вдруг чей-то голос позади позвал: «Смит!» Он притворился, что не слышит. «Смит!» — повторил голос громче. Притворяться дальше было бесполезно. Он повернулся. Блондин по имени Уилшер, которого он едва знал, с улыбкой на глупом лице звал его к столу, указывая на свободное место. Отказаться было опасно. После того, как его окликнули, он не мог уйти и сел рядом с девушкой. Это бросилось бы всем в глаза. Он сел с дружеской улыбкой на лице. Глупая белобрысая физиономия Уилшера сияла. Уинстону живо представилось, как он лупит молотом по этой дурацкой морде. Через несколько минут все места за столом девушки были заняты.

Но она, конечно, видела, как он шел к ней и должна была понять положение. На другой день он постарался придти раньше. И, действительно, она сидела почти там же и опять одна. Прямо перед ним в очереди стоял маленький подвижной жукообразный человечек с плоским лицом и крохотными бегающими глазками. Когда Уинстон повернулся от стойки с подносом в руках, он увидел, что человечек идет прямо к девушке. Его надежды снова рухнули. Правда, за столом немного позади нее тоже было свободное место, но что-то в поведении человечка заставляло предполагать, что, ввиду собственного удобства, он постарается сесть к самому свободному столику. С заледеневшим сердцем Уинстон шел за ним. Это было бесполезно, потому что все равно он уже не мог поймать девушку одну. И вдруг раздался грохот!

Человечек растянулся на полу, поднос полетел в сторону, и по комнате двумя ручьями побежали суп и кофе. Кидая злобные взгляды на Уинстона, которого он, видимо, подозревал в том, что тот подставил ему ножку, человечек поднялся. Не обращая на него внимания, Уинстон прошел мимо. Через пять секунд с трепещущим сердцем он сидел рядом с девушкой.

Он не взглянул на нее. Разгрузив поднос, он тут же принялся за еду. Надо было пока никто не подошел, начать разговор, но его вдруг охватил неодолимый страх. Прошла неделя с того дня, как она передала письмо. За это время она могла передумать, вероятно, передумала! Невозможно допустить, что это дело кончится успешно — в жизни таких вещей не бывает. Он, по-видимому, так бы и молчал, если бы не увидел случайно Амплефорса, поэта с волосатыми ушами, беспомощно блуждавшего с подносом в руках по комнате в поисках места. Амплефорс как-то бессознательно, по-своему, был привязан к Уинстону и, конечно, сел бы рядом, если бы его увидел. Для действий оставалась, может быть, всего одна минута. И Уинстон и девушка продолжали есть. То, что они ели, называлось гуляшом, но на самом деле это был суп с фасолью. Уинстон первый шопотом начал разговор. Ни один из них не поднял глаз. Они медленно черпали водянистую массу и отправляли ее в рот, обмениваясь в промежутках немногими необходимыми короткими словами, которые они произносили без всякого выражения.

— Когда вы уходите с работы?

— В восемнадцать тридцать.

— Где мы можем встретиться?

— На Площади Победы у памятника.

— Там полно телескринов.

— Когда много народу, это не опасно.

— Будет сигнал?

— Нет. Не подходите, пока не увидите меня в толпе. И не смотрите на меня. Только держитесь поблизости.

— Время?

— Девятнадцать.

— Хорошо.

Амплефорс так и не заметил Уинстона и уселся за другим столом. Девушка быстро доела обед и сейчас же ушла, а Уинстон остался покурить. Они больше не разговаривали и, насколько это возможно для людей, сидящих за одним столом, не смотрели друг на друга.

Уинстон был на Площади Победы раньше назначенного времени. Он бродил у подножья громадной дорической колонны, с вершины которой Старший Брат устремлял взор на юг, в небеса — туда, где в битве за Первую Посадочную Полосу он сокрушил евразийскую авиацию (давно ли это была авиация Истазии?). Напротив, через улицу высилась другая фигура — всадника, изображавшая, по-видимому, Оливера Кромвеля. В девятнадцать пять девушка все еще не появлялась. Снова ужасный страх обуял Уинстона. Она не пришла, она передумала! Он медленно побрел по площади на север. С оттенком удовольствия он узнал церковь Св. Мартина, колокола которой (когда на ней были колокола) звонили: «Фартинг меньше, чем полтина . . .» Потом он увидел девушку. Она стояла у постамента памятника и читала или притворялась, что читает плакат, спиралью обвивавший колонну. Было опасно подходить к ней, пока не соберется больше народа. Повсюду были телескрины. В этот миг откуда-то слева донесся шум голосов и грохот тяжелых повозок. Внезапно все устремились куда-то через площадь. Девушка живо обежала львов на постаменте и влилась в общий поток. Уинстон последовал за ней. На бегу, из отдельных громких замечаний, он узнал, что везут партию евразийских пленных.

Плотная людская масса уже успела забить южную часть площади. Уинстон, обычно избегавший всякой сутолоки, работая локтями и головой и извиваясь, как червяк, проталкивался в самую гущу народа. Скоро он оказался на таком расстоянии от девушки, что мог дотянуться до нее рукою, но дальше путь загораживали громадного роста прол и такая же громадная женщина, вероятно, жена этого гиганта. Вме-

сте они образовывали несокрушимую живую стену мяса. Уинстон откинулся назад и с размаху сильным рывком втиснулся между ними. С минуту у него было такое чувство, что все его внутренности расплющены двумя мощными бедрами. Затем, слегка даже вспотев от напряжения, он прорвался вперед. Он был рядом с девушкой. Стоя плечом к плечу, они пристально смотрели прямо перед собою.

Длинная колонна грузовиков медленно тянулась по улице. На каждой машине по углам стояли вооруженные автоматами охранники с каменными лицами. Низкорослые желтокожие люди в потрепанных зеленоватого цвета шинелях, тесно сгрудившись, сидели на корточках в кузовах автомобилей. Их скорбные монгольские лица, с глазами, устремленными поверх бортов машины, были удивительно бесстрастны. Время от времени, когда грузовики подбрасывало, раздавался звон металла: все пленники были закованы в кандалы. Лица проплывали за лицами. Уинстон видел и не видел их. Плечо и рука девушки были прижаты к нему. Он почти чувствовал тепло ее щеки. Она немедленно взяла инициативу в свои руки. Едва шевеля губами, она заговорила невыразительным тоном и так тихо, что ее шопот легко заглушался гулом голосов и грохотом автомобилей.

— Вы слышите меня?

— Да.

— Можете поехать за город в воскресенье?

— Да.

— Тогда слушайте внимательно. Старайтесь запомнить. Поезжайте на Поддингтонский вокзал . . .

С точностью военного человека, изумившей его, она принялась описывать маршрут. Полчаса езды на поезде; поворот налево при выходе со станции; два километра по дороге; сломанные ворота; полевая дорога; поросший травой, заброшенный прогон; тропинка в кустах; сухое мшистое дерево . . . Словно у нее перед глазами была карта. «Вы все запомните?» — прошептала она наконец.

— Запомню.

— Повернете налево, потом направо и опять налево. Ворот сломаны.

— Понимаю. Время?

— Около пятнадцати. Возможно, вам придется подождать. Я приду другой дорогой. Вы уверены, что все запомнили?

— Всё.

— Тогда уходите от меня сейчас же.

Этого можно было и не говорить. Но выбраться из толпы в этот момент было невозможно. Грузовики все еще шли, и народ жадно глазел. Вначале кое-где слышны были свист и шиканье, но свистели только члены Партии, затесавшиеся в толпу, да и они скоро замолкли. Преобладало простое любопытство. Иностранцы — как истазиаты, так и евразийцы — были просто чем-то вроде диковинных животных. Их никогда не видели иначе, как в одежде пленных, да и как пленных видели только мгновение. Никто не знал, что с ними происходит. За исключением тех, кого публично вешали как военных преступников, все остальные просто исчезали, — надо думать, в концентрационных лагерях. Круглые монгольские лица сменились лицами европейского типа, но грязными, бородатыми и изнуренными. Время от времени с обросшего лица на Уинстона вдруг устремлялся со странным напряжением чей-то взгляд и тотчас же потухал. Эшелон подходил к концу. На последнем грузовике Уинстон увидел пожилого человека, лицо которого обрамляла седина. Он стоял, прямой как столб, скрестив руки на животе, с таким видом, словно давно привык к тому, что они должны быть связаны. Однако, пора было расставаться. Но в последний миг, когда толпа еще стискивала их, рука девушки нашла руку Уинстона и легко пожала ее.

Казалось, что пожатие длилось целую вечность, хотя на самом деле оно не могло продолжаться больше десяти секунд. И он успел изучить каждую мелочь на ее руке. Он обнаружил длинные пальцы, приятной формы ногти, твер-

дую ладонь работающего человека с рядом мозолей, гладкую кожу ниже запястья. Он теперь узнал бы эту руку, увидав ее. В тот же миг он подумал, что не знает, какие у нее глаза. Скорее всего карие, но ведь у брюнеток бывают и голубые. Повернуться и посмотреть — значит сделать невозможную глупость. Так они и стояли, взявшись за руки, которых никто не видел в давке, и глядя прямо перед собой, и, вместе девичьих глаз, на Уинстона горестно смотрели из лохматых гнезд глаза старика-пленного.

## II

Уинстон шел по тропинке, испещренной пятнами света и тени. Там, где ветви расступались, он словно окунался в золотой поток. Слева под деревьями земля была подернута голубоватой мглой от несметных колокольчиков. Воздух нежно ласкал кожу. Было второе мая. Откуда-то из глубины леса доносилось воркование голубей.

Он пришел раньше назначенного времени. Путешествие было нетрудным. Он скоро убедился, что девушка отлично знала маршрут и не испытывал большего страха, чем обычно. По-видимому, можно было верить и тому, что она способна найти безопасное место. Вообще, за городом было не безопаснее, чем в Лондоне. Конечно, телескринов в деревне не было, но всегда следовало остерегаться спрятанных микрофонов, с помощью которых могли подслушать и узнать ваш голос. Кроме того, если вы отправлялись за город один, вы не могли не привлечь к себе внимания. Для поездки на расстояние до ста километров предъявлять паспорта не требовалось, но на станциях иногда болтались патрули. Они проверяли документы членов Партии и задавали щекотливые вопросы. На этот раз, однако, патруль не встретился и, бросив осторожный взгляд назад при выходе со станции, Уинстон убедился в том, что за ним не следят. Поезд был переполнен пролами, находившимися по случаю летней погоды в праздничном настроении. Вагон с деревянными скамейками

был набит до отказа пассажирами, которые все оказались членами одной, необычайно многочисленной семьи — от беззубой прабабушки до месячного ребенка. Они ехали в деревню, чтобы провести праздник «с родней» и для того, чтобы (как они искренне признались Уинстону) раздобыть немножко масла на черном рынке.

Дорога расширилась, и через минуту Уинстон подошел к тропинке, о которой говорила девушка. Скорее это был просто прогон, уходящий временами в заросли. У Уинстона не было с собою часов, но он знал, что трех еще быть не могло. Колокольчики так густо покрывали землю под ногами, что невозможно было не ступить на них. Он опустился на колени и принялся собирать их, частью для того, чтобы убить время, частью со смутным намерением поднести девушке цветы, когда они встретятся. Он уже набрал довольно большой букет и, погрузив в него лицо, вдыхал его слабый, но дурмящий аромат, когда какой-то звук позади заставил его застыть на месте. Несомненно, где-то хрустнула ветка под ногами. Он принялся снова рвать цветы. Больше ничего не оставалось делать. Это могла быть девушка, но, в конце концов, возможно, что за ним и следили. Оглянуться — значит показать, что ты чувствуешь себя в чем-то виновным. Он рвал и рвал цветы. Чья-то рука коснулась его плеча.

Он поднял глаза. Это была девушка. Она повела головой, словно предостерегала, чтобы он молчал, потом раздвинула кусты и быстро пошла вперед по узкой тропинке в лес. Очевидно она бывала тут раньше, потому что обходила вязкие рытвины словно по привычке. Уинстон шел за ней, все еще держа букет в руке. В первую минуту он испытал чувство облегчения. Но теперь, глядя на двигавшуюся перед ним сильную и стройную фигуру девушки, туго перехваченную алым кушаком, который подчеркивал красивую форму ее бедер, он снова ощутил свою неполноценность. Даже и теперь, — думал он, — она, пожалуй, может убежать, если оглянется и как следует посмотрит на него. Свежесть воздуха и зелень листвы пугали и обескураживали его. Еще по

дороге со станции в лучах майского солнышка он стал казаться себе грязным и бесцветным, — каким-то комнатным существом с липкой лондонской пылью в каждой поре тела. Вероятно, она еще ни разу не видела его при полном дневном свете, — промелькнуло у него.

Они подошли к упавшему дереву, о котором она тоже упоминала. Девушка перепрыгнула через него и нырнула в кусты, где не видно было никакого просвета. Но когда Уинстон последовал за ней, он вдруг оказался на поляне, на крошечном зеленом холмике, окруженном молодой высокой порослью, почти скрывавшей его от глаз. Девушка остановилась и обернулась.

— Вот мы и пришли, — сказала она.

Их разделяло несколько шагов. Он не осмеливался подойти к ней.

— Я не хотела говорить раньше, — продолжала она, — потому что там могли быть микрофоны. Я не думаю, что они есть, но ничуть не удивлюсь, если окажутся. Всегда можно ожидать, что какая-нибудь свинья распознает ваш голос. А здесь мы в безопасности.

У него все еще не доставало смелости подойти.

— В безопасности? — глупо повторил он.

— Да. Взгляните на эти деревья.

Вокруг поляны стеной стояли ясени. Когда-то они были срублены, но потом снова разрослись в лес стволов не толще человеческой руки.

— Здесь нет ни одного деревца, в котором можно было бы спрятать микрофон. Впрочем, я тут бывала раньше и знаю . . .

Она говорила просто, чтобы поддержать разговор. Он подошел поближе. Она выпрямившись стояла перед ним, и на ее лице блуждала легкая ироническая усмешка, как бы говорившая: «ну, что же ты медлишь?» Колокольчики вдруг дождем посыпались на землю. Казалось, что они посыпались сами собою, без всякой причины. Он взял ее за руку.

— Поверите ли, — сказал он, — поверите ли, что я до сих пор не знал, какие у вас глаза.

Глаза были карие. Светло-карие с темными ресницами.

— Теперь, — продолжал он, — когда вы тоже видите, каков я на самом деле, вы, действительно, все еще можете смотреть на меня?

— Охотно.

— Мне тридцать девять лет. У меня была жена, от которой я и до сих пор не избавился. У меня варикозная язва и пять вставных зубов.

— Какое это имеет значение!

В следующий миг, — кто мог бы сказать, по чьему желанию и по чьей воле? — она оказалась у него в объятиях. Вначале он просто неверил себе. Молодое тело льнуло к нему, волна черных волос хлынула ему на лицо, и вот — да, это было, было! — она подняла к нему лицо, и он поцеловал большой алый рот. Она обвивала руками его шею, называла его дорогим, бесценным, любимым. Он стал опускать ее на землю. Она совершенно не сопротивлялась, и он мог делать с нею что угодно. Но ему не нужно было ничего, кроме простого общения. Он гордился тем, что все это произошло, изумлялся этому и радовался, но у него не было физического желания. Все случилось слишком быстро; ее молодость и красота пугали его, он слишком привык жить без женщины, сам не зная, как и почему привык. Девушка поднялась и стала выбирать из волос запутавшиеся в них колокольчики. Она села рядом, обняв его за талию.

— Ничего, мой дорогой. Спешить некуда. У нас целый день впереди. Как вам нравится этот уголок? Я набрела на него случайно, заблудившись однажды на экскурсии. Если кто-нибудь будет подходить, мы услышим за сотню метров.

— Как ваше имя? — спросил Уинстон.

— Юлия. Ваше я знаю. Вы — Уинстон. Уинстон Смит.

— Как вы узнали?

— Мне кажется, дорогой, я в таких вещах сильнее вас. Скажите, что вы думали обо мне до моей записки?

Ему не хотелось лгать. Это даже своего рода жертва на алтарь любви — начать с худшего.

— Мне был ненавистен весь ваш вид, — признался он. — Мне хотелось изнасиловать вас и зарезать. Две недели тому назад я серьезно собирался размозжить вам голову булыжником. По правде говоря, я думал, вы имеете какое-то отношение к Полиции Мысли.

Девушка с восторгом расхохоталась, очевидно, принимая это за высший комплимент своему дару притворства.

— К Полиции Мысли! Нет, правда вы так думали?

— Ну, может быть, и не совсем так. Но по всему вашему виду, просто потому, что вы такая молодая, цветущая, здоровая... вы понимаете?.. я думал, что, быть может...

— Вы думали, что я стопроцентная партийка? Целомудренная и в мыслях и на деле. Знамена, демонстрации, лозунги, игры, массовые вылазки — все, как и полагается. И вы, конечно, думали, что я, при первом случае, выдам вас на смерть как преступника мысли?

— Что-то в этом роде. Большинство девушек таковы, — вы сами знаете.

— А все вот из-за этой гадости! — воскликнула она, срывая алый кушак Антиполовой Лиги и швыряя его в кусты. Потом, словно прикосновение к комбинезону о чем-то напомнило ей, сунула руку в карман и вытащила маленькую плитку шоколада. Разломив ее пополам, она протянула одну половинку Уинстону. Еще не успевши взять ее, он по запаху узнал, что это совсем необычный шоколад. Он был темен, блестящ и обернут в серебряную бумагу. Обычно шоколадом называлась тусклокоричневая крошащаяся масса, вкус которой, — поскольку его вообще можно было определить, — походил на вкус дыма мусорной свалки. Впрочем, когда-то Уинстону приходилось пробовать шоколад вроде того, каким его угощала девушка. И первая же струйка его аромата пробудила в нем сильное беспокойное чувство, которое никак не удавалось выразить.

— Где вы его достали? — спросил он.

— На черном рынке, — небрежно ответила она. — А вы знаете: я ведь в самом деле такова, какой кажусь. Я хорошая спортсменка. Я была руководительницей отряда в Юных Шпионах. Три вечера в неделю я занята общественной работой в Антиполовой Лиге Молодежи. Часами я расклеиваю по городу ее гнусные плакаты. Я всегда несу одно древко знамени на демонстрации, всегда выгляжу бодрой и жизнерадостной, всегда ору вместе со всеми и никогда не уклоняюсь ни от какой работы. Это — единственный способ уцелеть.

Первый кусочек шоколада растаял у Уинстона на языке. Какой восхитительный вкус! А воспоминание все еще шевелилось где-то на грани сознания — острое, беспокойное, но вместе с тем такое, что его нельзя было отлить в определенную форму, как предмет, улавливаемый лишь уголком глаза. Он постарался отогнать его от себя, хотя и понимал, что ему очень хочется восстановить в памяти событие, которое каким-то образом связывалось с запахом шоколада.

— Вы очень молоды, — снова заговорил он. — Вы, по крайней мере, десятью или пятнадцатью годами моложе меня. Что могло привлечь вас во мне?

— Что-то такое в вашем лице . . . Я хорошо распознаю людей. И я решила, что могу рискнуть. Как только я увидела вас, я поняла, что вы против них.

Это «них» прозвучало как «Партия», даже почти как «Внутренняя Партия», о которой она говорила с нескрываемым злобным сарказмом. Уинстону стало не по себе, хотя он и знал, что если где-нибудь и можно было чувствовать себя в безопасности, то именно здесь. Его изумляла грубость ее языка. Членам Партии рекомендовалось избегать ругательств, и Уинстон сам ругался очень редко — вслух, по крайней мере. Юлия же, казалось, совершенно не могла говорить о Партии, особенно о Внутренней Партии, не прибегая к словам, которые пишутся только на заборах в переулках. Но это не отталкивало его. Это был просто симптом ее бунта против Партии и всего, что связывалось с нею,

и казалось почему-то естественным, как фыркать лошади, почуявшей скверное сено. Они поднялись и снова побрели по дороге, испещренной пятнами света и тени. Там, где тропинка была достаточно широка, они шли обнявшись. Он заметил, насколько мягче стала ее талия, после того, как она скинула кушак. Они говорили только шопотом. Уходя с поляны, Юлия посоветовала не разговаривать совсем. Вскоре они вышли на опушку. Девушка взяла Уинстона за рукав.

— Не выходите. Тут могут следить. Пока мы здесь, нас не видно.

Они стояли в кустах орешника. Лучи солнца, просачиваясь сквозь листву, все еще были горячи. Уинстон бросил взгляд на поле, расстилавшееся перед ним, и вдруг почувствовал, что узнает его. Старое, потравленное пастбище, с бегущей по нему тропинкой и с кротовинами то здесь, то там. На противоположной стороне за неровной живой изгородью слабо покачивались под легким ветерком ветви вязов, шевеля густой массой листьев, словно космами женских волос. Несомненно, где-то тут, рядом, должен пробегать ручей с зелеными заводами, в которых играют ельцы.

— Есть тут поблизости ручей? — прошептал он.

— Есть. На другом конце поля. А в ручье — рыба, и довольно крупная. Можно даже видеть, как она стоит в заводях под ивами, шевеля плавниками.

— Совсем как в Золотой Стране! . .

— В Золотой Стране? — удивилась Юлия.

— Ничего, дорогая, пустяки . . . Просто я припоминаю пейзаж, который иногда видел во сне.

— Смотрите! — шепнула Юлия.

Не больше, чем в пяти метрах от них и почти на уровне глаз опустился на ветку дрозд. Он, должно быть, не заметил их: он был на солнце, они — в тени. Он распустил крылья, бережно уложил их на место, наклонил на минутку голову, словно сделал солнцу реверанс, и вдруг залился буйной песней. В полуденной тишине сила звука пугала своей неожиданностью. Уинстон и Юлия зачарованно прильну-

ли друг к другу. Минуты бежали, а песня всё лилась и лилась, удивительно варьируясь, никогда не повторяясь, словно певец старался показать всё свое искусство. Иногда он замолкал на несколько секунд, распускал и укладывал крылья, раздувал крапчатую грудку и опять взрывался песней. Уинстон наблюдал за ним почти с благоговением. Для кого и для чего пел дрозд? Никто его не слушал — ни подруга, ни соперник. Что заставляло его сидеть тут, на опушке уединенного леса и изливать свою песню в пустоту? Уинстон подумал, что в конце концов, где-нибудь поблизости мог таиться микрофон. Он и Юлия говорили только шопотом, и их нельзя было услышать, но дрозда слышали. Где-то, у другого конца провода, сидел маленький жукообразный человечек и слушал... слушал это! Однако постепенно песня заставила Уинстона забыть всё остальное. На него как будто изливалось сверху море звуков и солнечного света, профильтрованного сквозь листву. Он перестал думать и весь отдался чувствам. Талия девушки была мягка и тепла. Он привлек Юлию к себе, и они оказались лицом к лицу. Ее тело словно растворялось в нём. Всюду, куда ни двигалась его рука, всё было податливо, как вода. Их губы слились, и этот поцелуй был совсем иным, чем тот, жадный и торопливый, которым они обменялись раньше. Когда они отодвинулись друг от друга, оба тяжело дышали. Птица испугалась и, шумя крыльями, улетела.

Уинстон наклонился к уху девушки. «Теперь, да?» — прошептал он.

— Не здесь, — ответила она тоже шопотом. — Пойдем назад в заросли. Там не так опасно.

Торопливо, хрустя ветками, они пошли обратно на поляну. Когда они опять оказались за молодой порослью ясеней, Юлия повернулась к Уинстону. Ее дыхание прерывалось, но в уголках рта снова заиграла улыбка. Она с минуту постояла, глядя на него, потом прикоснулась к застежке комбинезона и... Все произошло почти так же, как он видел во сне. Мгновенно, как он и представлял себе, она сбросила

одежду и швырнула ее в сторону тем великолепным жестом, который, казалось, зачеркивал всю культуру. Ее тело сверкало белизной на солнце. Но он не видел ее тела. Его взор был прикован к веснушчатому лицу, на котором блуждала едва заметная, но смелая улыбка. Он опустил перед нею на колени и взял за руки.

— Ты делала это раньше?

— Конечно. Сотни раз. Десятки раз, во всяком случае.

— С членами Партии?

— Да. Только с членами Партии.

— С членами Внутренней Партии?

— С этими свиньями! Никогда! Хотя многие и добивались... Они ведь вовсе не такие святые, какими прикидываются.

Его сердце ликовало. Она делала это много раз! Ему хотелось, чтобы это было сотни, тысячи раз. Все, что содержало в себе хоть какой-нибудь намек на разложение, наполняло его дикой надеждой. Кто знает? Может быть, под внешней оболочкой Партии уже завелась гнильца? Быть может, ее культ силы и самоотречения — только обманчивый покров, скрывающий внутреннюю слабость? Ах, как он был бы счастлив, если бы мог заразить их всей проказой или сифилисом — чем-нибудь таким, что портит, расслабляет, подрывает! Он потянул девушку к себе, так что они оказались на коленях друг перед другом.

— Слушай! Сколько бы ни было у тебя мужчин, я люблю тебя. И чем больше их было — тем больше люблю. Ты понимаешь это?

-- Да. Отлично.

-- Я ненавижу чистоту! Я ненавижу непорочность! Я готов сокрушать добродетель всюду, где она существует! Я хочу, чтобы всё до мозга костей было развращено!

— Прекрасно. Значит, я подхожу тебе. Я развращена до мозга костей.

— Тебе нравится это? Я говорю не о себе... Нравится вообще?

— Я обожаю...

Этого он и добивался от нее больше всего. Не просто любовь, а страсть, могучее, слепое животное желание. Оно — та сила, которая способна разорвать Партию в клочья. Он опрокинул девушку навзничь в траву, в опавшие колокольчики. Теперь это было нетрудно. Вскоре их дыхание стало ровнее и с чувством, похожим на сладкую беспомощность, они разъединились. Солнце пекло как будто еще жарче. Обоих клонило в сон. Он потянулся за комбинезоном и немного укрыл им девушку. Почти тотчас же оба погрузились в сон и спали с полчаса.

Уинстон проснулся первый. Он сел и взгляделся в веснушчатое лицо девушки. Положив под голову ладонь, она все еще спала. В сущности, кроме рта, в ней не было ничего красивого. Внимательный взор мог подметить около глаз несколько морщинок. Короткие черные волосы поражали своей густотой и мягкостью. Он опять подумал, что все еще не знает ни ее фамилии, ни адреса.

Молодое сильное тело вызывало в нем чувство жалости и желания оберегать его. Глупая чувствительность, овладевшая им в орешнике, когда он слушал дрозда, все еще не совсем исчезла. Он слегка приподнял комбинезон и посмотрел на гладкую белую спину девушки. В прежние времена, — думал он, — мужчина, глядя на женское тело, знал, что он хочет обладать им, — и этим все кончалось. Теперь нет ни настоящей любви ни настоящей страсти. Нет никаких настоящих чувств, потому что во всем — примесь страха и ненависти. Их объятие было битвой, кульминация — победой. Это был сокрушающий удар по Партии. Это был политический акт.

### III

— Мы можем приехать сюда как-нибудь опять, — сказала Юлия. — Вообще, можно без особого риска встречаться в одном и том же месте два или три раза. Но, конечно, лучше переждать месяц-другой, прежде чем снова появляться здесь.

Как только она проснулась, она повела себя совсем иначе, чем прежде. С озабоченным видом она быстро оделась, повязала кушак и деловито стала излагать маршрут обратного путешествия. Уинстону казалось естественным, что этим занимается она, а не он. Не подлежало сомнению, что она гораздо практичнее его и обладает всеобъемлющим знанием окрестностей Лондона, почерпнутым во время бесчисленных экскурсий. Дорога, которую она указала теперь, совершенно отличалась от той, по какой он пришел сюда, и вела на другой вокзал: «Никогда не возвращайся тем же путем, которым пришел», — заявила Юлия таким тоном, словно формулировала важное общее правило. Она должна была уехать первой, Уинстон — через полчаса.

Юлия назвала место, где они могут встретиться после работы четыре дня спустя: улицу с людным и шумным базаром в одном из беднейших кварталов города. Юлия будет слоняться возле прилавков, делая вид, что ищет шнурки или нитки. Если она будет уверена, что все обстоит благополучно, она высморкается, и он может подойти; в противном случае он не должен даже замечать ее. При удаче можно будет, не подвергая себя большому риску, поговорить в толпе минут десять или пятнадцать и условиться о новом свидании.

— А теперь мне надо бежать, — сказала она, как только он усвоил ее наставления. — Я должна вернуться в девятнадцать тридцать. Мне придется целых два часа раздавать листовки Антиполовой Лиги или заниматься чем-нибудь еще в том же духе. Ну, не свинство, а? Ты можешь меня почистить? Посмотри нет ли травы в волосах? . . Ты уверен? Тогда до свиданья, дорогой, до свиданья!

Она кинулась к нему в объятия, осыпала его поцелуями, потом скользнула в чашу и бесшумно исчезла. Он так и не узнал ни ее фамилии, ни адреса. Впрочем, это не имело большого значения, потому что невозможно было представить себе, что они встретятся когда-нибудь под кровлей или обменяются письмами.

Но случилось так, что и на лесной поляне им не довелось больше побывать. В мае они сумели только еще раз остаться вдвоем. Они встретились в другом уединенном месте, известном Юлии — на колокольне разрушенной церкви в почти безлюдном районе, где тридцать лет тому назад упала атомная бомба. Место было надежное, коль скоро вы добрались до него, но добираться было ужасно опасно. После этого они встречались только под открытым небом в городе — каждый раз на другой улице и каждый раз не больше, чем на полчаса. Говорить на улицах приходилось с постоянной оглядкой. Медленно идя по тротуару, запруженному народом (не слишком близко друг к другу и не обмениваясь ни единым взглядом), они вели странный, прерывистый разговор. Вспыхивая и потухая, как свет маяка, он то сменялся полным молчанием при приближении к телескрину или при появлении партийной формы, то через минуту начинался снова с середины фразы, то, — когда приходило время расставаться на условленном месте, — внезапно обрывался, чтобы на другой вечер возобновиться без всякого вступления. Юлия, казалось, привыкла к такому разговору, и у нее было свое название для него: «разговор в рассрочку». Она обладала также удивительной способностью говорить, не шевеля губами. Почти за целый месяц вечерних свиданий они только раз обменялись поцелуем. Они молча шли по переулку (Юлия никогда не разговаривала на маленьких улочках), как вдруг раздался оглушительный рев. Земля встала на дыбы, небо померкло, и в следующий миг пораженный ужасом Уинстон обнаружил, что лежит на земле. Все тело было в ссадинах и синяках. Где-то совсем рядом разорвался реактивный снаряд. Потом в нескольких сантиметрах всплыло смертельно бледное лицо Юлии. Даже губы у нее были белые, как мел. Она была мертва! Он сжал её в объятиях и только тут почувствовал, что целует теплое, живое лицо. Какой-то белый порошок лип к губам. Лица обоих покрывал густой слой извести . . .

Бывали вечера, когда, явившись на свидание, они про-

ходили друг мимо друга, не обменявшись даже знаком, потому что из-за угла внезапно появлялся патруль или над головой вертелся вертолет. Если бы даже свидания и не были сопряжены с такими опасностями, то и в этом случае не легко было урвать время для них. Уинстон работал шестьдесят часов в неделю. Юлия — еще больше, и выходные дни, менявшиеся в зависимости от количества работы, далеко не всегда совпадали. У Юлии, во всяком случае, редко выдавался совсем свободный вечер. Она тратила уйму времени на лекции, демонстрации, на распространение литературы Антиполовой Лиги, на изготовление знамен к Неделе Ненависти, на денежные сборы, связанные со сберегательной кампанией, и на всякую другую общественную работу. Она считала, что это окупается, помогая маскировке. Соблюдая мелкие правила, — говорила она, — можно нарушать более важные. Она даже уговорила Уинстона заняться по вечерам сверхурочной работой на оборону, которую добровольно выполняли особенно рьяные партийцы. И вот, — раз в неделю, четыре часа, — Уинстон стал проводить в тускло освещенной мастерской, где гулял сквозняк, и стук молотков тоскливо мешался с музыкой телескрин. Умирая от скуки, он занимался сборкой каких-то металлических деталей, служивших, видимо, взрывателями бомб.

Брешь, оставшаяся после их отрывочных разговоров, была наконец заполнена, когда они встретились на колокольне. Был яркий полдень. Воздух под сводом квадратной колокольни был неподвижен, раскален и густо насыщен запахом голубинного помета. Несколько часов они проговорили, сидя прямо на полу, покрытом пылью и сухими веточками, и время от времени один из них вставал и подходил к стрельчатой прорези в стене, чтобы посмотреть вниз и убедиться, что там никого нет.

Юлии было двадцать шесть лет. Она жила в общепитии вместе с тридцатью другими девушками («вечно с бабами», — вскользь заметила она, — «как я ненавижу баб!») и работала, как он и догадывался, на автоматическом писателе в

Отделе Беллетристики. Ей нравилась эта работа, состоявшая в обслуживании мощного, но капризного электрического агрегата и в наблюдении за ним. По ее словам, она «звезд с неба не хватала», но руки у нее были хорошие, и она чувствовала себя возле машин, как дома. Она могла описать весь процесс создания романа от общих директив Планового Комитета до последней корректуры Секции Обработки Материалов. Но готовая продукция ее не интересовала. «Я вообще ничего не читаю», — заявила она. Книги для нее были просто предметом производства, вроде шнурков или подвала.

Она не помнила ничего, что происходило до начала шестидесятых годов, и единственным человеком, который часто рассказывал ей о дореволюционных днях, был дедушка, пропавший, когда Юлии шел девятый год. В школе она была капитаном хоккейной команды и два года подряд получала награды за гимнастику. В Организации Шпионов она руководила отрядом, а в Союзе Молодежи, — до того, как вступить в Антиполовую Лигу, — была секретарем отдела. Она отличалась безупречным поведением. Ее даже (верный знак отличной репутации!) привлекали к работе в Порносеке — одном из подразделений Отдела Беллетристики, выпускавшем дешевую порнографическую литературу, предназначенную для распространения среди пролов. «Служащие Порносека, — рассказывала она, — называют свою секцию навозником». В течение года Юлия принимала участие в издании брошюр под названием, вроде — «Приключения Шлепуна или Ночь в Школе для Девушек». Эти брошюры рассылались в запечатанных конвертах и потихоньку покупались молодыми пролами, думавшими, что они приобретают что-то нелегальное.

— Что же это за книжки? — поинтересовался Уинстон.

— Ах, чушь ужасная! Можно сдохнуть с тоски. Всегонавсего шесть сюжетов, которые они жуют, как мочалку. Я работала, конечно, только на калейдоскопах, в Сектор Об-

работки меня никогда не брали. Я ведь малограмотная, дорогой, и не гожусь даже для этого.

Уинстон с немалым изумлением услышал, что единственным мужчиной в Порносеке был начальник, а вся работа выполнялась девушками. В теории считалось, что мужчины, сексуальные инстинкты которых труднее обуздать, чем инстинкты женщин, скорее могут быть развращены той гадостью, с какой им приходилось иметь дело.

— Они не любят нанимать даже замужних, — пояснила Юлия. — Зато девушек всех считают совершенно непорочными. С тобой, во всяком случае, сидит не такая.

В первую любовную связь она вступила, когда ей было шестнадцать лет. Ее любовником был шестидесятилетний старик-партиец. Позднее он покончил с собой, чтобы избежать ареста. «И хорошо сделал, — заявила Юлия. — Иначе они вытянули бы у него мое имя на следствии». Потом были другие. Жизнь представлялась ей очень простой. Вы хотите жить в свое удовольствие, «они» — то есть, Партия, — стараются вам помешать. Ей казалось совершенно естественным, что «они» стремятся лишить вас всех радостей жизни, а вы — вернуться от них. Она ненавидела Партию и прямо это говорила, но ни о какой принципиальной критике не помышляла. Партийное учение, поскольку оно не затрагивало ее прямо, ничуть ее не интересовало. Уинстон обратил внимание на то, что Юлия никогда не прибегает к Новоречи, употребляя только те слова, которые вошли в широкий обиход. Она не слышала о Братстве и отказывалась верить в то, что оно существует. Всякое организованное выступление против Партии, обычно обреченное на неудачу, казалось ей глупостью. Умный человек умеет преступить закон и уцелеть. Уинстон задумался над тем, сколько еще таких, как Юлия, может оказаться среди молодого поколения — юношей и девушек, выросших в мире Революции, ничего другого не знающих, принимающих Партию как нечто извечное, как небеса, никогда не протестующих против ее господства,

а просто старающихся ускользнуть от нее, как заяц от собаки?

Они не говорили о возможности брака. Это было настолько неосуществимо, что незачем было и говорить. Ни один из мыслимых комитетов никогда не утвердил бы такого брака, даже если бы и удалось каким-то чудом избавиться от Катерины. Нечего было и мечтать напрасно.

— Что она собою представляла, твоя жена? — спросила Юлия.

— Она была... Ты знаешь слово Новоречи благомысл? То есть, правоверный от рождения. Человек, которому даже не может прийти в голову плохая мысль?

— Нет, я не слыхала этого слова. Но я знаю таких людей. И довольно хорошо.

Он начал рассказывать историю своей семейной жизни, но, к его удивлению, Юлия, казалось, уже знала все самое важное. Она описала ему, — словно это видела или пережила сама, — как Катерина каменела от одного его прикосновения и как она умела, обнимая его, вместе с тем отталкивать от себя изо всех сил. Ему было легко говорить с Юлией об этих вещах. Кроме того, воспоминание о Катерине давно перестало ранить его сердце и стало просто неприятным.

— Знаешь, я, пожалуй, вытерпел бы и это, — сказал он, — если бы не одно обстоятельство...

И он рассказал о маленькой неприятной операции, к которой Катерина принуждала его раз в неделю и всегда в один и тот же вечер.

— Она ненавидела это сама, но ничто в мире не могло заставить ее отказаться. Она называла это... Нет, ты ни за что не угадаешь, как это называлось у нее!

— Наш долг перед Партией, — не задумываясь выпалила Юлия.

— Откуда ты знаешь?

— Я ведь тоже ходила в школу, дорогой. «Проблемы пола» — предмет, который раз в месяц читали девушкам

старше шестнадцати лет. И в Союзе Молодежи тоже . . . Это вколачивается в людей годами. И во многих случаях цель достигается. Но, конечно, поручиться за всех нельзя. Люди такие лицемеры . . .

И она принялась развивать эту тему. У Юлии все как-то сводилось к ее собственной интимной жизни. И она была способна на большую пронизательность, когда дело касалось этих вещей. В отличие от Уинстона, ей удалось схватить внутренний смысл полового пуританизма Партии. Дело не просто в том, что половое влечение создавало замкнутый мир, недоступный Партии и подлежащий потому уничтожению. Дело, прежде всего, заключалось в том, что половой аскетизм порождал желательную Партии истерию, которую можно было превратить в военную лихорадку и в поклонение вождям.

— Когда ты любишь и отдаешься, — рассуждала Юлия, — ты расходуешь энергию. Ты счастлив и тебе плевать на всё остальное. С этим они не могут примириться. Им надо, чтобы ты вечно кипел энергией. Все эти парады, шум, размахивание флагами — просто-напросто выбрасывание за борт прокисших половых желаний. Если ты счастлив в душе, то какое тебе дело до Старшего Брата, до Трехлетки, Двух Минут Ненависти и всей их прочей дряни?

Это очень верно, — подумал Уинстон. — Между половым аскетизмом и политической ортодоксальностью существовала тесная, прямая связь. Каким иным путем, кроме сдерживания некоторых мощных инстинктов и превращения их в движущую силу, может Партия поддерживать в своих членах на должном уровне страх, ненависть и детскую доверчивость, в которых она так нуждается? Половые инстинкты опасны для нее, и она использует их в своих интересах. Тут — то же надувательство, что и с родительскими чувствами. Семью невозможно уничтожить, и поэтому родителей даже побуждают относиться к детям так же, как до Революции. Но, вместе с тем, детей неустанно натравливают на родителей, учат шпионить за ними и доносить о их уклонах.

В результате, семья стала как бы продолжением шпионской сети Полиции Мысли. При такой системе каждый днем и ночью окружен агентами, знающими его личную жизнь до последних мелочей.

Внезапно Уинстон опять вспомнил о Катерине. Конечно, она моментально донесла бы на него в Полицию Мысли, если бы глупость не мешала ей разгадать его подлинные настроения. Но сейчас дело было не в этом, и образ ее был вызван другим обстоятельством. Удушливая полуденная жара, от которой покрывался испариной лоб, заставила Уинстона опять вспомнить Катерину. Он стал рассказывать Юлии о том, что произошло или, вернее, что могло произойти однажды в такой же знойный летний полдень одиннадцать лет тому назад.

Это было три или четыре месяца спустя после того, как они поженились. Они поехали с экскурсией куда-то в Кент и там заблудились. Просто отстали от других минуты на две, потом повернули не туда, куда следовало, и вскоре оказались на краю заброшенной каменоломни, где когда-то добывали известняк. Она обрывом уходила вниз на десять или двенадцать метров, и на дне ее лежали валуны. Спросить дорогу было не у кого. Как только Катерина поняла, что они заблудились, она страшно разволновалась. То, что они только на минуту оказались в стороне от шумной толпы экскурсантов, заставляло ее чувствовать себя в чем-то виновной. Она настаивала на том, чтобы они немедленно вернулись назад той же дорогой и начали поиски в другом направлении. Но как раз в этот момент Уинстон прямо у своих ног увидел кусты воробейника, растущие в раселинах обрыва. На одном кусте оказались разные цветы — малиновые и кирпично-красные — и росли они, по-видимому, от одного корня. Уинстон никогда прежде этого не видел и стал звать Катерину.

— Ты посмотри! Ты только посмотри на них! Вон тот кустик в самом низу. Ведь они разного цвета. Видишь?

Она уже собралась уходить. но все-таки, с довольно

раздраженным видом, вернулась и наклонилась над обрывом, чтобы посмотреть куда он указывал. Он стоял немного позади, придерживая ее за талию. И тут он вдруг сообразил, как, в сущности, они бесконечно далеки ото всего живого в этот миг. Нигде не было ни одного человеческого существа, ни один листок не шевелился, даже птицы молчали. Возможность того, что где-то поблизости таится микрофон, в таком месте была ничтожна, но даже если он и был — он улавливал лишь звуки. Был самый знойный, самый усыпляющий час дня. Солнце полыхало над их головами, и Уинстон ощущал на лице щекотание капелек пота. И вдруг, как молния, блеснула мысль . . .

— Почему ты не подтолкнул ее легонько? — подсказала Юлия. — Я бы не задумалась.

— Да, дорогая, ты не задумалась бы. Я — тоже, если бы в то время был таким, каков сейчас. А, может быть . . . Нет, я не уверен . . .

— Ты жалеешь, что не сделал этого?

— В общем, да.

Они сидели рядом на пыльном полу. Он обнял девушку. Ее голова легла ему на плечо, и за приятным запахом ее волос не чувствовался больше запах голубиного помета. Она еще очень молода, — думал он. — Она еще чего-то ждет от жизни. И она не понимает, что, сбросив со скалы неугодного вам человека, вы не достигнете ничего.

— В сущности, это ничего не изменило бы, — сказал он.

— Тогда почему же ты жалеешь, что не сделал этого?

— Просто потому, что положительное я предпочитаю отрицательному. В игре, которую мы с тобой затеяли, мы не можем выиграть. Одно ведет к проигрышу скорее, чем другое — только и всего.

Он почувствовал, как она протестующе повела плечом. Она протестовала всякий раз, когда он говорил что-нибудь в этом роде. Она не соглашалась признавать законом жизни то, что личность всегда терпит поражение. До некоторой степени она понимала, что обречена на гибель, и что рано

или поздно Полиция Мысли схватит ее и убьет, но в то же время верила, что можно построить свой тайный мирок и жить в нем так, как хочется. Нужны только смелость, ловкость и удача. Она не понимала, что таких вещей как счастье и удача в природе не существует, что победа — дело далекого будущего, когда их обоих уже не будет в живых, и что, объявляя войну Партии, вы подписываете себе смертный приговор.

— Мы мертвецы, — сказал он.

— Нет, мы еще не мертвецы, — прозаически отозвалась Юлия.

— Не физически, нет. Еще полгода, год, ну, — может быть, даже пять лет. Я боюсь смерти. Ты молода и должна бояться еще больше. Поэтому надо оттянуть ее насколько это в наших силах. Но, в общем, разница будет небольшая. Пока человек остается человеком, — жизнь и смерть будут идти рядом.

— Ах, чепуха! С кем ты хочешь спать — со мной или со скелетом? Разве ты не радуешься жизни? Разве тебя не радуется сознание своего я? Разве это не счастье, что ты можешь сказать: вот это — я, это — моя рука, моя нога. Я существую, я — плоть, я — живу. Разве тебе не нравится вот это?

Она повернулась и прижалась к нему. Даже сквозь комбинезон он чувствовал ее спелую, упругую грудь. Словно часть ее силы и молодости переливалась в него.

— Конечно, нравится.

— Тогда перестань толковать о смерти! . . . А теперь слушай, дорогой. Нам нужно решить, когда мы встретимся опять. Можно было бы опять поехать в лес, — времени прошло уже достаточно. Только ты должен поехать по другой дороге. Я все уже обдумала. Ты сядешь на поезд . . . Нет, погоди, лучше я тебе все это нарисую.

И, со своей обычной практичностью, она сгребла пыль в небольшой квадрат и веточкой из голубинового гнезда принялась рисовать карту на полу.

## IV

Уинстон обвел взглядом маленькую убогую комнатушку, расположенную на втором этаже, над лавкой господина Чаррингтона. У окна стояла громадная постель с рваным одеялом и с непокрытым валиком для подушек. Старомодные часы с двенадцатичасовым циферблатом тикали на камине. В углу, на столике с откидной крышкой, тускло поблескивало из полумрака стеклянное пресс-папье, которое он купил, когда заходил последний раз в лавку старьевщика.

В камине стояли помятая жестяная керосинка, кастрюлька и две чашки, которыми их снабдил хозяин комнаты. Уинстон зажег керосинку и поставил кипятиться воду в кастрюле. Он принес с собой целый пакет кофе Победа и несколько таблеток сахарина. Часы показывали семь двадцать или девятнадцать двадцать по-настоящему.

Глупость! Глупость! — неустанно твердило сердце. Сознательная, ничем не оправданная, самоубийственная глупость. Из всех преступлений, которые может совершить член Партии, именно это труднее всего утаить. Мысль о найме комнаты зародилась у него при виде стеклянного пресс-папье, отраженного поверхностью столика. Как он и предвидел, никаких препятствий со стороны господина Чаррингтона не встретилось. Он явно был рад тем нескольким долларом, которые это могло принести ему. Он не был шокирован и не позволил себе никаких нескромных намеков даже и тогда, когда узнал, что комната нужна Уинстону для встреч с возлюбленной. Напротив, он устремил взор куда-то в пространство и заговорил на общие темы с такой деликатностью, словно обратился вдруг в бесплотного духа.

— Уединение, — сказал он, — очень ценная вещь. Каждому хочется обзавестись своим уголком, где он мог бы иногда остаться наедине с тем, кто ему по душе. И если двое отыскивали такой уголок, то для всякого, кому это известно, молчание — долг простой вежливости. И уже совсем с отсутствующим видом господин Чаррингтон добавил, что в

доме две наружных двери и что одна из них ведет через двор в переулок.

Под окном кто-то пел. Хоронясь за муслиновыми занавесками, Уинстон осторожно выглянул. Июньское солнце стояло еще высоко, и во дворе, залитом его лучами, он увидел устрашающего вида женщину, массивную, как нормандская колонна, с багровыми сильными руками и в фартуке, свисавшем у нее с талии, как мешок. Тяжело ступая, она ходила от лохани к веревке, протянутой по двору, и развешивала какие-то квадратные белые тряпки, в которых Уинстон узнал детские пеленки. Когда рот у нее не был занят прищепками для белья, она пела сильным контральто:

То была лишь мечта безнадежная,  
Промелькнувшая ранней весной,  
Но те речи и взгляд, разбудивши мир грез,  
Унесли мое сердце с собой.

Песня появилась в Лондоне всего несколько недель тому назад. Отдел Музыки выпускал множество подобных песен, рассчитанных на пролов. Текст их сочинялся без всякого участия человека, с помощью особого прибора — версификатора. Но женщина пела так хорошо, что, несмотря на глупые слова, песня звучала почти приятно. Странно: он слышал и голос женщины, и шарканье ее ботинок по плитам двора, и крик детей на улице, и отдаленный шум движения — и всё-таки ему казалось, что в комнате царит тишина. Происходило это потому, что в ней не было телескрин.

Глупость, глупость, глупость! — подумал он опять. Можно ли сомневаться в том, что их схватят в этой комнате не дальше как через несколько недель? Но возможность получить в свое распоряжение укромный уголок под кровлей и недалеко от тех мест, где они жили, — была таким соблазном, с которым они не могли бороться. Вскоре после их свидания на колокольне дальнейшие встречи стали невозможны. Рабочий день в связи с приближением Недели Ненависти сильно увеличился. До нее оставалось еще больше

месяца, но громадные сложнейшие приготовления уже заставляли всех работать сверхурочно. В конце концов Уинстону и Юлии как-то удалось выкроить один общий свободный день. Они уговорились поехать на поляну. Вечером накануне они встретились на несколько минут на улице. Как всегда, Уинстон почти не смотрел на девушку, когда толпа несла их навстречу друг другу, но даже одного быстрого взгляда было достаточно, чтобы заметить, что она выглядит хуже, чем обычно.

— Ничего не выйдет, — прошептала она, как только убедилась, что можно начать разговор. — Я завтра не могу...

— Что?

— Не могу ехать завтра днем.

— Почему?

— Ну, по обычной причине... В этот раз начались почему-то раньше.

В первую минуту он очень рассердился. За месяц их знакомства его отношение к Юлии изменилось. Вначале он почти не испытывал физического влечения к ней. В их сближении был элемент сознательного усилия воли. Но после второго раза все пошло иначе. Запах ее волос, вкус ее губ, нежность ее кожи стали словно частью его существа или окружающего его мира. Она превратилась в физическую потребность, во что-то такое, чего он не только желал, но, как ему подсказывало сердце, и имел право желать. Когда она сказала, что не может ехать, он подумал, что она его обманывает. Но как раз в эту минуту толпа стиснула их, и они оказались рядом. Их руки случайно встретились. Он почувствовал, как она быстро пожала кончики его пальцев, как бы давая понять, что сейчас ей нужна любовь, а не желание. Он подумал, что когда живешь с женщиной, это специфическое разочарование неизбежно должно повторяться время от времени, и глубокая нежность к ней, которой он никогда прежде не испытывал, внезапно охватила его. Ему вдруг захотелось, чтобы они были мужем и женой, живущими в браке уже лет десять. Ему захотелось, чтобы они могли вот

так же, как сейчас, — только открыто, ничего не опасаясь, — идти рука об руку по улице, болтая о пустяках и заходя то в один магазин, то в другой, чтобы купить кое-что по хозяйству. А больше всего ему хотелось в этот миг, чтобы у них было свое пристанище, свой угол, где они могли бы иногда оставаться вдвоем, не чувствуя себя обязанными предаваться любовным наслаждениям при каждой встрече. Однако мысль о найме комнаты у господина Чаррингтона пришла ему на ум не в этот миг, а позже — на следующий день. И когда он поделился этой мыслью с Юлией, она, против ожидания, сразу согласилась. Оба понимали, что это безумие. Оба понимали, что умышленно делают шаг к могиле. И сейчас, сидя в этой комнате на кровати и ожидая Юлию, он опять подумал о подвалах Министерства Любви. Как странно, что человек то вдруг вспоминает о том ужасе, на который он обречен, то совсем забывает о нем. Вот он, этот ужас, ожидающий вас в будущем в назначенный час и предшествующий смерти так же верно, как 99 предшествует 100. Его нельзя избежать, но, вероятно, как-то можно оттянуть. И однако люди часто добровольно и сознательно ускоряют наступление рокового часа.

На лестнице раздались быстрые шаги. Юлия ворвалась в комнату. В руках она держала полотняную коричневую сумку; с которой он порой видел ее в Министерстве. Уинстон поднялся навстречу девушке, чтобы обнять ее, но она поспешила освободиться, потому что все еще держала сумку.

— Подожди минутку, — сказала она. — Дай сначала показать тебе, что я принесла. Сознайся, ты уже запасся этим их паршивым Кофе Победа? Я так и знала. Можешь выбросить его, оно нам не понадобится. Смотри сюда!

Она присела на корточки, открыла сумку и вывалила ключи и отвертки, лежавшие сверху. Под инструментами оказалось несколько аккуратно завернутых бумажных пакетов. Первый из них, который она протянула Уинстону, имел какой-то необычный и вместе с тем смутно знакомый вид. Он был доверху наполнен тяжелым, похожим на реч-

ной песок веществом, которое легко подавалось под руками.

— Это не сахар? — спросил Уинстон.

— Ну, конечно, сахар! Настоящий сахар, а не сахарин. А здесь буханка хлеба — белого хлеба, а не той гадости, которой нас кормят . . . Банка повидла и банка молока. А вот тут . . . Вот этим я действительно горжусь. Мне даже пришлось завернуть пакет в тряпочку, потому что . . .

Но излишне было объяснять, почему пришлось заворачивать пакет. В комнате уже распространялся густой пряный аромат. На Уинстона словно пахнуло днями раннего детства. Впрочем и сейчас этот аромат порою можно было уловить где-нибудь возле подъезда, пока не захлопывалась дверь, а иногда он вдруг таинственно растекался по улице, запруженной толпами народа, и мгновенно снова пропадал.

— Кофе! — прошептал Уинстон. — Натуральный кофе!

— Кофе членов Внутренней Партии, — подтвердила Юлия. — Целый килограмм.

— Где ты ухитрилась раздобыть все это?

— Это всё продукты, предназначенные для Внутренней Партии. Свиньи! У них ни в чем нет недостатка. Но, конечно, слуги и официанты тоже не зевают . . . Смотри, я достала еще небольшой пакетик чая.

Уинстон сел на корточки с Юлией. Он надорвал угол пакета.

— Да, — сказал он, — это не смородиновые листья. Настоящий чай.

— Почему-то сейчас появилось много чаю, — заметила Юлия и туманно добавила: — Что они, прибрали к рукам Индию или что? . . Ну, ладно, дорогой. Теперь я хочу, чтобы ты отвернулся ненадолго. Поди сядь на постели с той стороны. Только не подходи слишком близко к окну. И не поворачивайся, пока я не скажу.

Уинстон рассеянно смотрел сквозь муслиновые занавески. Женщина с багровыми руками все еще ходила от лохани к веревке. Она вынула изо рта прищепки и запела с глубоким чувством:

Говорят, время всё исцеляет,  
Что легко всё забыть навсегда,  
Но тот смех и рыданья былые  
В моем сердце звучат, как тогда.

Она, должно быть, помнила всю эту пошлятину от начала до конца. В свежем летнем воздухе ее голос звучал очень приятно, и в нем слышалась какая-то счастливая меланхолия. Певице как будто хотелось, чтобы июньский вечер длился без конца, а запасы белья были неистощимы, и чтобы она могла оставаться тут тысячелетия, развешивая пеленки и напевая свою чепуху. Уинстон с некоторым удивлением и интересом отметил про себя, что он никогда не слышал, чтобы какой-нибудь партиец пел ради собственного удовольствия и по собственному желанию. В этом, вероятно, могли бы усмотреть такой же намек на политическую неблагонадежность, как в привычке разговаривать с самим собой. Возможно, что только у людей, живущих в очень тяжелой нужде, появляется желание петь.

— Можешь повернуться теперь, — объявила Юлия.

Он повернулся и в первую минуту почти не узнал ее. Он ждал, что увидит ее обнаженной. Но она по-прежнему была одета. Превращение, которое произошло с ней, было куда более удивительным. Юлия накрашилась.

Ей, очевидно, удалось проскользнуть в какую-то лавчонку в пролетарской части города и застаться там полным косметическим набором. Губы у нее были ярко накрашены, щеки нарумянены, нос напудрен; даже под глазами был положен какой-то штришок, придававший им живость и блеск. Все это было сделано не очень умело, но и сам Уинстон был не слишком искушен в таких вещах. Никогда прежде он не видел и не мог себе представить партийки с накрашенным лицом. Перемена была поразительная. Несколько прикосновений карандаша в нужных местах сделали ее не только несравненно интереснее, но, — главное, — женственнее. Короткие волосы и мальчишеский комбинезон только подчеркива-

ли эффект. Обняв ее, он почувствовал запах искусственной фиалки. Вспомнился полумрак кухни в подвале и беззубый, пещерообразный рот старухи. Духи были те же самые, но сейчас они казались иными.

— Даже и духи? — удивился он.

— Да, милый, и духи. Знаешь, что я сделаю в другой раз? Я раздобуду где-нибудь настоящее женское платье и надену его вместо этого противного комбинезона. Надену шелковые чулки и туфли на высоких каблуках. В этой комнате я буду женщиной, а не партийным товарищем.

Они сбросили одежду и взобрались на громадную кровать красного дерева. Первый раз Уинстон раздевался в присутствии Юлии. До сих пор он стыдился своего худого, бледного тела с выступающими на икрах варикозными венами и с грязным пластырем над лодыжкой. На постели не было простыней, но ветхое одеяло, на котором они лежали, было потерто до того, что стало совершенно гладким. Размеры и упругость кровати изумили их обоих. «Она наверняка кишит клопами, — сказала Юлия, — но это неважно, правда?» Двухспальные кровати можно было видеть теперь только в домах пролов. Уинстону приходилось в детстве спать на такой постели, Юлии, насколько она помнила, — никогда.

Вскоре они задремали. Когда Уинстон открыл глаза, стрелки на часах приближались к девяти. Он не шевелился, потому что Юлия спала у него на руке. Большая часть краски с ее лица перешла на лицо Уинстона и на валик для подушек, но легкие пятна румян все еще оттеняли красоту ее скул. Желтые лучи заходящего солнца тянулись поперек постели в ногах, освещая камин, где на керосинке бурно кипела в кастрюле вода. Во дворе не слышно было более женского пения, но с улицы все еще доносился крик детей. Неужели в прошлом, — раздумывал Уинстон, — в уничтоженном Партией прошлом, мужчины и женщины считали естественным лежать вот так в прохладный летний вечер обнаженными в постели, — просто лежать и слушать мирный шум

улицы, не думая о том, что надо вставать? Неужели они любили, когда хотели, говорили, о чем хотели? Нет, определенно, такого времени не могло существовать! Юлия проснулась, протерла глаза и, приподнявшись на локте, посмотрела на керосинку.

— Половина воды выкипела, — сказала она. — Я встану и через минуту приготовлю кофе. В нашем распоряжении еще целый час. Когда у вас в Особняках Победы гасят свет?

— В двадцать три тридцать.

— У нас в общежитии в двадцать три. Но тебе надо прийти домой пораньше . . . Эй, ты! Марш отсюда, погань!

Она вдруг перегнулась через край постели, схватила с пола туфлю и тем же самым мальчишеским движением, которым на глазах у Уинстона швыряла словарем в Гольдштейна на Двухминутке Ненависти, запустила ею в угол.

— Что там такое? — спросил Уинстон с удивлением.

— Крыса. Я видела, как она высовывала свой поганый нос из-за панели. Там дыра. Во всяком случае я задала ей страху.

— Крыса? — прошептал Уинстон. — В этой комнате?

— Их везде полно, — заметила Юлия равнодушно, опять ложась на свое место. — Даже у нас в общежитии на кухне — и то водятся. Некоторые кварталы Лондона прямо кишат ими. Ты разве не слышал, что они нападают на детей? Да, да! На некоторых улицах женщины боятся оставлять ребят одних даже на две минуты. Есть такая порода громадных бурых крыс — это они нападают. Но самое отвратительное то, что эти бестии . . .

— Замолчи! — воскликнул Уинстон, плотно сжимая веки.

— Милый! Что с тобою? Ты так побледнел. Тебе нехорошо?

Она прижалась к нему, обвила руками, как будто для того, чтобы согреть и успокоить теплом своего тела. Он открыл глаза не сразу. Несколько минут он находился во власти кошмара, терзавшего его всю жизнь. Он повторялся по

ночам, почти не изменяясь. Уинстон стоял перед стеною мрака, за которой таилось что-то нестерпимое, что-то такое жуткое, что с ним невозможно было встретиться лицом к лицу. Но самым сильным впечатлением сна было чувство самообмана — он, в сущности, знал, что скрыто за стеною мрака. С невероятным напряжением, точно извлекая частицу собственного мозга, он мог извлечь на свет и это. Он просыпался всегда раньше, чем успевал узнать все до конца, но каким-то образом это было связано с тем, что говорила Юлия, когда он оборвал ее.

— Прости, — сказал он. — Все это пустяки. Я не люблю крыс, — только и всего.

— Не волнуйся, дорогой. Мы больше не увидим этой погани здесь. До того как мы уйдем, я заткну дырку мешковиной. А в следующий раз принесу гипс и заштукатурю ее.

Потрясение, пережитое им, было уже наполовину забыто. Слегка сконфуженный, он сел в постели и прислонился к спинке. Юлия встала, натянула комбинезон и приготовила кофе. Из кастрюли поднимался такой сильный и волнуемый аромат, что им пришлось закрыть окно, чтобы не привлечь чьего-нибудь внимания на улице. Уинстона поразил вкус кофе. Но еще более он удивился той своеобразной, шелковистой мягкости, которую придавал напитку сахар. За годы сахарина все это было забыто. Сунув одну руку в карман, а в другой держа ломоть хлеба с повидлом, Юлия расхаживала по комнате, равнодушно поглядывала на книжный шкаф, давала советы насчет того, как лучше починить раздвижной столик, бросалась в кресло, чтобы попробовать насколько оно удобно, и с благожелательным удивлением рассматривала нелепые часы с двенадцатичасовым циферблатом. Она переложила пресс-папье со стола на постель, чтобы рассмотреть его при лучшем освещении. Пленный, как всегда, мягким, напоминающим цвет дождевой воды, внутренним светом вещи, Уинстон взял ее из рук девушки.

— Что это такое, как ты думаешь? — спросила Юлия.

— Не знаю. По-моему, эта вещь вряд ли имела какое-

нибудь практическое применение. Потому-то она мне и нравится. Это — осколок прошлого, который еще не успели искалечить. Это — послание эпохи, отдаленной от нас, может быть, целым столетием. Надо только уметь прочитать его.

— А вот той картине, — кивнула она на гравюру, висевшую напротив — тоже сто лет?

— Больше. Я полагаю, целых двести. Точно нельзя сказать. В наше время невозможно определить возраст вещей.

Она подошла взглянуть на гравюру.

— Вот откуда эта бестия высовывала нос, — ткнула она пальцем в стену под гравюрой. — А что это за здание? Помоему, я его где-то видела.

— Это церковь или, во всяком случае, когда-то было церковью. Ее называли Св. Климентием Датчанином. — Он вспомнил отрывок стихотворения, которому его учил господин Чаррингтон, и с оттенком грусти продекламировал: — «Кольца-ленты, кольца-ленты», — зазвенели у Климента.

К его удивлению Юлия подхватила куплет:

«Фартинг больше, чем полтина», — загудели у Мартина.

«Ты мне должен», — зазвенели с колокольни Старой Бейли...

— Дальше я не помню, — сказала Юлия, — но самый конец знаю: «Свечка осветит постель, куда лечь. Сечка ссечет тебе голову с плеч».

Это походило на две фразы пароля. Однако после Старой Бейли должна была следовать еще строка. Нельзя ли как-нибудь заставить господина Чаррингтона вспомнить и ее, если что-то подсказать?

— Кто тебя этому научил? — спросил Уинстон.

— Дедушка. Он часто напевал мне это в детстве. Его расплыли, когда мне было восемь лет, — т. е. он, во всяком случае, пропал без вести... Слушай, — вдруг добавила она без всякой связи, — ты не знаешь, что такое лимон? Я виде-

ла апельсины. Это круглые желтые фрукты с толстой коркой.

— А я помню и лимоны, — сказал Уинстон. — В пятидесятых годах их было довольно много. Они были такие кислые, что от одного их вида ломило зубы.

— Ручаюсь, что за этой картиной водятся клопы, — сказала Юлия. — Я когда-нибудь сниму ее и хорошенько почищу. Мне кажется, что нам уже пора идти. Я еще должна смыть краску с лица. Какая жалость! Подожди, потом я сотру помаду и у тебя с лица.

Уинстон оставался в постели еще несколько минут. Комната постепенно погружалась в мрак. Он повернулся к свету и лежал, пристально глядя на пресс-папье. Бесконечно интересен был не коралл, а внутренняя структура вещи. В ней чувствовалась такая глубина, и вместе с тем она была прозрачна почти, как воздух. Словно поверхность стекла была небесным сводом, укрывавшим крохотный мир со своей особой атмосферой. Ему казалось, что он может проникнуть в этот мир, да он уже и был там вместе с кроватью красного дерева, с раздвижным столиком, с часами, с гравюрой на стали, и с самим пресс-папье. Пресс-папье — это комната, в которой он находится, а коралл — его жизнь и жизнь Юлии, закрепленная навеки в сердце кристалла.

## V

Сайми исчез. Однажды утром он не явился на работу. Нашлись наивные люди, не сумевшие скрыть, что заметили его отсутствие. На другой день о нем уже никто больше не вспоминал. На третий день Уинстон отправился в вестибюль Отдела Документации взглянуть на доску объявлений. Там висел список членов Шахматного Комитета, в который входил Сайми. Список выглядел почти так же, как прежде: ни одно имя не было вычеркнуто, но одним было меньше. Этого было достаточно. Сайми перестал существовать. Он никогда не существовал.

Стояла необыкновенно жаркая погода. В лабиринте Министерства, в комнатах, снабженных кондиционирующими приборами, температура была нормальной, но на улицах раскаленные тротуары обжигали ноги, а в метро, в часы самого оживленного движения, можно было задохнуться от вони. Подготовка к Неделе Ненависти была в самом разгаре, и во всех Министерствах служащие работали сверхурочно. Готовились демонстрации и митинги, лекции и военные парады, фильмы, выставки восковых фигур и программы передач по телескрину. Строились трибуны, делались чучела врагов, писались лозунги и песни, распространялись слухи, фальсифицировались фотографии. В отделе Беллетристики бригада Юлии прекратила выпуск романов и лихорадочно печатала брошюры с описанием зверств врага. Уинстон, помимо обычной работы, каждый день просиживал подолгу над старыми номерами Таймса, изменяя и приукрашивая те газетные сообщения, которые должны были цитироваться в речах ораторов. По ночам, когда шумные толпы пролов бродили по улицам, в городе царил странная лихорадочная атмосфера. Реактивные снаряды падали чаще, чем обычно, и откуда-то издали доносились раскаты чудовищных взрывов, которых никто не мог толком объяснить. Они порождали самые невероятные слухи.

Телескрин без конца передавал недавно появившуюся песню, посвященную Неделе Ненависти. Она так и называлась — «Песня Ненависти». Дикий, лающий ритм делал ее похожей скорее на грохот барабана, чем на песню. Волосы становились дыбом, когда сотни глоток выкрикивали ее под аккомпанимент тяжелой поступи марширующих колонн. Она пришлась по вкусу пролам и по ночам соперничала на улицах с «То была лишь мечта безнадежная», которая все еще оставалась популярной. Дети Парсонса день и ночь неистово наигрывали новую песню на гребенке, обернутой в туалетную бумагу. По вечерам Уинстон был занят больше, чем когда-либо. Бригады добровольцев, организованные Парсонсом, готовили свою улицу к Неделе Ненависти — рас-

шивали флаги, раскрашивали плакаты, устанавливали на крышах флагштоки. Не без риска для жизни члены бригады протягивали над улицей тросы для полотнищ. Парсонс хвастался тем, что на одних только особняках Победы будет красоваться четыреста метров флагов. Он был в родной стихии и счастлив, как жаворонок. Ссылаясь на жару и на физическую работу, он опять стал обряжаться по вечерам в трусики и в рубашку с открытым воротом. Он попевал везде: что-то толкал, тащил, пилил, приколачивал, что-то импровизировал; дружескими шутками и балагурством он подбадривал и подгонял людей, и из каждой поры его тела шёл резкий запах пота, запасы которого казались неистощимыми.

Внезапно по всему Лондону был расклеен новый плакат. Никакой надписи на нем не было, — он просто изображал идущего вперед звероподобного евразийского солдата, ростом в три или четыре метра, с бесстрастным монгольским лицом, в громадных сапогах и с прижатым к бедру автоматом. Под каким бы углом вы ни смотрели на него, непомерно увеличенное передним планом дуло автомата было устремлено прямо на вас. Плакат был наклеен на каждой стене, всюду, где еще имелось свободное место, и в таком количестве, что оно даже превышало количество портретов Старшего Брата. Пролов, обычно равнодушных к войне, всячески подхлестывали, чтобы разбудить очередной приступ их бешеного патриотизма. Словно для того, чтобы подогреть общее настроение, реактивные снаряды уносили все большее и большее число жертв. Один из них разорвался в переполненном людьми кинотеатре на Степни, похоронив под обломками несколько сот человек. Всё население окрестных районов вышло на похороны. Длинная похоронная процессия, двигавшаяся часами, вылилась в настоящую демонстрацию. Вслед за тем другой снаряд упал на пустыре, служившем детской площадкой, разорвав на куски несколько десятков детей. И снова состоялись гневные демонстрации протеста. Толпа жгла чучела Гольдштейна, а заодно сорвала и бросила в огонь сотни плакатов с изображением евразийского солда-

та. В суматохе пролы разграбили несколько магазинов. Потом поползли слухи, что снаряды направляются шпионами по радио, и двое стариков-супругов, будто бы иностранного происхождения, сами подожгли свой дом и задохнулись в дыму.

Когда Уинстону и Юлии удавалось добраться до комнаты в доме господина Чаррингтона, они, спасаясь от жары, снимали с себя все и голые ложились на непокрытую постель у распахнутого настеж окна. Крыса больше не появлялась, но клопы за время жаркой погоды расплодились невероятно. Однако, Уинстона и Юлию это не беспокоило. Грязная ли, чистая ли, комната была раем. Приходя в нее, они обсыпали все вокруг себя перцем, купленным на черном рынке, сбрасывали одежду, потные отдавались ласкам и засыпали, а, проснувшись, обнаруживали, что клопы очухались от поражения и готовят массовую контратаку.

Уже шестой, а может быть, даже седьмой раз они встречались в июне. Уинстон отучился пить джин в любое время дня и, по-видимому, не испытывал потребности в этом. Он пополнел, его варикозная язва стала подживать, оставив только темное пятно на коже повыше лодыжки; приступы кашля по утрам прекратились, и его уже не подмывало, как прежде, скорчить гримасу телескрину или прокричать во все горло проклятие. Теперь, когда у них было свое надежное убежище, почти дом, не тяготило и то, что они могут встречаться там лишь время от времени и каждый раз только на два-три часа. Важно было то, что комната над лавчонкой господина Чаррингтона существует. Сознать, что она есть и держится нерушимо, точно крепость, — было почти то же самое, что находиться в ней. Комната была их миром — заповедным миром прошлого, где свободно разгуливали допотопные существа. Господин Чаррингтон был в глазах Уинстона одним из таких существ. Направляясь к себе наверх, Уинстон обычно ненадолго останавливался побеседовать с хозяином. Старик почти не показывался на улицу, возможно даже и совсем не выходил из дому, а, с другой стороны, и

покупатели заглядывали к нему чрезвычайно редко. Он жил жизнью призрака, проводя время то в темной и тесной лавчонке, то в еще более крохотной кухоньке, где он сам готовил себе пищу и где, среди других вещей, стоял неправдоподобно старый граммофон с громадной трубой. Он был рад каждой возможности поговорить. Этот длинноносый человек в очках с толстыми стеклами и в вельветовой куртке на согнутых плечах, блуждавший по нищей лавчонке, напоминал Уинстону скорее коллекционера, чем торговца. С каким-то тихим энтузиазмом он касался то одной безделицы, то другой, — фарфоровой пробки для бутылок, поломанной табакерки с раскрашенной крышкой, латунного медальона с прядью волос давно умершего ребенка, — никогда ничего не навязывая, а просто предлагая Уинстону полюбоваться ими. Разговаривать с ним — было то же самое, что слушать звон старинного музыкального ящика. Из каких-то закоулков своей памяти он извлек еще несколько отрывков забытых стихов. В одном из них рассказывалось о двадцати четырех черных дроздах, в другом — о корове со сломанным рогом, а еще в одном — о смерти бедного Кок Робина. «Я просто подумал, что, быть может, вам это покажется интересным», — говорил он с коротким, как бы извиняющимся смешком, читая стихи. Но ему никогда не удавалось вспомнить больше двух-трех строчек из одного и того же стихотворения.

И Уинстон и Юлия знали — и это почти никогда не выходило из головы, — что такое положение не может долго продолжаться. По временам близость смерти была так же осязаема, как постель, на которой они лежали, и они кидались друг другу в объятия со страстью отчаяния, как душа грешника устремляется к последнему наслаждению, когда стрелки часов показывают пять минут до положенного срока. Но иногда они не только убаюкивали себя иллюзией безопасности, но верили даже тому, что застрахованы навек. Во всяком случае, они знали, что пока находятся в своей комнате, наверху, ничего плохого с ними не произойдет. Пробраться в комнату было и трудно и опасно, но сама она была

чем-то вроде заповедника. То же самое чувствовал Уинстон, когда, глядя на пресс-папье, думал, что можно проникнуть в его внутренний мир, и что там, в этом стеклянном мире, время остановится. Нередко они утешали себя мечтами о том, что в конце концов найдут выход из положения. Возможно, что счастье не изменит им, и связь будет тайно продолжаться тем же путем, как сейчас, до их естественной смерти. А, быть может, Катерина умрет, и они, с помощью разных тонких уловок, добьются разрешения на брак. Или вместе покончат с собою. Или, наконец, вместе бегут, потеряются из вида, научатся говорить по-пролетарски, поступят на фабрику и доживут до конца дней где-нибудь на окраине. Оба понимали, что все это чепуха и что в действительности выхода нет. А для осуществления единственно реального плана — самоубийства — им недоставало мужества. Как легкие не могут не дышать, пока есть воздух, так какой-то непобедимый инстинкт заставляет человека цепляться за каждый день и каждую неделю жизни, повседневно участвуя в созидании настоящего, у которого нет будущего.

Иногда они говорили также о своем участии в активной борьбе против Партии, не имея никакого представления о том, с чего надо начинать. Даже если мифическое Братство существует, — как найти дорогу к нему? Уинстон рассказал Юлии о странной тайной близости, которая — не то на самом деле, не то лишь в его воображении — существует между ним и О'Брайеном. Он рассказал, как его подмывает иногда подойти к О'Брайену, прямо объявить, что он — враг Партии и попросить помощи. Любопытно, что Юлия не видела в этом ничего невозможного. Привыкнув судить о людях по их внешнему виду, она считала естественным, что Уинстон мог поверить в О'Брайена с одного мимолетного взгляда. Больше того: она считала непреложной истиной, что все или почти все в душе ненавидят Партию и готовы нарушить любое ее постановление, если это не грозит опасностью. Но она не верила, что существует или может существовать организованная и широко разветвленная оппозиция.

Все рассказы о Гольдштейне и его подпольной армии, — говорила она, — чепуха, придуманная Партией в собственных интересах, хотя людям и приходится притворяться, будто они верят этой чепухе. Бесконечное множество раз на партийных митингах и на «добровольных» демонстрациях она надрывалась от крика, требуя смерти людей, имена которых ничего не говорили ей и в предполагаемые преступления которых она ничуть не верила. В дни показательных процессов она с отрядами Союза Молодежи с утра до ночи дежурила у здания суда, выкрикивая время от времени — «Смерть предателям!». На Двухминутке Ненависти она превосходила всех в брани по адресу Гольдштейна. И при всем этом она имела самое смутное понятие о том, кто такой Гольдштейн и какое течение в Партии он представляет. Она выросла после Революции и была слишком молода, чтобы помнить идеологические битвы пятидесятых и шестидесятых годов. Такой вещи, как независимое политическое движение, она не могла себе представить, и Партия казалась ей неуязвимой. Она всегда будет существовать и всегда останется такой, как есть. С нею можно бороться только тайным неповиновением или, самое большее, с помощью отдельных актов саботажа и террора.

Однако, в некоторых отношениях, Юлия оказалась более проницательной и менее восприимчивой к партийной пропаганде, чем Уинстон. Однажды, когда они заговорили о войне, Юлия немало удивила его, вскользь заметив, что, по ее мнению, никакой войны вообще нет. Реактивные снаряды, ежедневно падающие на Лондон, по всей вероятности, пускаются правительством самой Океании, просто для того, «чтобы держать народ в страхе». Эта мысль буквально никогда не приходила ему в голову. В другой раз он почувствовал даже что-то похожее на зависть к Юлии, услышав от нее, что на Двухминутке Ненависти ей приходится употреблять невероятные усилия, чтобы не расхохотаться. И, тем не менее, она переставала верить в учение Партии только тогда, когда оно затрагивало ее непосредственно. Нередко она при-

нимала официальное мифотворчество просто потому, что и ложь и правда казались ей одинаково несущественными. Значит, например, в школе, что Партия изобрела самолеты, она продолжала верить этому и до сих пор. (Уинстон вспоминал, что в конце пятидесятых годов, когда он сам учился в школе, Партия претендовала только на изобретение вертолетов; лет десять-двенадцать спустя, в школьные годы Юлии, претензии Партии распространились и на самолеты; еще одно поколение — и честь изобретения парового двигателя также будет приписана Партии). Но когда он рассказал, что самолеты существовали еще до его появления на свет и задолго до Революции, Юлия отнеслась к этому совершенно равнодушно. А не все ли, в конце концов, равно, кто их изобрел? Он был еще более смущен, когда по отдельным ее замечаниям догадался, что она, не помнит, что четыре года тому назад Океания воевала с Истазией и была в мире с Евразией. Правда, с кем бы Океания ни воевала, война казалась Юлии простым спектаклем, но всё-таки, как можно было не заметить, что имя врага изменилось? «А я думала, мы всегда воевали с Евразией», — заметила Юлия неуверенно. Это даже слегка напугало его. Самолеты были изобретены задолго до ее рождения, но смена противников в войне произошла всего четыре года тому назад, когда она, во всяком случае, была уже достаточно взрослой. Они проспорили минут пятнадцать, прежде чем ему удалось заставить ее напречь память и смутно припомнить, что действительно в свое время Истазия, а не Евразия была врагом Океании. Но она так и не поняла, какое это имеет значение. «Какая разница? — нетерпеливо заметила она. — Все равно этим проклятым войнам нет конца, и нет конца брехне».

Иногда он рассказывал ей об Отделе Документации и о том, какими бессовестными подлогами он там занимается. Но и это, видимо, ее не устрашало, как не устрашали бездны, разверзавшиеся под ногами, оттого что ложь становится правдой. Он познакомил ее с историей Джонса, Ааронсона и Рутефорда и рассказал о том, как ему однажды попал в руки

знаменательный газетный отрывок. Это тоже не произвело большого впечатления на нее. Вначале она даже не поняла сущности дела.

— Это были твои друзья? — спросила она.

— Нет. Я даже не знал их. Они были членами Внутренней Партии и гораздо старше меня. Они принадлежали к старшему, дореволюционному поколению. Я видел их всего один раз в жизни, да и то мельком.

— Так из-за чего же было волноваться? Людей, ведь убивали и будут убивать всегда. Разве это не так?

Он постарался объяснить, в чем дело:

— Нет, это был особый случай. Тут дело не в том, что кого-то убили. Ты пойми, что прошлое, — все прошлое, начиная со вчерашнего дня, — уничтожено. Единственно, в чем оно еще сохраняется — это в немногих материальных памятниках, не снабженных никакими надписями, наподобие вот этого куска стекла. Даже мы с тобою уже почти ничего не знаем ни о Революции, ни о предшествовавших ей годах. Каждый документ подделан или уничтожен, каждая книга переписана, каждая картина нарисована наново, каждая статуя, улица и здание переименованы, каждая дата изменена. И процесс этот идет изо дня в день, минута за минутой. История остановилась. Ничего не существует, кроме бесконечного настоящего. А в настоящем Партия всегда права. Я, например, хорошо знаю, что прошлое фальсифицировано, но даже в тех случаях, когда эта фальсификация — дело моих рук, я ничего не в силах доказать. Как только подделка совершилась, — все улики исчезают. Единственный свидетель — моя память, но я вовсе не уверен, что другие помнят факты, известные мне. Только в тот единственный момент моей жизни я обладал конкретным доказательством подлога спустя много лет после того, как он был совершен.

— Что же это дало тебе?

— Ничего, потому что я сразу выбросил газету. Попадись она мне в руки теперь, я, конечно, сохранил бы ее.

— А я нет, — отрезала Юдия. — Я, пожалуй, готова

рискнуть, но только ради чего-нибудь путного, а не ради клочка старой газеты. Что ты сделал бы с ней, даже если бы и сохранил?

— Возможно и не так уж много. Но, как-никак, это была улика. И если бы, допустим, я решился показать ее кому-нибудь, она, возможно, и посеяла бы некоторые сомнения. Я не думаю, что нашему поколению удастся что-то изменить. Но можно себе представить небольшие очаги сопротивления, — возникающие здесь и там группы людей, которые постепенно разрастаются и объединяются. Они могут оставить по себе какие-то следы, которые дадут возможность поколению, идущему за нами, начать там, где мы остановились.

— Меня не занимают будущие поколения, дорогой. Я интересуюсь только нашей судьбой.

— Ты, я вижу, бунтовщица лишь наполовину, — рассердился он, — от талии вниз.

Она нашла это в высшей степени остроумным и в восторге обняла его.

В различных тонкостях партийного учения она вовсе не разбиралась. Когда он пробовал заводить речь о принципах Ангсоца, о двоемыслии, об изменениях прошлого, об отрицании объективной действительности, или когда переходил на Новоречь — она путалась, зевала и говорила, что никогда в жизни этим не занималась. Всем известно, что всё это ерунда, — так зачем же утруждать себя? Она знает, когда следует кричать «ура» и когда свистеть, и больше ей не надо ничего. Если он продолжал разговор на эти темы, она просто засыпала. Она принадлежала к числу тех людей, которые способны спать в любое время дня и ночи и в каком угодно положении. Говоря с нею, он убедился, как легко носить личину правоверности, не понимая, что такое правоверность. Недаром же мировоззрение Партии легче всего удавалось навязать тем людям, которые меньше всего в нем разбирались. Их нетрудно было подбить на самые вопиющие нарушения законов жизни, ибо они не могли объять разумом

всю чудовищность того, что от них требуют, и еще потому, что недостаток интереса к общественной жизни мешал им понять происходящее. И только невежество спасло их от помешательства. Они просто глотали то, что им подсовывали, безо всякого вреда для себя, потому что всё проглоченное проходило через их сознание без остатка, как проходит перепереванное зерно по пищеводу птицы.

## VI

Итак, это случилось. Долгожданная весть пришла. Казалось, он всю жизнь ждал этой минуты.

Он шел по длинному коридору Министерства и был почти там, где когда-то Юлия сунула ему записку, как вдруг почувствовал чью-то тяжелую поступь за собой. Человек легонько кашлянул, очевидно давая понять, что хотел бы поговорить. Уинстон резко обернулся. Это был О'Брайен.

Наконец-то они стояли лицом к лицу, и единственным побуждением Уинстона было желание бежать, скорее бежать прочь. Сердце лихорадочно колотилось. Язык словно присох к гортани. О'Брайен не остановился, он только дружески коснулся на ходу руки Уинстона, и они вместе продолжали путь. В тоне той своеобразной серьезной учтивости, которая так отличала его от других членов Внутренней Партии, О'Брайен первый начал разговор.

— Я искал возможности поговорить с вами, — сказал он. — Мне недавно довелось прочесть в Таймсе одну из ваших статей, написанных на Новоречи. По-моему, вы подходите к вопросу, как настоящий ученый.

Самообладание, как будто, стало возвращаться к Уинстону.

— О, нет! — ответил он. — Я не ученый. Я только любитель. Это не мой предмет. Мне никогда не приходилось принимать активного участия в создании нового языка.

— И, тем не менее, вы обнаруживаете большой вкус, — продолжал О'Брайен. — Это не только мое мнение. Мне

пришлось недавно говорить с одним из ваших друзей, настоящим специалистом в этой области. Его имя выскочило у меня сейчас из головы.

Сердце Уинстона снова сжалось. Никто, кроме Сайми, не мог быть этим специалистом. Но Сайми не просто мертв, он ликвидирован, он — не человек. И всякая прямая ссылка на него смертельно опасна. Совершенно очевидно, что замечание О'Брайена имело какой-то скрытый смысл, должно было служить каким-то знаком. Намекая на Сайми, О'Брайен точно делал Уинстона его сообщником по небольшому преступлению мысли. Они продолжали медленно идти по коридору, пока О'Брайен не остановился. Своим странным, дружеским и как бы обезоруживающим жестом, он поправил очки на носу.

— В сущности, я собирался сказать вам вот что: я заметил, что в своей статье вы употребляете два слова, которые уже стали устаревшими. Но это произошло совсем недавно. Скажите, вам случалось видеть десятое издание словаря Новоречи?

— Нет, — ответил Уинстон. — Я полагал, что оно еще не вышло в свет. В Отделе Документации мы до сих пор пользуемся девятым.

— Десятое издание не появится, по-видимому, еще несколько месяцев. Но небольшое количество сигнальных экземпляров уже выпущено. И у меня есть один. Скажите, вы хотели бы посмотреть его?

— Чрезвычайно! — ответил Уинстон, моментально сообразив, к чему клонит О'Брайен.

— Некоторые новые изыскания весьма остроумны. Вам, по-моему, особенно понравится дальнейшие сокращения числа глаголов. Но как же мы сделаем это? Хотите, чтобы я прислал словарь с нарочным? Боюсь, что забуду — у меня ужасная память на такие вещи. Может быть, вы лучше загляните ко мне, когда для вас будет удобно? Одну минуту! Я сейчас дам вам свой адрес.

Они стояли перед телескрином. О'Брайен рассеянно по-

шарил по карманам и вытащил маленький блокнот в кожаном переплете и с золотым пером. Тут же, прямо под телеэкраном и так близко от него, что тот, кто на другом конце провода наблюдал за ними, мог легко прочесть каждую букву, он записал свой адрес, вырвал страничку и протянул Уинстону.

— Я обычно дома по вечерам, — сказал он. — Если меня не будет, слуга передаст вам словарь.

И он ушел, оставив Уинстона с запиской, которую на этот раз не нужно было прятать. Тем не менее, он постарался хорошо запомнить адрес и через несколько часов выбросил записку вместе с другими бумагами в щель-напоминатель.

Они разговаривали всего несколько минут. И все это происшествие могло иметь только один смысл: оно было придумано для того, чтобы О'Брайен мог сообщить Уинстону свой адрес. Это было необходимо потому, что не существовало иного способа узнать чей-либо адрес, как только прямо спросив его у нужного вам человека. Никаких адресных книг и справочников не было. «Если вы когда-нибудь захотите меня видеть, — как бы говорил О'Брайен, — то вот где вы найдете меня». Возможно, что в словаре окажется какое-нибудь письмо. Так или иначе, ясно одно: конспирация, о которой Уинстон мечтал, существовала, и сейчас он находится где-то на ее внешней грани.

Он знал, что рано или поздно явится на зов О'Брайена. Быть может, завтра, а, быть может, много позже — точно сказать нельзя. То, что теперь происходило, было просто результатом процесса, начавшегося много лет тому назад. Первым шагом были его тайные раздумья, которых он не звал и не мог отогнать от себя, вторым — дневник. Он шел от мысли к слову, а теперь — от слов к делу. Последний акт разыграется в Министерстве Любви. Он принимал и это. Конек заключался в начале. Но он боялся этого конца, или, вернее, чувствовал себя так, словно уже уходил из жизни, словно на него уже повеяло дыханием смерти. Разговаривая

с О'Брайеном, он испытывал дрожь во всем теле, когда становилось ясно все значение слов. Он точно ощущал сырость могилы. Иначе и быть не могло: он знал, что могила рядом и ждет его.

## VII

Уинстон проснулся со слезами на глазах. Юлия сонно привалилась к нему, пролепетав невнятно: «Что случилось?»

— Мне снилось... — начал он и тут же остановился. Слишком трудно было передать это словами. Был сон и были вызванные им воспоминания, пришедшие через несколько секунд после пробуждения.

Всё еще находясь под впечатлением сна, он лег на спину и опять закрыл глаза. Это было долгое сияющее видение, в котором вся его жизнь прошла перед глазами, как ландшафт в омытый дождем летний вечер. Все происходило в стеклянном пресс-папье, но поверхность стекла была куполом небес, и под этим куполом разливался чистый, мягкий свет, позволявший видеть бесконечно далеко. Сон был навеян одним движением руки матери Уинстона, — тем самым движением, которое тридцать лет спустя точь-в-точь повторила в кинохронике еврейка, пытаясь укрыть мальчика от пуль, прежде чем бомба, брошенная с геликоптера, не разорвала их обоих на куски. Можно сказать, что до некоторой степени весь сон и заключался в этом жесте.

— Знаешь, — снова заговорил Уинстон, — до сегодняшнего дня я думал, что убил свою мать.

— За что? — пробормотала Юлия, все еще борясь с дремотой.

— Но я не убивал ее. В физическом смысле, во всяком случае.

Во сне ему представилось, как он видел мать в последний раз, и, когда он проснулся, перед ним прошла длинная вереница незначительных событий, связанных с этим воспоминанием. По-видимому, в свое время он сознательно заставил себя их забыть.

Отец Уинстона исчез раньше, но насколько раньше — он не помнил. Гораздо лучше он припоминал всю беспорядочную, беспокойную обстановку того времени: панику, возникавшую при каждом воздушном налете; станции метро, в которых прятались от бомб; руины на улицах; непонятные прокламации, расклеенные на углах; банды молодых людей в рубашках одинакового цвета; громадные очереди у булочных; перемежающийся пулеметный огонь где-то вдали; а, главное, — вечный недостаток пищи. Он припоминал, как вместе с другими ребятами подолгу копался в помойках и в кучах мусора, разыскивая капустные листья и картофельную шелуху; иногда им доставались даже черствые корочки хлеба, с которых они тщательно соскребали золу. Помнил он и то, как они стерегли грузовики с кормом для скота, проходившие по определенному маршруту; когда машины подбрасывало на заплатках дороги, с них порою падало несколько кусочков жмыхов.

Когда отец пропал, мать не была удивлена и не проявила особого горя, но с ней произошла какая-то перемена. Она как будто утратила всякий интерес к жизни. Даже Уинстон понимал, что мать чего-то ждет и знает, что ожидаемое должно наступить. Она делала всё, что полагалось — готовила, мыла, штопала, прибирала постели, подметала пол, стирала пыль с камина, — но всё это очень медленно, как-то странно избегая всякого лишнего движения, словно движущийся манекен. Казалось, что ее большое, хорошо сложенное тело инстинктивно стремится к покою. Часами она могла сидеть почти не двигаясь на постели, няньча маленькую сестренку Уинстона — крохотную, болезненную и очень тихую девочку лет двух или трех, лицо которой из-за худобы походило на мордочку обезьянки. Редко, очень редко мать обнимала Уинстона и долго, не говоря ни слова, прижимала к себе. Несмотря на свою молодость и эгоизм, он понимал, что это как-то связано с тем, о чем никогда не говорили в доме, но что должно было произойти.

Он помнил темную и душную комнату, в которой они

жили. Чуть не половину ее занимала кровать под белым покрывалом. В камине на решетке стояла газовая конфорка, на полке хранились продукты, а на площадке лестницы имелась потемневшая от времени фаянсовая раковина, которой пользовались жильцы нескольких комнат. Припоминал он стройную фигуру матери, склонившуюся над конфоркой и что-то помешивающую в кастрюльке. Но крепче всего ему запомнилось никогда не покидавшее его чувство голода и отвратительные злые ссоры за столом. Он постоянно и назойливо приставал к матери с вопросами о том, почему ему дают мало еды, кричал, скандалил (он помнил даже тон своего голоса, который как раз в то время начал преждевременно ломаться и как-то особенно гудел), или впадал в слезливый пафос и старался выклянчить больше того, что ему полагалось. Мать всегда была готова уступить ему. Она считала естественным, что он, «мужчина», должен получать самую большую порцию, но чем больше ему давали, тем он больше требовал. Каждый раз за столом мать умоляла его не быть эгоистичным и подумать о том, что сестренка больна и тоже нуждается в питании, но всё было напрасно. Как только она кончала разливать, он принимался дико орать, старался вырвать у нее кастрюлю и половник, хватал куски с тарелки маленькой сестры. Он знал, что обрекает их обеих на голод, но ничего не мог сделать с собою; у него даже было такое чувство, что он имеет на это право. Неутолимый голод был ему оправданием. В промежутки между едой, если мать не смотрела за ним, он постоянно крал продукты из жалких запасов, хранившихся на полке.

И вот как-то однажды был выдан шоколад. Уже несколько недель, если не месяцев, они не получали шоколада. Он и сейчас хорошо видел этот драгоценный крохотный кусочек. На троих им выдали одну двухунцовую плитку (тогда еще считали на унции). Ясно было, что ее следует разделить на три равных части. Внезапно — словно заговорил кто-то другой — он услышал свой хриплый басок, громко требовавший всю плитку себе. «Не будь жадным», — сказала мать.

Начался бесконечный, нудный спор, с криками, с жалобным хныканьем, со слезами, с шумными возражениями и с торговлей. Ухватившись обеими ручонками за шею матери, сестра, точь-в-точь, как маленькая обезьянка, сбоку смотрела на него большими печальными глазами. В конце концов мать отломала три четверти шоколада и протянула Уинстону, а остаток отдала дочери. Держа шоколад в руке, девочка с тупым недоумением рассматривала его, очевидно, не совсем понимая, что это такое. С минуту Уинстон наблюдал за нею. Потом рванулся вперед, выхватил шоколад и побежал к дверям.

— Уинстон! Уинстон! — закричала мать вдогонку. — Вернись! Вернись и отдай шоколад сестре!

Он остановился, но не пошел назад. Встревоженный взгляд матери был пристально прикован к его лицу. Даже в этот миг она думала о том, чему он не умел найти названия и что вот-вот должно было случиться. Сообразив, что у нее что-то отняли, сестренка залилась тоненьким жалобным плачем. Мать сжала девочку в объятиях и спрятала ее лицо у себя на груди. Что-то в этом жесте говорило Уинстону, что сестренка умирает. Он повернулся и побежал вниз по лестнице, сжимая в руке тающий шоколад.

Больше он никогда не видел матери. Жадно проглотив шоколад, он почувствовал что-то вроде угрызений совести и долго слонялся по улицам, пока голод не погнал его домой. Вернувшись, он обнаружил, что мать пропала. К тому времени такие исчезновения людей стали уже обычными. Всё в комнате оставалось на своих местах, не было только матери и сестры. Они не захватили ничего из одежды, даже пальто матери. Уинстон и теперь не был уверен, что мать погибла. Весьма возможно, что ее просто отправили в концлагерь, а сестра, так же, как это случилось с самим Уинстоном, могла оказаться в одном из приютов для беспризорных детей (или Исправительных Центров), расплодившихся в результате гражданской войны. А, может быть, сестру послали вместе с

матерью в концлагерь или просто бросили где-нибудь умирать.

Впечатления сна все еще были живы, особенно тот укрывающий, оберегающий жест матери, в котором и заключалось всё откровение. Вспомнился другой сон, виденный два месяца тому назад, и то, как мать тогда смотрела на него с тонущего корабля сквозь темную завесу воды, уже находясь где-то в пучине и с каждым мигом погружаясь всё глубже и глубже в неё. Совершенно так же мать смотрела на него сегодня, сидя на постели, покрытой старым стеганым одеялом. И так же, как тогда, уцепившись за мать, сидела девочка.

Он рассказал Юлии историю исчезновения матери. Не открывая глаз, она повернулась на другой бок и устроилась в кровати поудобнее.

— Я вижу, ты в то время был дрянным маленьким поросенком. — пробормотала она. — Все дети поросята.

— Да. Но главное во всей этой истории то . . .

По ее дыханию он понял, что она опять спит. Ему хотелось поговорить еще о матери. По обрывистым воспоминаниям он представлял ее себе довольно заурядной женщиной и натурой мало одаренной; но он знал, что ей были присущи некие благородство и нравственная чистота, проистекавшие просто из того, что она всегда прислушивалась к голосу своей совести. У нее был собственный духовный мир, не поддающийся влиянию извне. Она не могла себе представить, что действие, которое не достигает цели, тем самым утрачивает и свой смысл. Если вы кого-то любите — вы любите, и если вам нечего дать, вы просто дарите свою любовь. Когда последний кусок шоколада исчез, мать ждала дитя в объятиях. Это было бесполезно, это не давало ничего, не могло вернуть шоколада, не могло предотвратить смерти ребенка или ее собственной, но казалось матери естественным. Беженка в лодке так же заслоняла мальчика рукой, хотя рука могла спасти его от пуль не больше, чем листок бумаги. Ужасно не то, что Партия лишила вас всех материальных благ, а то, что вместе с этим, она убедила вас будто простые

человеческие чувства и порывы сами по себе не стоят ничего. Всё, что вы пережили и чего вам не пришлось пережить, всё, что вы совершили и чего не совершали — теряет всякий смысл с того момента, как вы очутились в когтях Партии. Рано или поздно вы исчезнете, и ни о вас самих, ни о ваших делах никто больше не услышит. Вы начисто вычеркнуты из истории. Люди, жившие до Революции, вероятно, отнеслись бы к этому безразлично, потому что они и не пытались влиять на историю. Или руководили личные симпатии, в которых они не сомневались. Важны были частные отношения между людьми. Поэтому и слезы, и объятия, и слово, сказанное умирающему, и даже совершенно бесполезный душевный порыв представляли ценность сами по себе. У пролов, — вдруг подумал Уинстон, — эти отношения сохранились до сих пор. Они верны не Партии, не стране и не идее, а друг другу. Впервые в жизни он думал о пролах без презрения и не просто как о косной силе, которая когда-нибудь проснется и возродит мир. Пролы остались людьми. Их сердца не очерствели. Ими и теперь руководят простые извечные чувства, которым он, Уинстон Смит, должен учиться наново, прибегая к помощи рассудка. Размышляя об этом, он, без видимой связи с остальным, вспомнил о том, как несколько недель тому назад увидел на тротуаре оторванную кисть человеческой руки и спихнул ее ногой в канаву, точно капустную кочерыжку.

— Мы не люди, — громко произнес он. — Пролы — люди, а мы нет.

— Почему? — спросила Юлия, снова проснувшись.

Он помолчал немного.

— Думала ли ты когда-нибудь о том, — снова заговорил он, — что самое лучшее для нас с тобой — просто выйти сейчас отсюда, разойтись, пока не поздно, в разные стороны и никогда больше не встречаться?

— Да, дорогой мой, думала не раз. Но, все равно, я этого никогда не сделаю.

— Удача недолго будет нас сопровождать. Ты молода.

Ты ничем не выделяешься и у тебя такой невинный вид. Если ты станешь держаться подальше от людей, вроде меня, ты проживешь еще лет пятьдесят.

— Нет. Обо всем этом я уже думала и думала. Я пойду той же дорогой, что и ты. И не тревожь себя, пожалуйста, напрасно. Я выживу и так — у меня хватит силы.

— Мы можем оставаться вместе еще полгода, год. Потом нас обязательно разлучат. Понимаешь ли ты, какое страшное одиночество нас ожидает? Когда нас схватят, мы ничем, решительно ничем не сможем помочь друг другу. Признаюсь я на следствии или не признаюсь — всё равно, ты будешь расстреляна. В мире нет ничего такого, что я мог бы сделать или сказать или, напротив, о чем я мог бы умолчать, чтобы отсрочить твою смерть хотя бы на пять минут. Ни один из нас не будет ничего знать о судьбе другого. Мы будем бессильны — бессильны в полном смысле слова. Поэтому важно лишь одно: чтобы мы не изменили друг другу, не предали, хотя и это, в общем, не изменит ничего.

— Если ты имеешь в виду «признание», то, конечно, мы признаемся, — сказала Юлия. — Все признаются. Этого не избежишь. На то у них и существуют пытки.

— Я говорю не о признании. Признание — еще не измена. Важно не то, что говорит или делает человек, а что он чувствует. Вот если они заставят меня разлюбить тебя — это будет настоящее предательство.

Она с минуту подумала над этим.

— Нет, — решила она наконец, — этого им не добиться. Это единственное, чего они не в силах сделать. Можно заставить говорить всё, но нельзя заставить верить сказанному. Нельзя влезть в душу человека.

— Вот именно, — подтвердил он, укрепляясь в своей надежде. — Душа человека недосягаема даже для них, это правда. И если только ты сознаешь, как важно остаться человеком, даже в том случае, когда это ничего не может тебе дать, — ты выходишь победителем из схватки.

Он вспомнил о телескрине с его никогда не дремлющим

оком. Можно следить за вами дни и ночи, но если вы умеете владеть собою, вы перехитрите их. При всей их изобретательности, им никогда не научиться читать мысли человека. Возможно, что это несколько менее верно, когда вы по-настоящему оказываетесь у них в лапах. Никто не знает в точности, что происходит в Министерстве Любви, но догадываться всё же можно: пытки, наркотики, чувствительные приборы, регистрирующие реакцию вашей нервной системы, постепенное понижение вашей сопротивляемости с помощью бессоницы, одиночества и конвейерных допросов. Обвиняемый, во всяком случае, не может утаить фактов. Их выведывают на допросах или вырвут под пытками. Но если говорить не просто о том, чтобы выжить, а о том, чтобы остаться человеком, то факты, в конце концов, теряют значение. Вашего умонастроения им не изменить, потому что и вы сами, даже при желании, не в силах это сделать. До мельчайших подробностей они могут установить всё, что вы говорили, делали и думали, но сокровенный внутренний мир человека, непонятный даже ему самому, останется недостижимым.

## VIII

Свершилось! Наконец это свершилось!

Они стояли в мягко освещенной комнате, имевшей форму удлиненного прямоугольника. Пол устланы роскошные синие ковры, по которым нога скользила, как по бархату. Телескрин был приглушен до едва слышного шопота. В противоположном конце комнаты, под лампой с зеленым абажуром, обложившись со всех сторон бумагами, сидел за письменным столом О'Брайен. Он не потрудился поднять даже головы, когда слуга ввел Юлию и Уинстона.

Уинстону казалось, что от волнения он потерял дар речи. «Свершилось, наконец, свершилось», — вот всё, что пронеслось у него в сознании. Конечно, их решение прийти сюда, да еще вдвоем в одно и то же время было такой глупостью, которой не оправдывало даже то, что они пришли

разной дорогой и встретились лишь у дверей О'Брайена. Надо обладать стальными нервами, чтобы пробраться в такое место. Только в самых редких случаях простому смертному удавалось повидать жилище члена Внутренней Партии или даже проникнуть в те районы города, где находятся эти жилища. Вся атмосфера этих гигантских жилых блоков — их богатство и размах во всем, непривычный запах хорошей пищи и хорошего табаку, скользящие с неправдоподобной скоростью бесшумные лифты, снующие повсюду слуги в белых костюмах — все это поражало и подавляло. Хотя Уинстон и запасся хорошим предлогом для прихода сюда, его всю дорогу мучил страх, что из-за угла вот-вот появится охранник в черной форме, потребует документы и прикажет удалиться. Однако слуга О'Брайена впустил их беспрепятственно. Это был низкорослый и черноволосый человек в белом пиджаке, с ромбоидальным, совершенно бесстрастным лицом, походившим на лицо китайца. Пол коридора, по которому он их повел, покрывал мягкий ковер-дорожка. И ковер, и стены, облицованные панелью, и кремовые обои — всё сверкало утонченной чистотой. Это тоже не могло не изумлять: Уинстон никогда в жизни не видел коридора, стены которого не были бы замазаны от прикосновения тел.

О'Брайен, очевидно, весь был поглощен бумагой, которую держал в руках. Грубое лицо, склоненное так, что была видна линия носа, имело грозное и умное выражение. Секунд двадцать он сидел не двигаясь, потом потянул диктограф и на смешанном министерском жаргоне продиктовал:

«Пункты первый запятая пять запятая семь полноутверждены точка предложение содержащееся пункте шесть граничит двуплюснелепостью мыслепреступление аннулировать точка полностроительству неприступать дополучения плюскалькуляции эксплуатации оборудования точка конец».

Он неторопливо поднялся и, бесшумно ступая по коверу, направился к ним. Вместе с последними словами Новоречи исчез, казалось, и налет официальности, но всё же лицо О'Брайена было мрачнее, чем обычно, как будто он был не-

доволен тем, что ему помешали. Страх, терзавший Уинстона, вдруг сменился простым замешательством. А ведь очень может быть, что он глупо попал впросак! Из чего он, в самом деле, заключил, что О'Брайен — политический заговорщик или что-то вроде этого? Ни малейших доказательств, кроме одного, случайно перехваченного взгляда да туманного намека, у него не было; все прочее относилось к области его тайных мечтаний и снов. Он теперь не мог бы оправдаться даже тем, что пришел за словарем, потому что всё равно это не объясняло присутствия Юлии. Проходя мимо телескрин, О'Брайен, очевидно, что-то вспомнил. Он остановился, сделал шаг в сторону и повернул выключатель на стене. Раздался резкий треск. Голос умолк.

У Юлии вырвался легкий возглас изумления. Уинстон на минуту забыл страх.

— Как? — не удержался он. — Неужели вы можете выключать его?

— Да, — сказал О'Брайен, — можем. Мы пользуемся этой привилегией.

Он стоял прямо перед ними. Его массивная фигура возвышалась над их головами и выражение его лица всё еще трудно было определить. Он ждал, — сурово ждал, когда Уинстон заговорит. Но чего он ждал? Даже и теперь он всё еще имел вид делового человека, недоумевающего, зачем его оторвали от занятий. Все трое молчали. После того, как телескрин умолк, комната казалась погруженной в гробовую тишину. Бесконечно долгие, тянулись одна за другой секунды. Уинстон с трудом выдерживал устремленный на него взгляд О'Брайена. Внезапно лицо последнего исказило что-то, похожее на улыбку. Своим характерным жестом О'Брайен поправил на носу очки.

— Я должен сказать или вы хотите сами? — осведомился он.

— Я сам скажу, — быстро произнес Уинстон. — Эта штука, — кивнул он на телескрин, — действительно выключена?

— Все выключено. Мы одни.

— Мы пришли к вам потому . . .

Он осекся, потому что вдруг почувствовал всю неясность побуждений, которые привели его сюда. Как можно объяснить, зачем он здесь, если он и сам не знает, какой именно помощи ждет от О'Брайена? Он ринулся дальше, сознавая, как неубедительно и вместе с тем претенциозно звучат его слова.

— Мы думаем, что существует какой-то заговор, какая-то тайная антипартийная организация, и что вы замешаны в ней. Мы хотим принадлежать к этой организации и работать для нее. Мы — враги Партии. Мы не верим в принципы Ангсоца. Мы — преступники мысли. Кроме того, мы состоим в незаконном сожительстве. Всё это я говорю вам потому, что мы вам верим. Если вам угодно, чтобы мы инкриминировали себе и другие преступления — мы готовы . . .

Он остановился и посмотрел через плечо, чувствуя, что дверь открылась. Так оно и было: маленький, желтолицый слуга, не постучавшись, вошел в комнату. Уинстон заметил у него в руках поднос с графином и стаканами.

— Мартин — один из наших, — невозмутимо объяснил О'Брайен. — Давайте вино сюда, Мартин. Поставьте его на круглый столик. Как у нас со стульями? Хватит? Значит, мы можем сесть и потолковать спокойно. Берите стул и вы, Мартин. Есть дело. Можете минут на десять перестать быть слугою.

Человечек сел весьма непринужденно, но всё же с видом, подобающим слуге — с видом камердинера, наслаждающегося привилегией. Уинстон уголком глаза наблюдал за ним. В голове мелькнула мысль: вся жизнь этого человека в том, чтобы играть роль, и даже на минуту он боится выйти из нее. О'Брайен взял графин и наполнил стаканы темно-красной жидкостью. Это напоминало Уинстону, как он очень давно когда-то видел на стене здания или на щите для реклам громадную бутылку из электрических огней; время от времени бутылка приподнималась и выливала содержимое в

стакан. При взгляде сверху жидкость казалась почти черной, но в графине отсвечивала, как рубин. От нее шел кисло-сладкий запах. Уинстон видел, что Юлия, подняв стакан, с нескрываемым любопытством нюхает напиток.

— Это — вино, — пояснил О'Брайен, слегка ухмыляясь. — Вам, конечно, приходилось читать о нем в книгах. Боюсь, что члены Внешней Партии не слишком часто его видят. — Он снова придал своему лицу важное выражение и поднял стакан. — Я думаю будет уместно начать с тоста за чье-нибудь здоровье. За нашего Вождя — за Эммануила Гольдштейна!

С чувством, похожим на воодушевление, Уинстон взял за стакан. О вине он в свое время читал и мечтал. Подобно стеклянному пресс-папье или полузабытым стихам господина Чаррингтона, оно принадлежало временам исчезнувшего романтического прошлого — «старым временам», как он их называл в своих тайных раздумьях. Он почему-то всегда думал, что вино должно быть очень сладким, как повидло из черной смородины, и моментально опьяняющим. Теперь, отпив из своего стакана, он определенно был разочарован. Но, на самом деле, после многих лет джина, ему просто было трудно оценить напиток. Он поставил пустой стакан на место.

— Значит, в самом деле, есть такая личность, как Гольдштейн? — спросил он.

— Да. И он жив. Но где он — я не знаю.

— А заговор, организация? Она тоже существует? Это не просто выдумка Полиции Мысли?

— Нет, это не выдумка. Мы называем эту организацию Братством. Вам никогда не удастся узнать больше того, что она существует и что вы принадлежите к ней. Я еще вернусь к этому позже. — О'Брайен взглянул на часы. — Даже для члена Внутренней Партии неразумно выключать телескрин больше, чем на полчаса. Вам не следовало приходить сюда вместе, и вы, во всяком случае, должны уйти порознь. Вы, товарищ, — обратился он к Юлии, — уйдете первой. В нашем

распоряжении около двадцати минут. Вам, я полагаю, ясно, что я должен начать с некоторых вопросов. В самых общих чертах, — что вы собираетесь делать?

— Всё, что в наших силах, — ответил Уинстон.

О'Брайен слегка повернулся, так что оказался прямо против Уинстона. Он почти не обращал внимания на Юлию, считая, очевидно, что Уинстон может говорить и за нее. На минуту веки его опустились. Потом он начал задавать вопросы ровным, ничего не выражавшим голосом, словно все это было простой рутинной или чем-то вроде катехизиса, и словно все ответы были ему наперед известны.

— Вы готовы принести себя в жертву?

— Да.

— Вы готовы совершить убийство?

— Да.

— Готовы совершать акты саботажа, которые могут стоить жизни сотням невинных людей?

— Да.

— Готовы предать свою страну иностранцам?

— Да.

— Готовы обманывать, подделывать, шантажировать, развращать умы малолетних, способствовать распространению наркотиков и венерических болезней, поощрять проституцию, — готовы делать всё, что может деморализовать и ослабить Партию?

— Да.

— Если, например, нам для каких-то целей будет нужно, чтобы вы плеснули серной кислотой в лицо ребенка, вы готовы это сделать?

— Да.

— Вы готовы изменить свой облик и прожить остаток вашей жизни грузчиком или официантом?

— Да.

— Если нам понадобится, чтобы вы покончили с собой, вы сделаете это, когда вам прикажут?

— Да.

— Вы, — я разумею вас обоих, — готовы разлучиться и никогда более не встречать друг друга?

— Нет! — вмешалась Юлия.

Уинстону казалось, что протекло немало времени, прежде чем он ответил на вопрос О'Брайена. На миг он как бы даже онемел. Язык беззвучно шевелился, формируя по слогам то одно слово, то другое. Но пока он вслух не произнес ответа, он и сам не знал, что скажет. «Нет»! — проговорил он наконец.

— Вы хорошо сделали, что сказали это, — заметил О'Брайен. — Мы должны всё знать.

Он повернулся к Юлии и заговорил немного выразительнее, чем до того:

— Понимаете ли вы, что если он и останется в живых, он может превратиться в совершенно иного человека? Возможно, что придется даже изменить его наружность. Лицо, движения, руки, голос, цвет волос, — все станет иным. Да и вы сами, быть может, станете другой. Наши хирурги могут изменить внешность человека до неузнаваемости. Иногда это необходимо. Иногда приходится даже прибегать к ампутации конечностей.

Уинстон не удержался от того, чтобы не взглянуть еще раз искоса на монгольское лицо Мартина. Никаких рубцов не было видно. Юлия чуть побледнела, отчего веснушки резко выступили на лице, но глаза ее смело смотрели на О'Брайена. Едва слышно она прошептала что-то похожее на согласие.

— Хорошо. Значит и это решено, — сказал О'Брайен.

На столе стояла серебряная папиросница. С довольно рассеянным видом О'Брайен придвинул ее Юлии и Уинстону, взял сигарету сам, встал и принялся расхаживать по комнате, как будто это помогало ему размышлять. Уинстон никогда не видел таких толстых и туго набитых сигарет; бумага, из которой они были сделаны, отливала непривычной мягкостью шелка. О'Брайен снова взглянул на часы.

— Вам лучше пойти в буфет, Мартин, — сказал он. —

Через четверть часа я включу. Но, прежде чем уходить, взгляните хорошенько в лица этих товарищей. Вы с ними еще встретитесь. Я, может быть, и не увижу их.

Черные глаза человечка забегали по их лицам совершенно так же, как обшаривали их при входе, у парадной двери. В поведении слуги не было ни тени симпатии. Он старался запомнить их наружность, сами же они его ничуть не интересовали, — так, по крайней мере, казалось. А, может быть, — подумал Уинстон, — эта синтетическая физиономия и не способна менять выражение? Затем, не говоря ни слова и не попросившись, Мартин удалился, бесшумно притворив дверь за собою. О'Брайен продолжал расхаживать по комнате, сунув одну руку в карман черного комбинезона. В другой он держал сигарету.

— Вы понимаете, — опять заговорил он, — что вам придется вести бой вслепую. Вы будете вечно пребывать в неведении. Вы будете получать приказы и исполнять их, не зная, зачем это нужно. Позднее я пришлю вам одну книгу, — она даст вам понятие о подлинной структуре общества, в котором мы живем, и о нашей стратегии его уничтожения. После того, как вы прочтете эту книгу, вы станете полноправными членами Братства. Но всё, что лежит между генеральными и текущими задачами нашей борьбы, навсегда останется вам неизвестным. Я говорю вам: Братство существует. Но я не могу сказать, насчитывает оно сотню членов или десять миллионов. Вы лично не будете знать даже и десятка человек. У вас будет всего три или четыре связи, которые, по мере исчезновения одних членов, будут заменяться другими. Первая из этих связей была подготовлена. В дальнейшем все приказы пойдут через меня. Если мы сочтем необходимым снестись с вами, — это будет сделано через Мартина. Когда вы будете, наконец, арестованы, вам придется покаяться. Это неизбежно. Но вы не сможете покаяться ни в чем ином, кроме ваших собственных поступков. Если не считать горсточку лиц, не имеющих никакого значения, вам некого будет выдать. Вероятно, вы не сможете выдать даже меня. К тому

времени я, быть может, буду уже мертв или стану другим человеком, с другим обликом.

Он продолжал ходить взад и вперед по мягкому ковру. В его движениях, несмотря на всю массивность его фигуры, была замечательная грация. Она проявлялась даже в том, как он опускал руку в карман или манипулировал сигаретой. В нем чувствовалась не только сила, но, — в гораздо большей степени, — уверенность в себе, в сочетании с легкой иронией, и умение понимать людей. Как бы ревностно он не служил делу, все равно узость фанатика была ему чужда. Когда он начинал говорить об убийствах и самоубийстве, о венерических болезнях, об ампутации конечностей или о пластических операциях, — в его голосе была слышна усмешка. «Это неизбежно, — как бы говорил он, — и сейчас нас это не должно пугать; но когда жизнь снова станет жизнью, мы этого не допустим». Уинстон смотрел на О'Брайена с восхищением, почти с обожанием. На какой-то промежуток времени призрак Гольдштейна был забыт. Когда вы глядели на мощные плечи О'Брайена, на угловатое лицо, такое безобразное и, вместе с тем, такое интеллигентное, вы чувствовали, что в мире нет ничего, перед чем не устоял бы этот человек. Не существует хитрости, способной обмануть его, и нет опасности, которой он не предвидит. Даже Юлия поддалась, видимо, обаянию. Забыв о потухшей сигарете, она напряженно слушала. О'Брайен продолжал:

— До вас должны были дойти слухи о Братстве. И у вас, конечно, сложилось свое представление о нем. Ваше воображение рисует гигантскую армию подпольщиков, тайные встречи в подвалах, знаки на стенах, опознавание с помощью пароля или особого движения руки. Ничего этого нет. Члены Братства не имеют возможности опознать друг друга, и каждый из них связан только с горсточкой других. Сам Гольдштейн, попади он завтра в руки Полиции Мысли, не мог бы дать полного списка членов или даже указать, как его можно получить. Такого списка вообще не существует. Братство нельзя уничтожить, потому что это необычная

организация. Оно держится только несокрушимой идеей. И вы сами ни в чем другом, кроме идеи, не найдете опоры. Не ждите ни дружбы, ни поддержки. Когда вы, наконец, будете арестованы, никто вам не окажет помощи. Мы никогда не помогаем нашим членам. В крайнем случае, когда совершенно необходимо, чтобы человек молчал, мы можем подсунуть в дверь его камеры бритвенное лезвие. Вам надо научиться жить, не ожидая результатов и не питая никаких надежд. Вы будете работать какое-то время, затем будете арестованы, принесете покаяние и — умрете. Это всё, что ждет вас впереди. У нас нет возможности заметно изменить что-либо на протяжении нашей жизни. Мы — мертвецы. Наша истинная жизнь — в будущем. Там мы займем свое место, как горсть пыли и истлевших костей. Но когда наступит это будущее — не известно никому. Быть может, через тысячу лет. В настоящем нам не остается ничего иного, как постепенно, шаг за шагом, расчищать путь здравомыслию. Мы не можем действовать на коллектив. Мы должны передавать наше знание от человека к человеку, из поколения в поколение. При наличии Полиции Мысли другого пути нет.

Он остановился и взглянул в третий раз на часы.

— Вам пора идти, товарищ, — обратился он к Юлии. — Пойдите! Графин еще почти полон.

Он налил всем троим и поднял свой стакан.

— За что же мы выпьем теперь? — спросил он с прежней, едва уловимой иронией в голосе. — За то, чтобы нам удалось сбить с толку Полицию Мысли? За смерть Старшего Брата? За человечество? За будущее?

— За прошлое! — сказал Уинстон.

— Проще важнее, — торжественно подтвердил О'Брайен.

Они опорожнили стаканы, и через минуту Юлия поднялась уходить. О'Брайен взял с этажерки коробку с таблетками и посоветовал Юлии положить одну из них в рот. Лифтеры очень наблюдательны, — сказал он, — и могут заметить, что от нее пахнет вином. Как только дверь за Юлией

закрылась, он забыл о ней. Сделав еще несколько шагов по комнате, он остановился.

— Необходимо выяснить еще две-три детали, — сказал он. — У вас, я полагаю, уже есть какая-нибудь тайная квартира?

Уинстон рассказал о комнате над лавкой господина Чаррингтона.

— Ну, что ж, это пока годится. Позднее мы подыщем для вас что-нибудь другое. Явки надо менять почаще. Тем временем я постараюсь как можно скорее переслать вам книгу, — Уинстон заметил, что даже О'Брайен произносит это слово, как курсив. — Я имею в виду книгу Гольдштейна. Мне понадобится несколько дней, чтобы раздобыть ее. Для вас, конечно, ясно, что количество существующих экземпляров не так уж велико. Полиция Мысли охотится за книгой и уничтожает ее почти так же быстро, как мы размножаем. Но эта охота бесполезна. Книгу нельзя уничтожить. Если даже исчезнет последний экземпляр, мы можем воспроизвести ее почти дословно. Скажите, вы ходите на работу с портфелем?

— Обычно, да.

— Как он выглядит?

— Черный, очень поношенный, с двумя застёжками.

— Черный, с двумя застёжками, очень поношенный, — отлично. В недалеком будущем, — я не могу назвать дня точно, — к вам во время работы поступит сообщение, в котором будет опечатка. Вы попросите повторить его. На следующий день вы пойдете в Министерство без портфеля. На улице вас остановит человек и скажет: «По-моему, вы уронили портфель?» В портфеле, который вы получите от него, будет экземпляр книги Гольдштейна. Вы должны вернуть ее в течение четырнадцати дней.

Наступило краткое молчание.

— Нам остается несколько минут, — сказал О'Брайен. — Мы с вами еще встретимся. Но, если встретимся, то . . .

Уинстон поднял на него глаза.

— . . . то там, где не бывает мрака? — сказал он.

Нимало не удивившись, О'Брайен утвердительно кивнул.

— Там, где не бывает мрака, — повторил он, словно сразу уловив намек. — А пока, скажите: есть у вас какая-нибудь просьба, которую вам хочется высказать до ухода? Какое-нибудь поручение? Вопрос?

Уинстон задумался. Нет, спрашивать, казалось, было не о чем. Еще меньше хотелось заводить отвлеченный разговор на возвышенные темы. И, вместо того, чтобы думать об О'Брайене или о Братстве, он внезапно увидел перед собою, как бы в одной общей картине, темную спальню, в которой провела последние дни мать, комнату над лавкой господина Чаррингтона, стеклянное пресс-папье, гравюру на стали в раме палисандрового дерева. И, почти наобум, он сказал:

— Приходилось вам когда-нибудь слышать стихи, которые начинаются так: «Кольца-ленты, кольца-ленты», «зазвенели у Климента»? . . .

О'Брайен опять кивнул. В тоне своей обычной серьезной учтивости он продекламировал стансы:

«Кольца-ленты, кольца-ленты»,  
Зазвенели у Климента,  
«Фартинг больше, чем полтина»,  
Загудели у Мартина,  
«Ты мне должен», прозвенели  
С колокольни Старой Бейли,  
«Знаю, знаю, денег нет!» —  
Пробасил Шордич в ответ.

— О! Да вы знаете и последнюю строчку? — воскликнул Уинстон.

— Да, и последнюю. Боюсь, однако, что вам пора идти. Постойте! Позвольте и вам предложить одну таблетку.

Когда Уинстон встал, О'Брайен подал ему руку. Пальцы Уинстона хрустнули от мощного рукопожатия. У дверей Уинстон оглянулся, но О'Брайен, видимо, уже почти забыл о нем. Держа руку на выключателе телескрин, он ждал. За

его спиной Уинстон видел письменный стол с лампой под зеленым абажуром, а на столе — проволочные корзинки, полные бумаг, и диктограф. Дело было сделано. Через тридцать секунд, — мелькнуло у Уинстона, — О'Брайен вернется к прерванной и столь необходимой для Партии работе.

## IX

Уинстон вымотался до того, что стал словно желатиновым. Желатин — верное слово, и оно пришло на ум само собой. Тело, как желе, дрожало от слабости и, как желе, было прозрачно. Ему казалось, что руки у него просто просвечивают. Организм был совершенно обескровлен сумасшедшей работой. Он так похудел, что оставались только кожа да кости. Нервы будто обнажились, все чувства были обострены до крайности. Комбинезон тер плечи, каждый шаг отдавался болью в ногах, и когда Уинстон пробовал разжимать и сжимать пальцы, он слышал хруст суставов.

Как и все служащие Министерства, за пять дней он отработал свыше девяноста часов. Но теперь все это оставалось позади, и до завтрашнего утра он был полностью свободен, в том числе и от партийных нагрузок. Он мог провести на своей тайной квартире шесть часов, а потом еще девять — дома, в постели. В рассеянных лучах вечернего солнца он брел по грязной улице к лавчонке господина Чаррингтона, все время поглядывая, не покажется ли патруль, хотя в душе был убежден, что сегодня вечером нечего опасаться. Тяжелый портфель, который он держал в руке, бил при каждом шаге по колену, и от этого по ноге пробегали мурашки. В портфеле находилась книга, которую он получил шесть дней тому назад. Он еще не только не заглядывал в нее, но даже и не знал, как она выглядит.

На шестой день Недели Ненависти, после бесконечных шествий и речей, пения и криков, после размахивания флагами и плакатами, после фильмов, выставок, непрерывной барабанной дроби, визга труб, тяжелого топота марширую-

щих колонн, гроыхания танковых гусениц, рева воздушных эскадрилий и грохота орудий — после шести дней всего этого, когда напряжение достигло высшей точки и общая ненависть к Евразии распалилась настолько, что толпа была готова растерзать в клочки две тысячи евразийских военных преступников, публичной казнью которых должна была закончиться Неделя, — как раз в этот последний момент и было объявлено о том, что Океания не находится больше в состоянии войны с Евразией. Океания воевала с Истазией. Евразия была союзницей. О том, что произошла какая-то перемена, разумеется, прямо не говорилось. Просто, везде в одно и то же время и с поразительной неожиданностью стало известно, что враг — не Евразия, а Истазия. В момент, когда это случилось, Уинстон находился с демонстрацией на одной из главных лондонских площадей. Дело происходило поздно вечером, и в мертвящих потоках электрического света выделялись только белые лица и алые знамена. На площади стояла толпа в несколько тысяч человек, в том числе около тысячи школьников в форме Юных Шпионов. С трибуны, задрапированной кумачом, неслась зажигательная речь оратора — члена Внутренней Партии. Это был тощий невысокий человек с непомерно длинными руками и с большим лысым черепом, с которого свисало всего несколько жиденьких прядей. Невзрачная фигурка, походившая на злого гнома Хломушку, вся корёжилась от ненависти. Одной рукой оратор сжимал шейку микрофона, в то время как другая, громадная костлявая рука, грозно когтила воздух над головой. Голос оратора, которому усилители придавали звон металла, бросал в толпу бесконечный список вражеских преступлений: зверские расправы над людьми, массовая резня, депортация, грабежи, насилия, пытки заключенных, бомбардировки гражданского населения, лживая пропаганда, неспровоцированная агрессия, нарушенные договоры. Слушая его, почти нельзя было не верить, а поверить — значило сойти с ума. Каждые пять минут толпа приходила в бешенство, и голос оратора тонул в диком реве, который сам собою вырывался из тысяч

глоток. При этом яростнее всех орали школьники. Речь длилась, вероятно, уже минут двадцать, когда на трибуну вдруг быстро поднялся человек и сунул в руку оратора записку. Последний, не переставая говорить, развернул ее и пробежал глазами. Ничто не изменилось ни в его голосе, ни в поведении, ни в содержании речи, но все имена, упоминаемые в ней, вдруг стали иными. По толпе, как по воде, тронутый ветром, побежала зыбь: никто не проронил ни слова, но все поняли. Океания воевала с Истазией! Наступило страшное смятение. Все лозунги и все плакаты, украшавшие площадь, оказались вдруг несоответствующими действительности. Это был саботаж! Это действовали агенты Гольдштейна! Началось что-то похожее на бунт: толпа сдирала плакаты со стен, рвала знамена в клочья и топтала их ногами. Юные Шпионы проявили чудеса активности: карабкаясь на крыши, они обрезали и сбрасывали полотнища, укрепленные на трубах. В каких-нибудь две, три минуты все было кончено. Ссутулившись над микрофоном и по-прежнему, сжимая его одной рукой, и другой когтя небо, оратор безостановочно продолжал говорить. Еще минута, и в толпе снова взорвались вопли ярости. Программа ненависти продолжалась, с той лишь разницей, что была направлена на другой объект.

Оглядываясь теперь назад, Уинстон больше всего поражался тому, с какой легкостью оратор сумел переключиться с одной «установки» на другую буквально в середине фразы, не только безо всякой паузы, но даже не нарушив синтаксиса. Но в тот момент, когда это произошло, сам Уинстон был отвлечен другим событием. Как раз в минуту беспорядка, когда срывались и летели на землю плакаты, какой-то человек, лица которого он не видал, притронулся к его плечу и произнес: «Извините, вы, кажется, уронили портфель». Не сказав ни слова, Уинстон рассеянно взял протянутый ему портфель. Он уже знал, что сумеет заглянуть в него лишь через несколько дней. Сразу же после демонстрации он направился в Министерство Правды, хотя было уже около

двадцати трех часов. Так же поступили все другие сотрудники Министерства. Телескрин передавал приказ, призывавший всех явиться на свои посты. Вряд ли была надобность в таком приказе.

Океания воевала с Истазией: Океания всегда была в войне с Истазией. Большая часть политической литературы, вышедшей за последние пять лет, становилась совершенно устаревшей. Официальные отчеты и документы, книги и газеты, фильмы и брошюры, звукозаписи и фотографии — всё подлежало «выпрямлению» в молниеносные сроки. Никаких директив сверху не было дано, но все знали, что руководство Отдела намерено в течение недели изъять все документы, относящиеся к войне с Евразией или к союзу с Истазией. Работа непомерно усложнялась тем, что ни один процесс, связанный с ней, нельзя было назвать собственным именем. Весь штат Отдела Документации работал по восемнадцать часов в сутки с двумя трехчасовыми перерывами для сна. Из подвалов принесли матрацы и разложили по всем коридорам; работники буфета развозили на тележках бутерброды и Кофе Победа. Каждый раз, когда подходило время урывочного сна, Уинстон старался очистить свой стол от бумаг и каждый раз, когда он со слипающимися глазами и с болью во всем теле возвращался к нему, он обнаруживал, что новый вихрь бумажных цилиндров замел все, как сугробами, и завалил наполовину диктограф; даже на полу валялись цилиндры, которым не хватило места на столе, так что приходилось начинать с укладывания их в более или менее аккуратный штабель, чтобы очистить место для работы. Но хуже всего было то, что сама работа ни в какой мере не являлась механической. Если имена по-просту можно было заменять одно другим, то подробные отчеты о событиях требовали и внимания и воображения. Нужно было даже обладать достаточным знанием географии, чтобы уметь перенести военные действия из одной части света в другую.

На третий день стали невыносимо болеть глаза, и каж-

дые пять минут приходилось протирать очки. Все это было истерической попыткой выполнить физически невыполнимую задачу, от которой каждый имел право отказаться. Насколько он припоминал, его ничуть не беспокоило, что каждая строчка, оставляемая на бумаге его пером, и каждое слово, которое он бормотал в диктограф, были наглой ложью. Как и всякий другой служащий Отдела, он старался сделать подлог безупречным. На утро шестого дня поток цилиндров стал постепенно уменьшаться. С полчаса трубка не выбрасывала ничего, потом выскочил один цилиндр, потом снова ничего. Работа замедлилась везде в одно и то же время. Глубокий тайный вздох облегчения прошел по Отделу. Важнейшее дело, которого никто ни разу не назвал собственным именем, было завершено. Отныне никто не мог документально доказать существование войны с Евразией. В двенадцать ноль-ноль неожиданно было объявлено, что все работники Министерства свободны до завтрашнего утра. Уинстон взял портфель, в котором была книга, и отправился домой. Все эти дни он не расставался с портфелем, ставя его в ноги, когда работал, и кладя под голову во время сна. Дома он побрился и принял ванну, едва не уснув в ней, несмотря на то, что вода была почти холодная.

С каким-то даже сладостным похрустыванием в суставах он поднялся по лестнице в комнату над лавчонкой господина Чаррингтона. Усталость не проходила, но спать больше не хотелось. Он открыл окно, зажег грязную керосинку и поставил кипятить воду для кофе. Вскоре должна была прийти Юлия, а пока у него была книга. Он сел в неопрятное кресло и расстегнул застёжки портфеля.

Черный, увесистый том в самодельном переплете без имени автора и без названия на обложке. Печать тоже как будто необычная. Страницы изорваны по краям и легко рассыпаются, — книга, по-видимому, прошла через многие руки. На первой странице заглавие:

Эммануил Гольдштейн

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА  
ОЛИГАРХИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВИЗМА

Уинстон стал читать:

Глава I

Невежество — это Сила

Во все исторические времена и, возможно, с конца Неолитической эры в мире существовало три рода людей: Высшие, Средние и Низшие. Они разбивались на множество подгрупп, носили бесконечно разнообразные названия, и их численность, как и взаимные отношения, менялись из века в век; но субстанция общества всегда оставалась неизменной. Подобно тому, как жirosкоп, в какую бы сторону его ни отклонили, возвращается в устойчивое равновесие, в обществе, даже, после самых сильных потрясений и переворотов, не оставлявших, казалось бы, никаких возможностей возврата к прошлому, вновь и вновь утверждались прежние нормы.

Цели этих трех групп человечества глубоко различны. . .

Уинстон остановился, главным образом потому, что хотелось оценить по-настоящему тот факт, что он читает, наслаждаясь комфортом и безопасностью. Он был один: ни телескрин, ни подслушивающего у замочной скважины чужого уха, ни судорожных оглядок назад, ни инстинктивного движения руки, старающейся прикрыть страницу. Свежий летний воздух ласкал щеки. Откуда-то издалека слабо доно-

сился крик детей. В самой комнате — ни звука, кроме едва слышного тиканья часов. Он уселся в кресле поудобнее и положил ноги на решетку камина. Это было блаженство, это была сама вечность. Неожиданно, как часто случается с человеком, знающим, что он будет читать и перечитывать каждое слово книги, он наугад открыл ее на другом месте и оказался на третьей главе. Он стал читать:

### Глава 3

## Война — это Мир

Разделение мира на три великих сверхгосударства — есть событие, которое можно было предугадать и которое действительно предугадывалось еще до середины двадцатого столетия. Из трех, существующих ныне держав, две — Евразия и Океания — образовались фактически уже с поглощением Европы Россией и Британской Империи Соединенными Штатами. Третье, Истазия, возникло как самостоятельная единица лишь в результате еще одного десятилетия беспорядочных войн. Границы трех этих сверхгосударств в некоторых местах произвольны, в других они изменяются в зависимости от военной удачи, но, в общем, совпадают с естественно-географическими. Евразия обнимает собою весь Европейский и северную часть Азиатского континентов от Португалии до Берингова пролива. Океания включает обе Америки, острова Атлантического океана, в том числе и Британские, а также Австралию и южную часть Африки. Истазия, меньшая, чем две другие державы и с менее ясно прилегающие к ней на юге страны, Японские острова и очерченными западными границами, охватывает Китай и большую, но неустойчивую часть Манчжурии, Монголии и Тибета.

В течение последней четверти века эти три сверхгосударства в той или иной комбинации постоянно находятся в состоянии войны друг с другом. Но война не является более

тем ужасающе-разрушительным актом, каким она была в первые десятилетия двадцатого века. Это война ограниченных целей между противниками, которые не способны уничтожить друг друга, не имеют глубоких причин для борьбы и, по существу, не разделены идеологическими различиями. Это не значит, однако, что преобладающий взгляд на войну изменился, или что она стала менее кровавой и более рыцарской. Напротив, военной истерией охвачены все страны, и насилие, грабеж, детоубийство, обращение в рабство целых народов, репрессии против военнопленных, доходящие до того, что их живыми закапывают в землю и бросают в кипящую воду, рассматриваются как нормальное явление и даже поощряются, если их совершает своя сторона, а не противник. Однако прямое участие в войне принимает весьма небольшое число людей, — главным образом, хорошо обученные специалисты, — и потери в живой силе сравнительно невелики. Редкие битвы на суше происходят на таких отдаленных фронтах, о которых обыватель почти не имеет представления, а на море — в районах стоянки Пловучих Крепостей, охраняющих стратегические пути. В центрах цивилизации война означает лишь постоянный товарный голод и случайные разрывы ракетных бомб, приводящие к незначительным жертвам. Характер войны изменился или, лучше сказать, изменились ее причины. То, что в начале двадцатого века могло послужить лишь поводом к великой войне, теперь хорошо осознано и является ее главным двигателем. Для того, чтобы понять природу современной войны, — а это, несмотря на происходящую время от времени смену противников, всегда одна и та же война, — необходимо прежде всего осознать, что она не может привести ни к решающей победе, ни к полному поражению. Ни одно из трех сверхгосударств не может быть окончательно побеждено даже объединенными силами двух других. Их силы слишком уравновешены, а их естественная оборона одинаково труднопреодолима. Евразия защищена необъятностью своих земельных пространств, Океания — широтой Атлантического

и Тихого океанов, Истазия — плодovitостью населения и его трудолюбием. Далее, нужно принять во внимание, что никаких причин материального характера, побуждающих к войне, больше не существует. С установлением автаркии, при которой потребление и производство согласованы, погоня за рынками сбыта, служившая главной причиной прошлых войн, утратила свое значение, а борьба за источники сырья не является больше вопросом жизни и смерти. Во всяком случае, каждое из трех сверхгосударств так велико, что обладает почти всем необходимым в пределах своих границ. Только борьба за источники рабочей силы может считаться прямой экономической причиной современной войны. Между границами сверхгосударств, не принадлежа ни к одному из них, находится неравный четырехугольник, по углам которого расположены: Танжер, Брацлавиль, Дарвин и Гонконг. За обладание этим, густо населенным районом, в пределах которого живет, примерно, одна пятая часть человечества, а также территориями, расположенными за северным полярным кругом, и идет непрерывная борьба между тремя государствами. В сущности, ни одно из них никогда не подчиняло себе полностью этот спорный район. Но отдельные части его постоянно переходили из рук в руки, и тот факт, что всегда имеется возможность захватить какую-то часть путем внезапного вероломного удара, ведет к бесконечному нарушению равновесия.

Все спорные территории богаты полезными ископаемыми, а некоторые из них — важнейшим сырьем, вроде каучука, который в странах более холодного климата приходится производить дорогостоящими синтетическими способами. Однако, прежде всего, эти территории — неисчерпаемый источник дешевой рабочей силы. То сверхгосударство, которое владеет экваториальной Африкой, или странами Среднего Востока, или Южной Индией, или Индонезийским архипелагом, получает в свое распоряжение сотни миллионов почти даровых рабочих — кули, способных к самому тяжелому труду. Население указанных территорий, низведенное почти

открыто на положение рабов, постоянно переходит от одного завоевателя к другому и, подобно углю или нефти, расходуется в бесконечной гонке вооружений, в захвате территорий и в борьбе за обладание наибольшим количеством дешевых рабочих рук. Следует отметить, что военные действия никогда не выходят за пределы спорных районов. Границы Евразии передвигаются то вперед, то назад между бассейном Конго и северным побережьем Средиземного моря; острова Индийского и Тихого океанов то и дело переходят от Евразии к Океании и обратно; линия, разделяющая Евразию от Истазии в Монголии, никогда не стабилизируется; и, наконец, все три державы претендуют на громадные территории, лежащие вокруг северного полюса и в большинстве своем не только необитаемые, но и неисследованные. Но, при всем этом, соотношение сил всегда остается, в общем, одинаковым, а центральные области каждого сверхгосударства — неприкосновенными. Более того, — мировая экономика в действительности и не нуждается в труде эксплуатируемых народов, живущих у экватора. Они ничего не прибавляют к благосостоянию мира, поскольку все, что они производят, расходуется на нужды войны, которая всегда преследует одну и ту же цель — овладение лучшими позициями для новой схватки. Своим трудом поработанные народы только делают бесконечную войну более интенсивной. И если бы этих народов вовсе не существовало, структура мирного общества и его основы ничуть не изменились бы.

Главная цель современной войны (которая, согласно законам двоемыслия, одновременно познается и не познается руководящим разумом Внутренней Партии) — использование промышленной продукции без поднятия общего уровня жизни людей. Вопрос о том, как быть с избытком товаров потребления, таился в недрах промышленного общества еще в конце девятнадцатого века. В настоящее время, когда лишь немногие обеспечены продуктами питания, эта проблема, очевидно, утратила свою остроту и не может стать актуальной даже в том случае, если названные выше

разрушительные процессы перестанут действовать. Мир сегодняшнего дня — это мир босых, раздетых и голодных; он находится в состоянии упадка даже по сравнению с 1914-ым годом, не говоря уже о том воображаемом обществе будущего, которое когда-то рисовалось людям. В начале двадцатого века представление о будущем, как о мире баснословного богатства, высокой производительности, порядка и досуга, — о сверкающем чистотой мире стекла, стали и снежно-белого цемента, — входило неотъемлемой частью в сознание почти каждого грамотного человека. Наука и техника развивались с поразительной быстротой, и казалось естественным, что их развитие будет неуклонно продолжаться. Но этого не случилось, частью по причине истощения, вызванного рядом войн и революций, частью потому, что научный и технический прогресс, базирующийся на эмпирическом мышлении не мог долго ужиться со строго регламентированным обществом. В целом, мир сегодня гораздо примитивнее, чем пятьдесят лет тому назад. Немногие, прежде отсталые, области продвинулись вперед, появилась даже новая техника, всегда так или иначе связанная с войной и полицейским сыском, но, в общем, исследовательская и изобретательская мысль заморожены, и то, что было разрушено атомной войной пятидесятых годов, до сих пор полностью не восстановлено. Однако опасность, которую несет в себе машинное производство, не исчезла до сих пор. С того самого момента, как появилось это производство, для всех мыслящих людей стало ясно, что нужда в тяжелом человеческом труде, а, стало быть, в неравенстве, — отпала. Если бы машина использовалась разумно, голод, изнуряющий труд, неграмотность, грязь и болезни можно было бы изжить за несколько поколений. И действительно, даже не будучи поставлена на службу этим целям, машина за каких-нибудь полсотни лет, в конце девятнадцатого века и в начале двадцатого, почти автоматически, — просто, производя товары, которые нельзя было время от времени не выбрасывать на рынок, — сильно повысила уровень жизни среднего человека.

Однако было ясно и другое: общий рост богатства грозил уничтожением и уже уничтожал иерархическое общество. Там, где люди работают всего по несколько часов, хорошо питаются, живут в домах с ванной и холодильником, имеют собственные автомобили и даже самолеты, самые яркие и, вероятно, самые существенные формы неравенства должны отмереть. Когда богатство становится общим достоянием, — право на различие между людьми исчезает. Конечно, можно себе представить общество, где богатства, в смысле частной собственности и комфорта, распределены равномерно, тогда как власть остается в руках небольшой привилегированной касты. Но на практике такое общество не может долго существовать. Ибо там, где досуг и безопасность являются общим достоянием, громадные массы людей, разум которых притупляется обычно бедностью, неизбежно должны стать грамотными, должны осознать себя, а затем, следовательно, и то, что привилегированное меньшинство не нужно, — и в конце концов смести его. Вообще, иерархическое общество могло существовать только на базе нищеты и невежества. Возврат к земледельческому прошлому, о котором в начале двадцатого века мечтали некоторые мыслители, был неосуществим. Он противоречил общему, почти инстинктивному, стремлению к механизации. Более того: страна, замедлившая темп индустриализации, неизбежно стала бы в военном отношении беспомощной и рисковала прямо или косвенно оказаться под пятой более передового соперника.

Не решало удовлетворительно вопрос и ограничение выпуска товаров, которое позволило бы держать массы в нужде. В широких масштабах это применялось в последней стадии капитализма, приблизительно, между 1920-ым и 1940-ым годами. В то время в экономике многих стран намеренно допускался застой, земля не обрабатывалась, рост производительных сил тормозился, и громадные массы населения, лишённые работы, влачили жалкое существование исключительно с помощью государственной благотворительности.

Но и это вело к ослаблению военного потенциала и порождало оппозицию, поскольку ненужность лишений, вызываемых этими мерами, была ясна для всех. Задача состояла в том, чтобы заставить колеса промышленности вращаться, не поднимая благосостояния масс. Товары должны были производиться, но не поступать на рынок. Только перманентная война давала возможность достичь этого на практике.

Наиболее существенным актом войны является уничтожение, но не только уничтожение людей, а и продуктов их труда. Война — это способ разрушить, развеять в стратосфере, пустить на дно моря те материалы, которые в противном случае могут сделать народные массы слишком зажиточными, а значит, и слишком сознательными. Даже и тогда, когда вооружение не уничтожается, оно наилучшим образом поглощает труд людей, не давая ничего для удовлетворения их нужд. Например, в одной Плавающей Крепости заключено столько труда, что его хватило бы на строительство нескольких сот грузовых пароходов. Между тем, по прошествии некоторого времени, она, не принеся никому пользы, признается устаревшей, и снова тратится уйма труда на строительство другой. В принципе, военное производство всегда так запланировано, что поглощает всё, что остается после удовлетворения минимальных потребностей населения. На практике эти потребности всегда недооцениваются и удовлетворяются едва наполовину. Но и то небольшое, что идет на нужды населения, служит средством поощрения одних и угнетения других. Партия сознательно держит на грани нужды даже привилегированные группы, потому что общий недостаток увеличивает ценность мелких преимуществ, которые имеет та или иная группа, а следовательно, и их различие. По нормам начала двадцатого столетия, даже член Внутренней Партии живет аскетической трудовой жизнью. И тем не менее, немногие, доступные ему предметы роскоши — большая, хорошо обставленная квартира, лучшее качество одежды, пищи, табака и напитков, двое или трое слуг, собственный автомобиль или геликоптер — создает вокруг

него особый мир, отличный от того, в котором живет член Внешней Партии; этот же последний, в свою очередь, обладает преимуществами по сравнению с беднейшими массами, которые мы называем «пролами». Все это похоже на социальную атмосферу осажденного города, где обладание куском конины создает грань между богатством и бедностью. В то же время военная обстановка и связанное с ней чувство опасности делают как бы естественной и неизбежной передачу всей власти в руки небольшой клики для того, чтобы остаться в живых.

Итак, функция войны — необходимое разрушение и притом разрушение наиболее приемлемым с психологической точки зрения путем. В принципе было бы очень легко употребить излишки труда на строительство храмов и пирамид, на то, чтобы копать ямы и снова засыпать их, или даже на то, чтобы производить товары и тут же сжигать. Но это обеспечило бы иерархии только экономическую, а не эмоциональную базу. Дело тут не в настроении масс, которым никто не интересуется, пока эти массы заняты тяжким трудом, а в состоянии духа самой Партии. Предполагается, что даже самый незаметный член Партии должен быть компетентен, трудолюбив и даже смышлен в каких-то узких пределах, но вместе с тем необходимо, чтобы он был доверчивым и невежественным фанатиком, чтобы его преобладающими чувствами были страх и ненависть и чтобы он был способен и поклонению и к пламенному ликованию. Иными словами, все его умонастроение должно соответствовать состоянию войны. При этом неважно, ведется в действительности война или не ведется, — и так как решающей победы быть не может, — неважно и то, успешно или неудачно протекают военные действия. Важно лишь одно, — чтобы состояние войны существовало. Раздвоение сознания, которого Партия требует от своих членов и которое легче всего достигается в атмосфере войны, присуще теперь почти каждому, но чем выше мы будем подниматься, тем ярче оно проявляется. Сильнее других военной истерией и ненавистью к

врагу охвачена Внутренняя Партия. Будучи администратором, член Внутренней Партии нередко знает, что некоторые сообщения с фронта лживы, и что войны или совсем нет, или же она ведется ради совершенно иных целей, чем те, что были прокламированы. Но это знание легко нейтрализуется с помощью двоемыслия. Поэтому каждый член Внутренней Партии ни минуты не сомневается в том, что война есть и закончится победой Океании, превратив ее в единовластного хозяина вселенной.

Для всех членов Внутренней Партии эта грядущая победа — символ веры. Победа будет достигнута либо путем постепенного присоединения все новых и новых территорий, в результате чего создастся преобладающий перевес в силе, либо благодаря изобретению нового оружия, против которого не будет защиты. Исследования в области новых видов вооружения идут безостановочно и являются одной из очень немногих областей, где в настоящее время еще может найти себе применение изобретательский или отвлеченный ум. Науки, в прежнем смысле слова, в Океании почти не существует, и на Новоречи нет слова «наука». Эмпирическому мышлению, на котором базировались в прошлом все научные достижения, противопоставлены основные принципы Англо-соца. Даже технология развивается лишь постольку, поскольку результаты могут быть использованы для ограничения свободы человека. Ремёсла все либо стоят на месте, либо идут назад. Поля обрабатываются конными плугами, в то время как книги пишутся машинами. И только в сферах жизненной необходимости, т. е. в военной и полицейской, эмпирический подход все еще поощряется или, по крайней мере, допускается. Две цели Партии — это завоевание Земного шара и полное уничтожение свободной мысли. В связи с этим Партии надлежит решить две великих проблемы. Первая — научиться читать мысли человека против его воли, и вторая — найти способ уничтожения нескольких сот миллионов человек в течение нескольких секунд без объявления войны. До тех пор, пока научные изыскания продолжаются, раз-

решение этих проблем и является их главным делом. Ученый сегодняшнего дня — либо психолог и инквизитор в одном лице, скрупулезно изучающий значение различных выражений человеческого лица, жесты, оттенки голоса, исследующий действие фармакологических «детекторов лжи», и лечение шоками, гипнозом и психологическими пытками; либо — это химик, физик или биолог, занимающийся только теми областями своей специальности, которые имеют отношение к человекоубийству. В громадных лабораториях Министерства Мира и на опытных станциях, скрытых в лесах Бразилии, в пустынях Австралии или на затерявшихся в Антарктике островах, неутомимо работают бригады специалистов. Некоторые из них просто планируют технику снабжения, передвижения и расквартирования войск в будущей войне; другие заняты изобретением всё более крупных реактивных снарядов, всё более мощных взрывчатых веществ, всё более прочной брони; третьи стараются найти новые более смертоносные газы или растворимые яды, которые можно было бы производить в таких количествах, чтобы иметь возможность уничтожить растительность целого континента, а также способы разведения бактерий, обладающих иммунитетом против всяких антител; четвертые прилагают усилие к тому, чтобы изобрести подземный движущийся снаряд по аналогии с подводной лодкой или самолет столь же независимый от своей базы, как парусный корабль; пятые заняты изучением более отдаленных возможностей, вроде конденсации солнечных лучей с помощью линз, помещенных в пространстве в тысячах километров от Земли, или искусственных землетрясений и громадных морских волн путем использования температур центра Земли. Но ни один из этих проектов никогда не был даже близок к осуществлению, и ни одно из трех сверхгосударств никогда не обладало заметным преимуществом по сравнению с другими. Еще более замечательно то, что все три державы уже имеют в атомной бомбе куда более мощное оружие, чем то, какое могут дать их изыскания. Хотя Партия обычно и приписывает все изобре-

тения себе, следует сказать, что атомная бомба появилась еще в сороковых годах и через десять лет была применена в широких масштабах. В то время несколько сот атомных бомб было сброшено на индустриальные центры, главным образом Европейской России, Западной Европы и Северной Америки. В результате правящие группы всех стран убедились, что дальнейшие атомные взрывы приведут к полной анархии, а, значит, и положат конец их собственной власти. Поэтому, хотя никакого формального соглашения никогда не было подписано и даже не намечалось, бомбы больше не сбрасывались. Продолжая и сейчас производить атомные бомбы, все три сверхгосударства просто отправляют их на склады до решающего момента, который, по их общему мнению, рано или поздно должен наступить. А пока, вот уже тридцать или сорок лет, способы ведения войны остаются почти неизменными. Геликоптеры применяются шире, чем прежде, бомбардировщики большей частью заменены самодвижущимися снарядами, а хрупкие подвижные линейные корабли уступили место Плавающим Крепостям, которые почти невозможно потопить; но этим, в сущности, и исчерпываются нововведения. Танки, подводные лодки, мины, пулеметы, даже винтовки и ручные гранаты всё еще находят себе применение. И, вопреки тому, что пишется в прессе и рассказывается по телескрину о кровопролитных сражениях, ужасающие битвы прежних лет, уносившие сотни тысяч и даже миллионы жертв в течение нескольких недель, в действительности никогда больше не повторяются.

Ни одно из трех сверхгосударств не рискует пойти на операцию, способную повлечь за собой серьезное поражение. Если иногда какая-то большая операция и проводится, то обычно это — внезапная атака против союзника. Стратегия, которой придерживаются, или делают вид, что придерживаются, все три державы, у всех одна и та же. В широком плане она сводится к тому, чтобы, комбинируя военные действия, дипломатический торг и своевременно наносимые предательские удары, создать кольцо баз вокруг того или

иного враждебного государства, а затем подписать с ним пакт о дружбе и в течение нескольких лет поддерживать мирные отношения, чтобы усыпить его подозрения. Тем временем сосредоточить во всех стратегических пунктах запас атомных бомб и затем пустить их все одновременно в ход с таким разрушительным эффектом, который сделает возмездие невозможным. После этого можно будет подписать пакт о дружбе с оставшейся мировой державой для подготовки новой агрессии. Нужно ли говорить, что этот план — просто бесплодная мечта. Больше того, если не считать спорных районов, лежащих возле полюса и экватора, никаких битв вообще нигде не происходит, и войска никогда не вторгаются на вражескую территорию. Этим объясняется, что границы трех сверхгосударств в некоторых местах точно не установлены. Евразия, например, легко могла бы завоевать Британские острова, являющиеся географически частью Европы, а, с другой стороны, Океания могла бы продвинуть свои границы до Рейна или даже до Вислы. Но это было бы нарушением неписанного, но соблюдаемого всеми сторонами принципа целостности культур. Если Океания завоюет территории, носившие прежде названия Франции и Германии, возникнет необходимость либо истребить все население этих территорий — задача великой физической трудности, — либо ассимилировать сто миллионов человек, которые, в смысле развития техники, не уступают жителям Океании. Подобная проблема возникает перед каждым сверхгосударством. Их структура такова, что абсолютно исключает всякое общение с иностранцами, за исключением, весьма ограниченного контакта с цветными рабами и военнопленными. Даже на того, кто в данный момент является официальным союзником, смотрят с глубоким подозрением. Если не считать военнопленных, средний гражданин Океании никогда не видит ни истазиата, ни евразийца, и ему запрещено знание иностранных языков. Если ему разрешить общение с иностранцами, он будет знать, что они — такие же люди, как и он, и что большая часть того, что ему рассказывалось о них — ложь.

Занавес, отделяющий его от остального мира, будет поднят, и страх, ненависть и уверенность в своей непогрешимости, на которых зиждется его мораль, могут исчезнуть. Поэтому каждая держава сознает, что как бы часто Персия, Египет, Ява или Цейлон не переходили из рук в руки, главные границы никем и ничем, кроме снарядов, не должны пересекаться.

За этим таится одно обстоятельство, о котором никогда не говорят, но втайне имеют в виду и используют, — а именно то, что условия жизни во всех сверхгосударствах весьма сходны. В Океании господствующее мировоззрение носит название Ангсоца, в Евразии — Необольшевизма, а в Истзии его называют китайским именем, которое обычно переводится как Смертопочитание, но которое, быть может, лучше было бы перевести как Самоуничтожение. Гражданам Океании запрещено что-либо знать о догматах Самоуничтожения и Необольшевизма, но их учат отвергать то и другое как варварское поругание морали и здравого смысла. На самом же деле все три мировоззрения почти ничем не различаются, а между социальными системами, которые они поддерживают, нет ни малейшей разницы. Повсюду та же самая пирамидальная структура, почитание полубожественного вождя, и экономика, существующая только с помощью войны и для войны. Отсюда следует, что ни одно сверхгосударство не только не способно покорить себе другие, но если бы и покорило — не извлекло бы из этого никаких выгод. Напротив, пока они враждуют, они как три снопа в скирде, служат друг другу опорой. При этом, как обычно, правящие группы всех трех государств и сознают и вместе с тем не сознают смысл своей деятельности. Они посвятили себя одной цели — завоеванию мира, но в то же время они понимают необходимость бесконечной и безрезультатной войны. То обстоятельство, что угроза завоевания страны врагом отпала, делает возможным отрицание действительности, которое является специфической чертой Ангсоца и соперничающих с ним систем мышления. Здесь необходимо повторить

то, что уже говорилось выше: нескончаемость войны в корне изменила ее характер.

В прошлом война, едва ли не по самому определению, была чем-то таким, что рано или поздно приходило к концу и притом обычно в результате бесспорной победы или полного поражения. Война в прошлом была также главной причиной, побуждавшей человеческое общество поддерживать связь с реальным миром. Во все времена правители пытались через своих последователей насаждать ложные взгляды на мир, но ни один из них не мог отважиться поддержать какую бы то ни было иллюзию, ведущую к ослаблению военных усилий. Поскольку поражение вело к потере независимости или к другим нежелательным последствиям, приходилось принимать против него серьезные меры. Нельзя было отрицать реальных фактов. В философии, в религии, в этике или в политике два и два могло равняться пяти, но когда конструировались самолет или орудие, два плюс два должно было равняться четырем. Плохо организованные страны всегда рано или поздно попадали под владычество других, а высокая организованность исключала всякие иллюзии. Более того, чтобы достичь высокой организованности, надо было учиться у истории, т. е. иметь точное представление о событиях прошлого. Конечно, газеты и исторические сочинения всегда приукрашивали факты и были пристрастны, но такой фальсификации, какая практикуется теперь, все-таки быть не могло. Война служила верной гарантией здравого смысла, а по отношению к правящим классам, — быть может, самой важной из гарантий. И за победу, и за поражение правящие классы всегда несли ответственность.

Но когда война становится буквально бесконечной, она перестает быть опасной. Поскольку состояние войны никогда не прекращается, постольку исчезает и понятие военной необходимости. Техника может остановиться, и самые очевидные факты действительности могут отрицаться или игнорироваться. Как мы уже видели, наукоподобные исследования еще ведутся, но они относятся скорее к области фан-

тастики, и тот факт, что они не приносят результатов, не имеет важного значения. Высокая организованность, даже в военной сфере, больше не нужна. Единственное, что еще эффективно в Океании — это Полиция Мысли. А так как все сверхгосударства непокоримы, — каждое из них есть «мир в себе», в котором может безнаказанно практиковаться любое извращение мысли. Только в нуждах повседневной жизни — в том, что человек по-прежнему должен есть, пить, одеваться, иметь кров над головой, должен избегать несчастных случаев — еще сказывается давление объективной действительности. Между жизнью и смертью, между физическим наслаждением и физической болью еще существует разница, но этим всё и ограничивается. Лишенный связи с внешним миром, отрезанный от прошлого, гражданин Океании подобен обитателю межзвездного пространства, не имеющего представления о том, где верх, где низ. Правители такого государства обладают абсолютной властью, которой не могло быть ни у фараонов, ни у Цезарей. Все, что от них требуется, — это, во-первых, не дать умереть с голоду слишком большому числу своих подданных и, во-вторых, пребывать на том же низком уровне военной техники, что их враги. Коль скоро этот минимум достигнут, они могут выворачивать действительность хоть наизнанку.

Итак, в сравнении с прошлыми войнами, современная — просто обман. Она подобна схватке двух жвачных животных, у которых рога посажены так, что ни одно не может причинить вреда другому. Однако, хотя это и не настоящая война, она не может почитаться совершенно бесполезной. Она поглощает избыток товаров и способствует созданию особой психологической атмосферы, в которой нуждается иерархическое общество. Говоря другими словами, современная война есть чисто внутреннее дело. В прошлом правящие группы всех стран, даже если они сознавали общность своих интересов и стремились ограничить разрушительность войны, все же вели настоящую борьбу друг с другом, и победитель всегда разорял побежденного. Теперь никакой борь-

бы правящих групп не происходит. Каждая из них воюет против собственных подчиненных, и цель войны — не овладение территорией и не сохранение ее, а сохранение существующей структуры общества. Поэтому самое слово «война» вводит в заблуждение. Лучше было бы, по-видимому, сказать, что, став перманентной, война прекратилась вообще. То специфическое влияние, которое она оказывала на людей с Неолитических времен до первых десятилетий двадцатого века, исчезло, сменившись чем-то совсем иным. Если бы сверхгосударства, вместо того, чтобы воевать друг с другом, условились жить в постоянном мире, каждый в пределах своих нерушимых границ, — результаты были бы теми же самыми. В этом случае, как и сейчас, каждое из них осталось бы «миром в себе», навсегда избавившись от отвлекающего влияния внешней опасности. Вечный мир — то же самое, что вечная война. В этом и заключается внутренний смысл лозунга Партии, который лишь поверхностно понимается громадным большинством ее членов, — лозунга: Война — это Мир.

Уинстон остановился. Откуда-то издалека донесся грохот реактивного снаряда. Блаженное сознание того, что он один с запретной книгой в руках, в комнате без телескрин, все еще не стерлось. Чувство уединения и безопасности как-то смешивалось с усталостью, с ощущением мягкости кресла, с ласковым веянием ветерка из окна. Книга пленила его или, точнее, укрепила во взглядах. В сущности, она не сказала ему ничего нового, но в этом-то отчасти и состояла ее прелесть. Он нашел в ней то, что мог бы сказать сам, если бы умел привести в порядок свои разрозненные мысли. Она была плодом ума, родственного его уму, но несравненно более глубокого, дисциплинированного и менее подавленного страхом. Лучшие книги те, — подумал он, — в которых говорится о вещах, уже знакомых вам. Он только что вернулся к первой главе, как услышал на лестнице шаги Юлии. Он встал ей навстречу. Юлия швырнула на пол коричневую сумку для

инструментов и кинулась к нему в объятия. Они не виделись больше недели.

— Знаешь, я получил книгу, — сказал он как только кончились объятия.

— Да? Хорошо, — отозвалась она без особого интереса и тотчас же наклонилась над керосинкой, чтобы приготовить кофе.

Они вернулись к этой теме лишь после того, как провели в постели полчаса. Лежа под покрывалом, они наслаждались вечерней прохладой. Женщина с багровыми сильными руками, которую Уинстон видел в свой первый приход сюда, казалось, вечно была тут. По-видимому, не было такого времени дня, чтобы она не расхаживала по двору от лохани к веревке и обратно, то вынимая изо рта прищепки и начиная громко петь, то снова умолкая. Юлия угнездилась на своей половине постели и, должно быть, уже засыпала. Он протянул руку, достал с пола книгу и сел, опершись на спинку кровати.

— Мы должны прочесть ее, — сказал он. — Ты тоже. Каждому члену Братства необходимо прочитать ее.

— Ты читай, — сказала Юлия, не открывая глаз, — читай вслух. Это лучше всего. И сразу объясняй мне.

Часы показывали шесть, т. е. восемнадцать. В их распоряжении было три или четыре часа. Он укрепил книгу на коленях и начал читать:

## Глава 1

### Невежество — это Сила

Во все исторические времена и, возможно, с конца Неолитической эры, в мире существовало три рода людей: Высшие, Средние и Низшие. Они разбивались на множество других подгрупп, носили бесконечно разнообразные названия, и их численность, как и взаимные отношения, менялись из века в век; но субстанция общества всегда оставалась неиз-

менной. Подобно тому, как гироскоп, в какую бы сторону его не отклонили, возвращается в устойчивое равновесие, в обществе, даже после самых сильных потрясений и переворотов, не оставлявших, казалось бы, никаких возможностей возврата к прошлому, вновь и вновь утверждались прежние нормы.

— Юлия, ты не спишь?

— Нет, милый, я слушаю. Продолжай. Это чудесно.

Уинстон продолжал чтение:

Цели трех этих групп человечества глубоко различны. Цель Высших — оставаться там, где они пребывают. Цель Средних — поменяться местами с Высшими. Цель Низших, — когда она у них имеется, ибо для этих людей, угнетенных тяжелым трудом, характерно лишь частичное понимание того, что выходит за пределы повседневной жизни, — уничтожение всякого различия и создание такого общества, в котором все равны. Так, на протяжении всей истории идет борьба, смысл которой, в сущности, остается неизменным. В течение долгого времени кажется, что Высшие прочно стоят у власти, но рано или поздно наступает момент, когда они теряют веру в себя, либо способность к управлению, либо и то и другое вместе. Тогда их сбрасывают Средние, которые при этом, выдавая себя за поборников свободы и справедливости, привлекают на свою сторону Низших. Но как только они достигают цели, они загоняют Низших в прежнее подневольное состояние, а сами становятся Высшими. С течением времени от одной из крайних групп или от обеих откалывается новая Средняя группа, и борьба начинается с начала. Из трех групп только Низшей никогда не удастся даже временно достичь своих целей. Не впадая в преувеличение, нельзя утверждать, что в ходе истории никогда не был достигнут прогресс материального характера. Даже в настоящее время, в период упадка, средний человек живет в материальном отношении лучше, чем несколько столетий тому

назад. Но никакой рост благосостояния, никакое смягчение нравов, ни одна реформа или революция ни на йоту не приблизили человечество к равенству. Каждый исторический переворот означает для Низших лишь перемену имени хозяев и ничего больше.

К концу девятнадцатого века эта повторность исторических явлений стала очевидной для многих наблюдателей. Появились школы мыслителей, рассматривавшие историю как циклический процесс и утверждавшие, что неравенство является неизменным законом человеческой природы. Конечно, эта доктрина имела своих последователей и раньше, но теперь она стала преподноситься совершенно по-иному. В прошлом учение о необходимости иерархической структуры общества являлось характерным лишь для Высших. Его проповедовали монархи и аристократы, духовенство и юристы, а также другие, зависящие от них паразитические сословия, причем обычно проповедь смягчалась обещаниями будущего вознаграждения в воображаемом потустороннем мире. Средние, пока не добивались власти, неизменно пользовались терминами «братство», «справедливость» и «свобода». Однако теперь идея человеческого братства начинает подвергаться нападкам со стороны людей, которые пока еще не стоят у власти, а лишь рассчитывают получить ее. В прошлом Средние совершали революции под знаменами равенства, и только сокрушив старую тиранию, учреждали новую. Теперь Средние группы фактически прокламируют ее заранее. Появившаяся в начале девятнадцатого века теория социализма, будучи последним звеном в цепи учений, которые зародились еще в древние времена, в эпоху восстаний рабов, была сильно окрашена утопизмом предыдущих столетий. Но, примерно с 1900-го года, каждый новый вариант социализма все более открыто прокламирует свой отказ от идей равенства и свободы. Новейшие течения, возникшие в середине двадцатого столетия, к числу которых принадлежали — Англо-соц в Океании, Небольшевизм в Евразии и, как его обычно называют, Смертопочитание в Истазии, — уже сознательно

стремятся к закреплению навек неволи и неравенства. Конечно, эти новые течения возникли на базе прежних и старались сохранить их названия, а также на словах придерживались их идеологии. Но, в общем, они преследовали одну цель — остановить развитие и заморозить исторический процесс в определенный, избранный ими момент. Маятник истории должен был качнуться, как обычно, еще раз и замереть на месте. Как всегда, Высшие должны были быть сметены Средними, но затем эти последние, сами превратившись в Высших, получили бы возможность, применив особую стратегию, закрепить свое господство навек.

До известной степени новые учения были обязаны своим возникновением накоплению исторических знаний и возросшему историческому чувству, которого почти не существовало до начала девятнадцатого века. Цикличность исторического процесса стала, или, по крайней мере, казалась теперь понятной, а раз этот процесс был понят, появилась возможность воздействовать на него. Однако главная, хотя и скрытая, причина заключалась все-таки в том, что к началу двадцатого века стало практически осуществимым равенство людей. Правда, неравенство врожденных дарований сохранялось; правда, приходилось еще разбивать людей по специальностям, благодаря чему одни попадали в более привилегированное положение, чем другие; но классовые различия и большая разница в распределении богатств перестали быть необходимостью. В прошлом классовые различия были не только неизбежными, но и желательными. За цивилизацию платили неравенством. Однако, с развитием индустриализации положение изменилось. Хотя людям и приходилось еще исполнять различную работу, никакой нужды в экономическом и социальном делении не оставалось. Естественно поэтому, что с точки зрения новых групп, готовившихся к приходу к власти, равенство людей было уже не идеалом, к которому следовало стремиться, а наоборот, опасностью, которой следовало избежать. В более примитивные времена, когда справедливая и мирная организация общества представля-

лась несбыточной мечтой, в нее было довольно легко верить. Мысль о земном рае, где люди живут в братском содружестве, не стесненные законами и не занимаясь черным трудом, преследовала человеческое воображение тысячелетиями. И эта мысль завладевала умами даже тех групп, которые фактически выгадывали от каждой исторической перемены. Наследники французской, английской и американской революций сами отчасти верили в свои лозунги, касавшиеся прав человека, свободы слова, равенства перед законом и тому подобного, и даже в некоторых отношениях придерживались их в своей жизни и деятельности. Но к четвертому десятилетию двадцатого века все ведущие течения политической мысли становятся авторитарными. Идея земного рая дискредитируется как раз в тот самый момент, когда становится осуществимой. Каждая новая политическая теория, как бы она себя ни называла, ведет назад к иерархии и регламентации. И при общем ожесточении, начинающемся около 1930 года, такие обычаи, как заключение в тюрьму без суда, обращение военнопленных в рабов, публичные казни, пытки обвиняемых с целью принудить их к признанию, система заложничества, депортации целых народов, — словом те обычаи, от которых человечество давным-давно, в некоторых случаях сотни лет тому назад, отказалось, не только вновь становятся общепринятыми, но допускаются и даже защищаются людьми, считающими себя просвещенными и передовыми.

Понадобилось еще одно десятилетие народных и гражданских войн, революций и контрреволюций во всех частях света, чтобы Англо-соц и соперничающие с ним системы мышления достигли полного развития. Но им предшествовали другие системы, появившиеся в начале столетия и обычно называвшиеся тоталитарными. Общая картина мира, который должен был родиться из царившего в то время хаоса, уже давно была ясна. Ясно было и то, какого рода люди будут править миром. Новая аристократия формировалась главным образом из бюрократов, ученых, разного рода спе-

циалистов, профсоюзных организаторов, экспертов по делам рекламы, социологов, учителей, журналистов и профессиональных политиков. Эти люди, принадлежавшие к среднему сословию, живущему на жалование, а также к верхушке рабочего класса, выявились и объединились в холодном и суровом мире промышленных монополий и централизованных правительств. По сравнению со своими предшественниками, они были менее алчны, менее соблазнялись роскошью, но жаждали полной власти и, главное, лучше сознавали то, что делают, и настойчивее стремились к подавлению оппозиции. Последнее было важнее всего. Сравнительно с нынешней тиранией, все предшествующие были нерешительны и неэффективны. Правящие группы всегда в известной мере были заражены либерализмом, не стремились доводить дело до конца, обращали внимание лишь на очевидные факты и совершенно не интересовались тем, что думают их подчиненные. С современной точки зрения, даже Католическая Церковь Средних Веков — и та была терпима. Частично это объяснялось тем, что ни одно правительство в прошлом не могло держать народ под постоянным надзором. С изобретением книгопечатания стало легче влиять на общественное мнение, а кино и радио еще более упростили эту задачу. С развитием телевидения, а затем с изобретением аппарата, позволяющего передавать и принимать в одно и то же время, наступил конец частной жизни людей. Каждый гражданин, или, по крайней мере, каждый из тех, кто представляет интерес для наблюдения, может быть взят под круглосуточный надзор полиции, и каждого можно заставить питаться исключительно официальной пропагандой, лишив всех прочих видов информации. Впервые явилась возможность не только полностью подчинить людей воле Государства, но и полностью унифицировать их мнения по любому вопросу.

По окончании революционного периода пятидесятых и шестидесятых годов, общество, как обычно, перегруппировалось на Высших, Средних и Низших. Но, в отличие от всех своих предшественников, новая Высшая группа действовала

не руководствуясь инстинктом, а точным знанием того, что ей необходимо для укрепления своих позиций. Уже давно было известно, что единственной прочной основой олигархии является коллективизм. Богатства и привилегии легче всего защищать тогда, когда они являются общим достоянием. Так называемая «отмена частной собственности», проходившая в середине столетия, означала фактически концентрацию собственности в очень немногих, по сравнению с прошлым, руках, но с той разницей, что собственником стала группа, а не масса индивидуумов. Взятый в отдельности член Партии не владеет ни чем, кроме немногих личных вещей. Коллективно Партия владеет в Океании всем, ибо всем распоряжается и всю продукцию распределяет так, как ей кажется лучше. В годы, непосредственно следовавшие за Революцией, можно было занять все командные посты, почти не встречая сопротивления, потому что весь процесс преподносился, как акт коллективизации. Всегда предполагалось, что если класс капиталистов будет экспроприрован, — наступит социализм. И капиталисты действительно были экспропрированы. У них было взято всё — фабрики, шахты, земли, дома, транспорт, — и поскольку всё это не было больше частной собственностью, постольку предполагалось, что всё должно перейти в руки общества. Ангсоц, выросший на базе раннего социализма и унаследовавший его фразеологию, осуществил один из основных пунктов программы социализма, но в результате, как это и предвиделось, экономическое неравенство было закреплено навеки.

Но проблема увековечения иерархического общества простиралась глубже. Правящая группа может лишиться власти лишь четырьмя способами. Это: во-первых, завоевание страны внешним врагом; во-вторых, неэффективное управление, ведущее к восстанию масс; в-третьих, создание таких условий, при которых возможно возникновение сильной и недовольной своим положением Средней Группы; и, наконец, в-четвертых, утеря правящим гругом уверенности в себе и желания управлять. Как правило, эти причины про-

являются не порознь, а, в той или иной пропорции, все вместе. Господствующий класс, сумевший оградить себя от всех четырех, может оставаться у власти бесконечно долго. В последнем счете, решающим фактором является умонастрое-ние самого правящего класса.

С середины нынешнего века первая опасность, по существу, отпала. Все три державы, поделившие между собою мир, непобедимы, и лишь постепенные перемены в количестве и составе населения могли бы привести их к поражению. Но правительство, обладающее большой властью, легко может избежать подобных перемен. Вторая опасность также чисто теоретическая. Массы никогда не восстают по собственному почину, даже если они угнетены. До тех пор, пока им запрещено иметь нормы сравнения, они не отдают себе отчета в том, что угнетены. Экономические кризисы прошлого были совершенно ненужны и теперь не допускаются, но иные, не менее глубокие сдвиги, против которых нельзя протестовать, и которые поэтому не ведут ни к каким политическим последствиям, — могут иметь место и происходят. Что касается опасности перепроизводства, таящейся в недрах общества с тех пор, как появилась машинная техника, то эта проблема решается с помощью перманентной войны (см. Главу 3-ью), необходимой также для того, чтобы поддерживать дух общества на должной высоте. Поэтому, с точки зрения наших теперешних руководителей, единственная реальная опасность — это зарождение новой группы способных, жадных до власти, деловых людей, а также рост либерализма и скептицизма в собственных рядах. Иными словами говоря, речь идет о проблеме воспитания, о проблеме неустанного формирования сознания как самого господствующего класса, так и непосредственно следующего за ним большого административного слоя. Сознание масс нуждается лишь в негативном воздействии.

Даже тому, кто совершенно незнаком с социальной структурой Океании, нетрудно представить её на фоне всего вышесказанного. На вершине пирамиды стоит Старший

Брат. Старший Брат непогрешим и всемогущ. Каждый успех, каждое достижение, каждая победа, каждое научное открытие, все знания, вся мудрость, все счастье и все добро приписываются его руководству и вдохновению. Никто никогда не видел Старшего Брата. Его лицо — на каждом плакате, его голос — каждое слово телескрин. Можно с достаточной уверенностью утверждать, что он бессмертен и уже сейчас довольно трудно установить дату его рождения. Старший Брат — это облик, в котором Партия решила явиться миру. Его назначение — быть средоточием любви, страха и благоговения — чувств, которые легче питать к отдельному лицу, чем к организации. За Старшим Братом следует Внутренняя Партия. Число ее членов не превышает шести миллионов, т. е. немногим меньше двух процентов населения Океании. Если сравнивать Внутреннюю Партию с мозгом Государства, то идущая за нею Внешняя Партия — его руки. Еще ниже стоят безгласные массы, обычно называемые «пролами»; они составляют восемьдесят пять процентов населения. По нашей терминологии, пролы — это Низшие, потому что рабы экваториальных областей, часто переходящие от одного завоевателя к другому, не есть постоянный и существенный элемент структуры общества.

В принципе принадлежность к трем названным группам не является наследственной. Теоретически, дети членов Внутренней Партии не считаются принадлежащими к ней от рождения. Прием как во Внутреннюю, так и во Внешнюю Партию производится по достижении шестнадцатилетнего возраста после сдачи экзамена. Никакой расовой дискриминации не существует, и ни одна область Океании не пользуется сколько-нибудь заметными преимуществами. Среди высших чинов Партии можно найти людей еврейского или негритянского происхождения, как и людей, в жилах которых течет кровь настоящих индейцев Южной Америки; местная администрация всегда составляется из жителей данной области. Ни в одной области Океании жители не чувствуют себя обитателями колонии, управляемой из далекой

столицы. В Океании нет столицы, и ее номинального главу никто не знает. Если не считать того, что английский язык является общим для всех, а Новоречь — официальным языком, никакой иной централизации не существует. Правители Океании спаяны не узами родства, а приверженностью общей доктрине. Несомненно, однако, что на первый взгляд наше общество кажется расслоенным и притом сильно расслоенным по наследственному принципу. Действительно, перемещения из одних групп в другие случаются куда реже, чем при капитализме и даже в более ранние эпохи. Между двумя ответвлениями Партии происходит кое-какой обмен, но лишь в той мере, в какой это необходимо, чтобы избавиться от слабых во Внутренней Партии и обезвредить наиболее амбициозных членов Внешней, предоставив им возможность продвижения. Для пролетариев доступ в Партию фактически закрыт. Самые одаренные из них, способные стать средоточием недовольства, просто берутся на заметку и ликвидируются Полицией Мысли. Но все это не рассматривается как нечто вечное и строго-принципиальное. Партия не есть класс в прежнем смысле слова. Она не ставит себе целью передачу власти потомкам, и если почему-либо не будет иного способа сохранить власть в руках самых даровитых, целое поколение их будет наберено из пролетариев. Тот факт, что Партия — не родовая организация сыграл в критические дни великую роль в деле нейтрализации оппозиции. Социалист старого типа, учившийся бороться с тем, что называется «классовыми привилегиями», считал устойчивыми лишь наследственные привилегии. Он не видел, что жизнеспособность олигархии не обязательно биологическая, не задумывался над тем, что родовая аристократия всегда была недолговечной, тогда как организации, подобные Католической Церкви, которые готовы принять в свое лоно всех, держались сотнями и тысячами лет. Сущность олигархического управления не в передаче его от отца к сыну, а в прочности мировоззрения и определенного уклада жизни, передаваемых из поколения в поколение. Господст-

вующая группа господствует до тех пор, пока сама назначает себе наследников. Не бессмертие рода важно для Партии, а собственное бессмертие. Поскольку иерархическая структура остается неизменной, вопрос о том, кто держит власть в руках, не имеет значения.

Все верования, обычаи, чувства и настроения, характерные для нашего времени, формируются так, чтобы тайна Партии оставалась неразгаданной, а подлинная структура современного общества — непонятной. Восстание, в прямом смысле, в настоящее время невозможно, и даже его зачатки не могут зародиться. Пролетариев нечего опасаться. Предоставленные себе, они будут из рода в род, из века в век работать, плодиться и умирать, не только не помышляя о восстании, но даже не догадываясь, что мир может быть иным, чем сейчас. Они могли бы стать опасными только в том случае, если бы, в связи с дальнейшим ростом техники, пришлось повысить уровень их знаний. Но, ввиду того, что, как в военной области, так и в торговле, конкуренция утратила смысл, уровень народного образования на самом деле даже падает. Есть у масс свой взгляд на вещи или нет — совершенно безразлично. Им может быть дарована интеллектуальная свобода, поскольку они не обладают интеллектом. И, напротив, когда речь идет о члене Партии, тут недопустим малейший уклон даже в самом несущественном вопросе.

От колыбели до могилы член Партии живет на глазах Полиции Мысли. Даже когда он один, он не может быть уверен, что один. Спит он или бодрствует, работает или отдыхает, сидит в ванне или лежит в постели, — он, не подозревая этого, находится под наблюдением. Ни один его поступок не может быть безразличен. Его дружеские связи, его манера отдыхать, отношение к жене и детям, выражение лица, когда он находится один, слова, которые он бормочет во сне, его характерные движения — все ревниво изучается. При этом, конечно, замечаются не только его проступки, но малейшая перемена в поведении, в привычках или даже повышенная нервность, которая может служить признаком внут-

ренной борьбы. Он лишен всякой свободы выбора. Но, с другой стороны, его поведение не обуславливается никакими законами или ясно сформулированными правилами. В Океании нет законов. Мысли и проступки, которые, когда они доказаны, означают верную смерть, формально не запрещены, а бесконечные чистки, аресты, пытки, заточения в тюрьму и распыления не рассматриваются как наказание за действительно совершенные преступления, а просто как средство изъятия людей, которые могут их совершить. Член Партии обязан не только идти в ногу со временем в своих воззрениях, но и обладать соответствующим чутьем. Многие догматы и правила поведения, которые вменяются ему в обязанность, никогда не были ясно сформулированы и не могут быть сформулированы без того, чтобы не вскрыть содержащиеся в Ангсоце противоречия. Если член Партии по-настоящему ортодоксален (благомысл, на Новоречи) он при любых обстоятельствах и без подсказок знает, во что следует верить и как реагировать на то или иное явление. Впрочем, тщательно разработанная система психологической подготовки, которую он проходит с детства, и которая, в целом, определяется словами Новоречи криминостоп, чернобелый и двоемыслие, делает его не только неспособным углубляться в предмет, но и лишает охоты к этому.

Член Партии не может иметь никаких личных эмоций, но, вместе с тем, он должен всегда гореть энтузиазмом. Он должен жить в состоянии вечной бешеной ненависти к внешнему и внутреннему врагу, должен ликовать по поводу побед и слепо преклоняться перед мощью и мудростью Партии. Недовольство, порождаемое его пустой, не дающей никакого удовлетворения жизнью, поглощается или направляется на другой предмет с помощью таких уловок, как Двухминутка Ненависти, а размышления, которые могут толкнуть его на путь скептицизма или бунтарства, заранее убиваются внутренней дисциплиной, воспитанной в нем с юных лет. Первая и простейшая ступень этой самодисциплины, кото-

рая может преподаваться даже детям, называется на Новоречи криминоостопом. Криминоостоп — это способность человека останавливаться сразу же, как бы инстинктивно, на пороге любой опасной мысли. Криминоостоп также означает неумение схватывать аналогии, разбираться в ошибках, понимать простейшие доводы, если они направлены против Ангсоца, а также равнодушие и даже отвращение к любому образу мышления, способному привести к уклону. Короче говоря, криминоостоп — это спасительная глупость. Но одной глупости недостаточно. Напротив, взятая в широком смысле слова, партийная ортодоксальность требует от человека такого же контроля над мыслью, каким обладает акробат над своим телом. В последнем счете, общество Океании покоится на вере во всемогущество Старшего Брата и в непогрешимость Партии. Но так как Старший Брат на самом деле не всемогущ, а Партия может совершать ошибки, необходимо неустанно и ежеминутно изменять толкование исторических фактов. В этом смысле ключевым словом будет чернобелый. Как многие другие слова Новоречи, оно содержит два взаимно-противоположных значения. В применении к противнику оно означает привычку, нагло, вопреки фактам, настаивать на том, что черное — бело; в применении к члену Партии оно служит признаком лояльности и готовности утверждать, что черное бело, когда этого требует партийная дисциплина. Но оно также означает способность верить в то, что черное бело, больше того — знать это, и уметь забывать, что когда-то вы думали иначе. Это, в свою очередь, требует постоянного изменения прошлого, что достижимо лишь с помощью всеобъемлющей системы мышления, которая и называется на Новоречи двоемыслием.

Изменение прошлого необходимо по двум соображениям, одно из которых является второстепенным и, если можно так выразиться, профилактическим. Это второе соображение диктуется тем, что член Партии, подобно пролетарию, терпит современные условия жизни отчасти потому,

что ему не с чем их сравнить. Для того, чтобы он верил, что живет лучше, чем его предки, и что средний уровень жизни постоянно возрастает, он должен быть отрезан и от собственного прошлого и от иностранного мира. Однако постоянная реконструкция прошлого еще более важна для поддержания мифа о непогрешимости Партии. Не только речи, статистические данные и всякого рода документы должны быть всегда согласованы с тем, что происходит в настоящий момент, чтобы доказать правильность партийных прогнозов. Нужно также уметь отрицать какие-либо изменения партийной доктрины и политического курса. Ибо перемена точки зрения или даже политического курса является признанием собственной слабости. Если, например, Евразия или Истазия (безразлично, которая из них) является в настоящий момент врагом, значит, — она всегда была врагом. И если исторические факты говорят обратное, их нужно изменить. Таким образом, история все время переписывается и переписывается. Эта фальсификация истории, производимая изо дня в день Министерством Правды, столь же необходимое условие прочности режима, как репрессии и шпионаж Министерства Любви.

Учение о мутациях прошлого — краеугольный камень Ангсоца. События прошлого, — утверждает Ангсоц, — не являются объективной реальностью, а существуют только на бумаге и в человеческой голове. Прошлое — это то, на чем сходятся документы и память людей. Но так как и все документы и сознание членов Партии полностью подчинены контролю последней, — прошлое таково, каким его хочет представить Партия. Отсюда также следует, что хотя прошлое и поддается изменениям, в каждый, отдельно взятый, момент оно неизменяемо. Ибо, когда оно воссоздается в образ, соответствующий данному моменту, новая версия и становится подлинным прошлым, исключая существование всякого иного. Это верно даже и тогда, когда (как это нередко бывает) приходится изменять событие по несколько раз в год, так что оно в конце концов становится неузнаваемым.

мым. Партия всегда обладает абсолютной истиной, которая, естественно, не может быть ничем иным, кроме того, чем она является в данный момент. Контроль реальности, как мы увидим ниже, зависит более всего от тренировки памяти. Проверка того, насколько письменные памятники соответствуют текущему моменту — просто техническая задача. Но необходимо также, чтобы память людей подтверждала, что события протекали в желательном для Партии направлении. Если при этом приходится реконструировать чью-либо память или подделывать документы, то о том и о другом необходимо потом забыть. Искусство забывать можно развить в себе как и всякую иную способность. Большинство членов Партии и, во всяком случае, все те, кто настолько же сообразителен, насколько и тверд в убеждениях, владеют этим искусством. На Староречи оно, довольно откровенно, называется «контролем реальности», на Новоречи — двоемыслием, хотя двоемыслие и означает многое другое.

Двоемыслие — это способность придерживаться двух взаимоисключающих мнений и верить в оба. Сознательный член Партии знает, в каком направлении ему необходимо изменить свою память, а следовательно, знает и то, что он жонглирует действительностью, но, то же самое двоемыслие помогает ему смириться с этим. Процесс должен протекать сознательно, иначе он не будет достаточно точным; но, вместе с тем, он должен быть и бессознательным, чтобы не оставить после себя чувства фальши, а значит, и чувства вины. Двоемыслие — альфа и омега Ангсоца, потому что главное для Партии — это так использовать сознательный обман, чтобы, благодаря неизменности цели, остаться незапятнанной. Говорить преднамеренную ложь и искренне верить в нее; забывать все то, что стало неприемлемым и снова извлекать забытое из небытия, когда это становится необходимым; отрицать объективную действительность и тут же принимать ее в расчет — вот что такое двоемыслие. Даже для того, чтобы пользоваться словом двоемыслие,

нужно иметь навык в двоемыслии. Ибо, прибегая к нему, мы сознаем, что фальсифицируем действительность, но следующим актом двоемыслия стираем свое собственное знание, и так — без конца, причем ложь все время идет на один шаг впереди правды. В последнем счете только благодаря двоемыслию Партия получила возможность остановить ход истории и, вероятно, будет обладать этой возможностью еще тысячелетия.

В прошлом все олигархии теряли власть либо потому, что они костенели, либо оттого, что становились мягкотелыми. Они или держали себя глупо и вызывающе, не умели приспособиться к меняющимся обстоятельствам, и их свергли; или, наоборот, они делались либеральными и трусливыми, шли на уступки, когда следовало проявлять силу, и тоже оказывались сброшенными. Иными словами, они погибали либо по причине сознательности, либо из-за отсутствия ее. Достижением Партии является то, что она выработала систему мышления, объединяющую оба эти состояния. Никакая иная система не могла бы сделать власть Партии вечной. Если вам дано править, и вы хотите оставаться у власти, вы должны уметь отвлекаться от действительности. Тайна властвования состоит в сочетании веры в собственную непогрешимость с умением учиться на опыте прежних ошибок.

Стоит ли говорить, что самыми искусными практиками двоемыслия были те, кто изобрел его, зная при этом, что оно является системой гигантского умственного обмана. В нашем обществе наилучшим знанием происходящего обладают люди, наименее способные видеть подлинный облик мира. Вообще говоря, чем больше понимания, тем больше заблуждения: чем больше ума, тем меньше здравомыслия. Яркая иллюстрация этого — тот факт, что военная истерия возрастает с каждой ступенью социальной лестницы. Едва ли не самое разумное отношение к войне проявляют народы спорных территорий. Для них война — просто постоянное бедствие, которое захлестывает их, как волна прибоя. Для них совершенно безразлично, кто побеждает. Они знают,

что смена сюзеренов — это только перемена имени хозяина: на него придется выполнять ту же работу, и он будет обращаться с ними как и прежние хозяева. Несколько более привилегированные рабочие, называемые «пролами», лишь время от времени проявляют сознательное отношение к войне. В случае необходимости их можно довести до бешеного страха и ненависти, но, предоставленные самим себе, они способны надолго забыть о том, что идет война. Подлинным военным энтузиазмом проникнута лишь Партия, главным образом — Внутренняя Партия. В покорение мира тверже всего верят те, кто знает, что оно неосуществимо. Это своеобразное единство противоположностей — знания и невежества, цинизма и фанатизма — одна из характерных черт общества Океании. Официальная идеология полна противоречий даже там, где в этом нет никакой практической необходимости. Так, например, Партия отвергает и поносит все те принципы, которые в свое время отстаивал социализм и делает это во имя социализма. Она проповедует невиданное в прежние века презрение к рабочему классу — и одевает своих членов в форму, являющуюся прежде характерной одеждой рабочего и именно поэтому заимствованную. Она систематически подрывает семейные устои — и называет своего вождя именем, которое взывает непосредственно к семейным чувствам. Даже названия четырех Министерств, управляющих нами, являются сознательно наглым извращением действительности. Министерство Мира — руководит войной, Министерство Правды — лжет, Министерство Любви — пытается, Министерство Изобилия — организует голод. Эти противоречия не случайны и не простое лицемерие: они созданы для практики в двоемыслии. Ибо лишь единство противоположностей делает господство вечным. Никаким иным путем нельзя преодолеть древней цикличности исторического процесса. Чтобы предотвратить равенство людей, чтобы Высшие, как мы называем их, могли остаться Высшими навсегда, господствующим состоянием общества должно стать управляемое сумасшествие.

Но есть еще один вопрос, которого мы до сих пор почти не касались: почему равенство людей недопустимо? Если предположить, что сущность самого процесса изложена выше правильно, то для чего же все-таки понадобились эти громадные, тщательно спланированные усилия, имеющие целью заморозить ход истории в определенный избранный момент?

Тут мы подходим к главной тайне. Как мы уже видели, мистика Партии, прежде всего Внутренней Партии, поддерживается двоемыслием. Но еще глубже под этим кроется первоначальная причина: неоспоримое побуждение, которое сначала привело к захвату власти, а затем вызвало к жизни и двоемыслие, и Полицию Мысли, и перманентную войну, и все прочее. Это побуждение состоит . . .

Уинстон прислушался к тишине, как прислушиваются к новому звуку. Уже довольно давно Юлия лежала очень тихо. Обнаженная до пояса, со сбившимся на глаза черным локоном, она лежала на боку, положив руку под голову. Грудь ее медленно и ровно поднималась и опускалась.

— Юлия.

Никакого ответа.

— Юдия, ты не спишь?

Молчание. Она спала. Он закрыл книгу, тихонько положил ее на пол, лег и натянул на обоих одеяло.

Он думал о том, что по-прежнему не может постичь конечной тайны. Он понимал как; он не мог понять зачем. В сущности, и первая и третья глава не сказали ему ничего нового, — они просто систематизировали то, что он уже знал. Но теперь, больше, чем прежде, он был уверен в том, что он не сумасшедший — книга убедила его в этом. Думать так, как думает меньшинство или даже как никто другой больше не думает — вовсе не значит быть сумасшедшим. Существует правда и существует ложь, и если вы остались верным правде, — пусть даже один на целом свете, —

вы не сумасшедший. Косой желтый луч угасавшего солнца проник в комнату и лег на подушку. Уинстон закрыл глаза. От солнца, падавшего на лицо, клонило в сон, а близость нежного тела Юлии рождала сильное чувство уверенности в себе. Он был в безопасности, все обстояло хорошо. «Здравомыслие — не статистика» — сонно пробормотал он, с таким чувством, словно это замечание было полно важного смысла.

## Х

Когда Уинстон проснулся, ему показалось, будто он спал долго. Но, взглянув на старомодные часы, он убедился, что было только двадцать тридцать. Некоторое время он оставался в постели, погруженный в дремоту. Потом внизу на дворе раздался знакомый грудной голос. Он пел:

То была лишь мечта безнадежная,  
Промелькнувшая ранней весной.  
Но те речи и взгляд, разбудивши мир грез,  
Унесли мое сердце с собой.

Глупая песня все еще, должно быть, не вышла из моды. По-прежнему ее можно было слышать где угодно. Она пережила «Песню Ненависти». Пение разбудило Юлию. Она с наслаждением потянулась и встала с постели.

— Я хочу есть, — сказала она. — Давай выпьем еще по чашке кофе . . . Что такое? Керосинка погасла и вода остыла. — Она приподняла и покачала керосинку. — Ты знаешь, она совсем пустая.

— Я думаю, можно будет попросить керосина у старика Чаррингтона.

— Странно! Я была уверена, что она налита. — Юлия немного помолчала и добавила: — Я буду одеваться. По-моему, стало уже холодно.

Уинстон тоже встал и оделся. Голос во дворе неутомимо продолжал:

Говорят, время все исцеляет,  
Что легко все забыть навсегда,  
Но тот смех и рыданья былые  
В моем сердце звучат, как тогда.

Затягивая пояс комбинезона, Уинстон подошел к окну. Солнце, по-видимому, уже скрылось за домами, и его лучи не проникали больше во двор. Плиты двора были влажны, словно только что вымыты, и вымытыми казались небеса — такой свежей и нежной была их голубизна, просвечивавшая между труб. Развешивая пеленки, женщина без устали ходила взад и вперед по двору; она то вынимала изо рта прищепки и начинала петь, то умолкала. Интересно было бы знать, — подумал Уинстон, — зарабатывает эта женщина стиркой на жизнь или просто она — раба двух-трех десятков внучат? Подошла Юлия; стоя рядом, они невольно залюбовались крепкой фигурой, расхаживавшей по двору. Глядя на то, как она стоит в своей характерной позе, на ее полные руки, протянутые к веревке, на ее мощные, выступающие, как у лошади, ягодицы, Уинстон первый раз подумал, что она красива. Никогда прежде он не мог себе представить, что тело пятидесятилетней женщины, разбухшее до чудовищных размеров от деторождения, а потом окрепшее и огрубевшее в работе до того, что стало грубо-волокнистым, точно перезревшая репа, — что такое тело может быть красивым. Но это было так, и, в конце концов, — подумал он, — почему оно не может быть красивым? Между массивным бесформенным, как кусок гранита, телом женщины с его шершаво-красной кожей, и телом девушки, существовало то же самое родство, что между ягодой шиповника и его цветком. Почему плод должен уступать цветку?

— Она красива, — прошептал он.

— И не меньше метра в поперечнике, — отозвалась Юлия.

— Это ее стиль.

Они стояли обнявшись, и рука Уинстона легко охваты-

вала гибкую талию девушки. Нога Юлии от колена до бедра была прижата к нему. Никогда, никогда у них не будет ребенка! Этого им не дано. Только облекая свое тайное знание в слова, только обращаясь к разуму людей, они могут передать это знание дальше. Женщина, на которую они смотрели, не привыкла думать; у нее — лишь сильные руки, отзывчивое сердце и плодовитое чрево. Сколько детей могло быть у нее? Он ничуть не удивился бы, узнав, что она произвела на свет пятнадцать человек. Когда-то она пережила короткий, почти моментальный расцвет: вероятно год, не больше, цвела, как дикая роза. Потом, точно опыленный цветок, превратилась в плод, быстро окрепла, обветрилась и огрубела и с тех пор, целых тридцать лет без перерыва, вся ее жизнь — это стирка, чистка, штопанье, варка, подметание полов, вытирание пыли, починка и опять чистка и стирка, — сначала для детей, потом для внуков. И на исходе этих тридцати лет она все еще поёт. Мистическое благоговение перед нею как-то смешивалось с чувствами, которые вызывал в нем вид безоблачного бледного неба, раскинувшегося за трубами в бесконечной дали. Удивительно, думал Уинстон, что небо, — здесь, в Истазии, в Евразии, — везде одно и то же. И люди под небесами — сотни тысяч, миллионы людей — всюду одинаковы; они ничего не знают друг о друге, живут, разделенные стенами лжи и ненависти и всё же почти ничем не отличаются друг от друга. Они никогда не учились размышлять, но в мышцах, во чреве и в сердцах у них заключена такая сила, которая в один прекрасный день может перевернуть вселенную. Если и есть надежда, то только на пролов! Даже не дочитав книги Гольдштейна до конца, он уже знал, что в этих словах весь ее смысл. Будущее принадлежит пролам. Но может ли он быть уверен в том, что когда пробьет их час, и они построят свой собственный мир, — что этот мир не будет так же чужд ему, Уинстону Смиту, как мир Партии? Нет, он не будет чужд ему, потому что, несомненно, это будет мир здравого смысла. Где равенство, там здравый смысл. Рано или поздно сила должна будет уступить место

разуму. Пролы бессмертны. Стоило бросить взгляд на богатырскую фигуру во дворе, чтобы это стало ясно. В конце концов, час их пробуждения настанет. И даже если он настанет только через тысячу лет, они, вопреки всему, устроят, передавая, как птицы, из рода в род свою жизнеспособность, которой Партия не может ни заимствовать у них, ни уничтожить.

— Помнишь ли ты дрозда, который пел для нас в первый день на опушке леса? — спросил Уинстон.

— Он пел не для нас, — сказала Юлия. — Он пел для себя. Нет, даже и не так. Он просто пел.

Птицы поют, пролы поют, Партия никогда не поет. По всему свету, — в Лондоне и в Нью-Йорке, в Африке и в Бразилии, в неизведанных, запретных краях за рубежами страны, на улицах Парижа и Берлина, в деревнях бескрайных равнин России, на базарах Китая и Японии — всюду стоит та же самая массивная, несокрушимая фигура, изуродованная работой и деторождением, — фигура человека, трудящегося от колыбели до могилы и все же продолжающего петь. Это его могучие чресла дадут род разумных. Вы мертвы. Будущее в руках пролов. Но в этом будущем обретете свое место и вы, если донесете до него светоч разума, как они светоч жизни, и сумеете передать другим тайную аксиому: два и два — четыре.

— Мы мертвы, — сказал он.

— Мы мертвы, — покорно, словно эхо, отозвалась Юлия.

— Вы мертвы! — произнес железный голос позади них.

Они отскочили друг от друга. Уинстон весь похолодел. Он видел, как смертельный ужас отразился в глазах Юлии. Ее лицо стало изжелта-белым. Пятна румян, еще не стертые со щек, выступили необыкновенно ярко, словно отдельно от лица.

— Вы мертвы! — повторил железный голос.

— Он был за картиной, — задыхаясь, прошептала Юлия.

— Он был за картиной, — подтвердил голос. — Оста-

войдите точно там, где вы стоите. Не двигайтесь, пока вам не прикажут.

Вот и пробил их час, вот и пробил! Ничего иного им не оставалось делать, как стоять, глядя в глаза друг другу. Мысль о спасении, — о том, чтобы бежать, пока не поздно, — даже не пришла им в голову. Как можно было не подчиниться железному голосу, исходившему откуда-то из стены? Раздался щелчок, точно открылась задвижка, послышался звон разбитого стекла и картина упала на пол, открыв телескрин.

— Теперь они нас видят, — сказала Юлия.

— Теперь мы видим вас, — повторил голос. — Станьте посередине комнаты! Повернитесь спинами один к другому. Заложите руки за голову. Не касайтесь друг друга!

Они и не касались. Но Уинстон словно чувствовал, как дрожит Юлия. Или это сам он дрожал? С трудом ему удалось заставить себя не стучать зубами, но колени никак не хотели подчиняться ему. Внизу, на первом этаже, и около дома затопали сапоги. Двор, по-видимому, был уже полон людей. По камням что-то тащили. Пение женщины резко оборвалось. Кто-то толкнул лохань, и она с долгим дребезжаньем покатила по плитам двора; потом последовали сердитые крики, перешедшие в крик боли.

— Дом окружен, — сказал Уинстон.

— Дом окружен, — повторил голос.

Уинстон слышал, как Юлия стиснула зубы.

— Я думаю, пришло время проститься, — сказала она.

— Пришло время проститься, — подтвердил голос.

И вслед затем другой, более высокий и интеллигентный голос, показавшийся Уинстону знакомым, добавил:

— Кстати, раз уж мы коснулись этой темы: «Свечка осветит постель, куда лечь; сечка ссечёт тебе голову с плеч».

Что-то со звоном упало на постель позади Уинстона. Выбив раму, в окно просунулась верхушка лестницы. Кто-то быстро взбирался по ней в комнату. На ступеньках, ведущих из первого этажа, тоже послышался топот сапог. Комна-

та наполнилась крепкими парнями в чёрной форме, в сапогах с подковами и с дубинками в руках.

Уинстон больше не дрожал. Даже глаза его были почти неподвижны. Только об одном он думал: стоять тихо и не давать им повода ударить. Человек с тяжёлой, литой челюстью боксёра, в которой едва намечалась шелка рта, остановился перед ним, задумчиво играя дубинкой. Глаза их встретились. Невыносимо было стоять так, словно обнажённым, держа руки на затылке и чувствуя, что лицо и тело ничем не защищены. Охранник высунул белый язык, облизнул то место, где полагалось быть губам, и отошел. Опять раздался звон стекла. Кто-то увидел на столике пресс-папье и, хватив его изо всей силы о камин, разбил на мелкие куски.

Крохотная розовая завитушка коралла, похожая на сахарную розу, вроде тех, какими украшают торты, покати-лась по половику. Как ничтожно, — подумал Уинстон, — как ничтожно было это все! Позади послышался храп зады-хающегося и падения тела; Уинстона толкнуло по ногам, и он едва не потерял равновесия. Один из охранников с такой силой ударил Юлию кулаком под ложечку, что она перело-милась пополам, как складная линейка. Она билась на полу, судорожно хватая воздух ртом. Уинстон не посмел повер-нуть головы даже на миллиметр, но по временам углом гла-за улавливал сине-багровое, искаженное удушьем лицо Юлии. Хотя и сам он был охвачен ужасом, он чувствовал ее смертнүю боль, как свою собственную. Он знал, каково это: чувствовать, что ты задыхаешься, и не иметь силы вздохнуть от нестерпимой боли. Но двое охранников уже подхватили Юлию — один за плечи, другой под колени — и потащили, как мешок, из комнаты. Перед Уинстоном промелькнула ее запрокинутая голова с искаженным пожелтевшим лицом, с закрытыми глазами и с пятнами румян на обеих щеках. Больше ему не суждено было видеть ее.

Он стоял, как вкопанный. Никто еще ни разу не ударил его. Сами собой замелькали мысли, но все совершенно неин-тересные. А что с господином Чаррингтоном — схватили его

тоже или нет? Что с женщиной во дворе? Он чувствовал, что ему очень нужно пойти в уборную и удивлялся этому, потому что был там недавно. Потом он заметил, что часы на камине показывают уже девять, т. е. двадцать один, а на дворе как будто все еще было светло. Разве в августе в двадцать один час день уже не угасает? Он начал догадываться, что, очевидно, они с Юлией ошиблись во времени — проспали полсуток и приняли утро за вечер. Но больше ему не хотелось думать. Во всем этом не было ничего интересного.

Из коридора донеслись легкие шаги. Господин Чаррингтон вошел в комнату. Охранники вдруг подтянулись. Что-то как будто изменилось во внешности господина Чаррингтона. Его взгляд упал на осколки пресс-папье.

— Подобрать! — резко сказал он.

Один из охранников бросился исполнять приказ. В речи господина Чаррингтона не слышался больше акцент кокни. Уинстон внезапно сообразил, чей голос он слышал несколько минут тому назад по телескрину. Господин Чаррингтон все еще был одет в свою вельветовую куртку, но волосы из седых стали почти черными. Не было и очков. Он пристально взглянул в лицо Уинстону, словно удостоверения его личность, и больше уже не замечал его. Перед Уинстоном был другой человек, в котором, однако, можно было узнать господина Чаррингтона. Он весь выпрямился, стал как будто даже выше ростом. Какие-то очень незначительные перемены произошли в лице, но тем не менее, они совсем его преображали. Брови были менее кустистыми, чем прежде, морщины пропали, все черты приняли иное выражение, даже нос, казалось, стал короче. Это было настороженное, холодное лицо человека лет тридцати пяти. И Уинстон подумал, что первый раз в жизни видит сотрудника Полиции Мысли, зная о том, кто он такой.

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### I

Он не знал, где он. По всей вероятности, он находился в Министерстве Любви, но уверен в этом не был.

Камера с высоким потолком и без окон была облицована белыми сверкающими изразцами. Невидимые лампы заливали ее холодным светом; откуда-то издали доносилось ровное жужжание, издаваемое, очевидно, вентилятором. Вокруг всей камеры, обрываясь лишь у двери, шла скамья. Вернее, это был просто выступ в стене и притом настолько узкий, что на нем едва можно было сидеть. Против двери стоял унитаз без деревянного сиденья. В камере имелось четыре телескрин — по одному на каждой стене.

Непрестанно мучили тупые боли в животе. Они не проходили с той минуты, как его посадили в крытый грузовик и повезли. Нездоровый, изнуряющий голод жег внутренности. Прошли, быть может, сутки, даже полтора суток, с тех пор, когда он ел последний раз. Он все еще не знал и, возможно, не узнает уже никогда, в какое время дня его арестовали — утром или вечером. С момента ареста ему ни разу не давали есть.

Скрестив руки на коленях, он, насколько мог, спокойно сидел на узкой скамье. Он уже научился сидеть неподвижно. Стоило пошевелиться, как из телескрин доносился крик. Однако голод давал себя знать все настойчивее и настойчивее. Он вдруг решил, что в кармане комбинезона должны сохраниться крошки хлеба. Возможно, что там завалылась даже целая корка, потому что иногда он чувствовал прикосновение чего-то твердого к ноге. Наконец, желание прове-

речь догадку пересилило страх, и он сунул руку в карман.

— Смит! — заорал телескрин. — 6079, Смит У! Прочь руки из карманов! Забыли, что вы в камере!

Он снова скрестил руки на коленях и замер в прежнем положении. До того, как привести сюда, его продержали некоторое время в другом месте — не то в обычной тюрьме, не то просто в участке, куда временно сажают арестованных патруль. Он не мог точно сказать, долго ли сидел там; несколько часов, во всяком случае, — трудно определить время, когда нет часов и не видишь дневного света. Это было шумное и вонючее помещение. Уинстона посадили в камеру, похожую на ту, в которой он сидел теперь, но отвратительно грязную и набитую людьми: в ней все время находилось от десяти до пятнадцати человек. Большинство обитателей камеры составляли уголовные преступники, но было и несколько политических. Стиснутый со всех сторон грязными телами, Уинстон молча сидел у стены, чувствуя себя слишком подавленным болью в желудке и страхом, для того, чтобы проявлять интерес к окружающему. Но все-таки он не мог не заметить разницы в поведении членов Партии и остальных арестованных. Эта разница удивила его. В то время как партийцы были скованы ужасом и замкнуты в себе, уголовных, по-видимому, несколько не беспокоило их положение. Они люто бранили сторожей, ожесточенно отбивали всякую попытку конфисковать личные вещи арестованных при входе в камеру, писали неприличные слова на полу, доставали из каких-то непостижимых тайников своей одежды контрабандные продукты и тут же ели их. А когда телескрин пытался водворить порядок в камере, они поднимали такой крик, что заставляли его замолчать. Вместе с тем, некоторые из уголовников находились, видимо, в дружбе с охранниками и клянчили у них через глазок сигареты. Со своей стороны, и охрана относилась к уголовникам с некоторым снисхождением, даже, когда их приходилось усмирять. Большинство заключенных предполагали, что попадут в концлагерь, и в камере было много разговоров на эту тему.

Уинстон узнал, что в лагере «можно жить», если вы умеете найти «ходы» и завести полезные знакомства. Там царят взяточничество, блат и всякого рода вымогательство; там процветают мужеложество и проституция, и можно даже добыть самогон, сделанный из картошки. Ответственные посты доверяются только уголовникам, особенно бандитам и убийцам, образующим род лагерной аристократии. Вся самая грязная работа выполняется политическими заключенными.

В камере никогда не прекращалось движение: все время приходили и уходили арестанты — торговцы наркотиками, воры, бандиты, спекулянты черного рынка, пьяные, проститутки. Некоторые пьяницы так буянили, что остальным заключенным приходилось сообща их умирять. Четверо охранников втащили за руки и за ноги визжавшую и отбивавшуюся от них чудовищную развалину — старуху лет шестидесяти, с громадной обвисшей грудью и с копной седых волос, растрепавшихся в драке. Стащив с нее ботинки, которыми она все время норовила их лягнуть, они бухнули ее прямо на колени Уинстона, едва не поломав ему костей. Старуха приподнялась, громко пустила вслед охранникам — «Выбл . . . ки!» — и заметив, что сидит на чем-то неровном, сползла с колен Уинстона на скамью.

— Извиняюсь д . . . дорогуша, — пробормотала она заплетающимся языком. — Я не собиралась садиться на тебя, это меня эти п . . . педерасты усадили. Разве они п . . . понимают обращение с женщиной?

Старуха помолчала, пошлепала себя по груди и громко рыгнула.

— Извиняюсь, — повторила она. — Я еще маленько не т . . . того.

Она наклонилась и ее обильно стошнило прямо на пол.

— Так-то лучше, — залепетала она, откидываясь назад с закрытыми глазами. — Никогда не надо д . . . держать это-то в себе. Выблевывай, п . . . пока оно не скисло у тебя в нутре. Это куда лучше.

Она немного очухалась, посмотрела ещё раз на Уин-

стона и, должно быть, сразу вспылала симпатией. Обняв его за плечи громадной ручищей, она привлекла его к себе.

— Как тебя звать, д . . . дорогуша? — спросила она, дыша ему в лицо блевотиной и пивом.

— Смит.

— Смит? — удивилась старуха. — Вот это з . . . здорово! А моя фамилия тоже Смит! С . . . слушай, а, может быть, я твоя мать? — воскликнула она сентиментально.

Да, — подумал Уинстон, — почему бы ей и не быть моей матерью? Она была примерно тех же лет, что мать, и даже похожа на нее сложением. Что же касается остального, то, ведь, не могла не измениться мать, пробывши двадцать лет на каторге?

Больше никто с ним не заговаривал. Его немало удивило, что уголовные преступники относились к членам Партии с явным пренебрежением. Кличка «политический» имела в устах уголовников оттенок равнодушного презрения. Сами же партийцы боялись вступать в разговоры, особенно друг с другом. Только один раз Уинстон в общем гвалте уловил торопливый шопот двух партиек, сидевших рядом на скамье; разговор шел о какой-то «камере один-ноль-один», и он ничего не понял из него.

Часа два-три тому назад его привели сюда. Тупая боль в желудке, не проходя ни на минуту, то обострялась, то слабела и, соответственно, сужался и расширялся круг его мыслей. Когда он чувствовал себя особенно плохо, он думал лишь о боли и о пище. Но как только становилось лучше, и он обретал способность рассуждать, его охватывала паника. В иные минуты будущее представляло перед ним с такой отчетливостью, что сердце леденело и дыхание останавливалось. Он почти ощущал удары дубинок по локтям, чувствовал, как подкованные сапоги бьют по коленям, видел себя у ног мучителей, слышал, как из окровавленного рта исторгаются вопли о пощаде. Он почти не думал о Юлии — не мог сосредоточиться на мысли о ней. Он любит ее и не предаст; но это звучало как заученная истина, как арифметическое

правило В сердце у него не было любви к Юлии, и он почти не задумывался над ее судьбой. Гораздо чаще, со слабой надеждой, он думал об О'Брайене. О'Брайен должен знать, что он арестован. Братство, — говорил О'Брайен, — никогда не помогает своим членам. Но ведь существует еще бритвенное лезвие, и, быть может, Братство найдет способ передать его Уинстону. Это может произойти за пять секунд до того, как охранники ворвутся в камеру. С обжигающим холодом лезвие вонзится в тело, прорезая до костей даже пальцы, держащие его. Но, стоило подумать об этом, — и он снова ощущал свое больное тело, с дрожью замиравшее от малейшей боли. Он не был уверен, что воспользуется лезвием, даже если и представится возможность. Куда проще цепляться за каждые десять минут жизни, хотя и знаешь твердо, что в конце тебя ждет только смертная пытка.

Иногда он пробовал считать изразцы на стенах. Казалось бы, — чего проще? Однако, каждый раз он рано или поздно сбивался со счета. Еще чаще он раздумывал над тем, где он, и какое сейчас время дня. Иногда он был уверен, что на улице в эту минуту светлым-светло, но вслед затем с такой же уверенностью готов был утверждать, что на дворе — самая полночь. Он инстинктивно догадывался, что здесь, в камере, свет никогда не гасится. Это было «царство света», и теперь он понимал, почему в свое время О'Брайен уловил его намек. В Министерстве Любви не было окон. Камера, в которой он сидел, могла находиться в самой середине здания или близ его наружных стен, могла быть под землей на глубине десяти этажей или на тридцатом этаже над уровнем земли. Он мысленно переносился из одного места в другое, стараясь по своему физическому состоянию угадать — висит он где-то в воздухе или похоронен в глубокой могиле.

Снаружи раздались шаги. Стальная дверь с лязгом открылась. Подтянутый молоденький офицерик в черной форме, с начищенными до блеска ремнями и с бледным лицом, которому прямые и правильные черты придавали сходство с восковой маской, быстрой и четкой походкой вошел в каме-

ру. Он дал знак охранникам ввести заключенного. В камеру, волоча ноги, втащился поэт Амплефорс. Дверь снова загремела, закрываясь за ним.

Амплефорс неуверенно сунулся сначала в одну, потом в другую сторону, словно думал, что где-то тут недалеко должна быть еще одна дверь, через которую можно выйти, потом принялся без толку кружить по камере. Он все еще не замечал Уинстона. Его озабоченный взгляд был устремлен куда-то в стену, чуть не на целый метр поверх головы Уинстона. Он был бос; большие грязные пальцы выглядывали сквозь дыры в носках. Кроме того, он, по-видимому, уже несколько дней не брился. Щетина покрывала все его лицо до самых скул, придавая ему вид разбойника, плохо вязавшийся с его большой, мешковатой фигурой и нервными движениями.

Уинстон очнулся от своего забытья. Даже рискуя услышать новый окрик из телескрин, он должен попробовать завязать разговор с Амплефорсом. Возможно, что он и есть тот самый человек, с которым послана бритва.

— Амплефорс! — позвал он.

Телескрин молчал. Слегка изумленный Амплефорс остановился. Его взгляд медленно сосредоточился на Уинстоне.

— А, Смит! — проговорил он. — Вы тоже? . .

— За что вы сюда попали?

Амплефорс неуклюже опустился на скамью против Уинстона.

— Как попал? — повторил он. — По правде говоря, существует ведь только одно преступление, не так ли?

— И вы совершили его?

— По-видимому, да.

Он положил руку на лоб и сжал пальцами виски, словно сиюсья припомнить что-то.

— Всяко бывает, — начал он туманно. — Это произошло . . . Я припоминаю один случай. С него, должно быть, всё и началось. Конечно, я поступил необдуманно . . . Мы готовили к печати полное и исправленное издание стихов Кип-

линг. И я оставил слово «Провидение» в конце строки. Ничего иного я не мог сделать, — пояснил он почти негодуя, поднимая голову и в упор глядя на Уинстона. — Строку невозможно было изменить. Рифмой было «сочленение». Известно ли вам, что во всем английском языке существует лишь двенадцать рифм к слову «сочленение»? Я ломал голову целыми днями. Но другого слова, кроме «Провидение», не было. Просто не было!\*)

Выражение его лица изменилось. Досада исчезла и на миг на нем отразилось почти удовольствие. Сквозь щетину и грязь засияло что-то вроде творческой радости — радости педанта, открывшего бесполезную истину.

— Не приходило ли вам в голову, Смит, — сказал он, — что вся история английской поэзии определяется тем фактом, что английский язык беден рифмами?

Нет, Уинстон никогда не задумывался над этим. Кроме того, при данных обстоятельствах, мысль Амплефорса не казалась ему ни значительной, ни интересной.

— Вы не знаете, какое сейчас время дня? — спросил он. Амплефорс, казалось, снова удивился.

— Я не думал об этом. Меня арестовали . . . два дня тому назад . . . может быть, три. — Его глаза забегали по стенам, словно он рассчитывал найти окно. — Тут не знаешь, когда день, а когда ночь, — продолжал он. — Я не представляю, как мы можем определить время.

Бессвязный разговор продолжался еще несколько минут. Потом вдруг, безо всякой видимой причины, телескрин приказал им замолчать. Уинстон прекратил разговор и снова скрестил руки на коленях. Амплефорс, которому комплек-

\*) Перевод приближителен. Речь, по-видимому, идет о следующих строчках из стихотворения Кипплинга „M'Andrew's Hymn“: From coupler — flange to spindle-guide I see They Hand, O God — Predestination in the stride o'yon connectin'-rod.

Слово „connecting rod“ значит — «шатун», «тяга», «сочленение». „God“ по-английски — Бог, Господь. (Прим. переводчиков).

ция не позволяла как следует сидеть на узкой скамье, принялся было раскачиваться из стороны в сторону, обхватывая худыми руками то одно колено, то другое. Телескрин залаял на него и велел успокоиться. Время шло: двадцать минут, час — трудно сказать, сколько. Потом за дверью снова раздались шаги. У Уинстона все задрожало внутри. Скоро, очень скоро, быть может, через пять минут, а, может быть, сейчас, шаги будут означать, что наступила его очередь.

Дверь отворилась. Тот же офицерик с холодным лицом вошел в камеру. Коротким движением руки он указал на Амплефорса.

— В 101-ую камеру! — сказал он.

Окруженный охранниками Амплефорс неуклюже направился к выходу. На лице у него было написано смутное беспокойство и недоумение.

Опять прошло немало времени. Боли в желудке возобновились. Точно заблудившаяся мысль Уинстона кружила и кружила по своим собственным следам. Боль в желудке... кусок хлеба... кровь и вопли о пощаде... О'Брайен... Юлия... бритвенное лезвие — вот все, о чем он думал. Сердце опять сжалось: кто-то, тяжело топая сапогами, подходил к двери. Когда она открылась, в камеру, вместе с волной воздуха, хлынул острый запах пота. Вошел Парсонс. Он был одет в трусики цвета хаки и в спортивную рубашку.

На этот раз Уинстон был так удивлен, что на миг заблуждался.

— Как, и вы здесь? — вскричал он.

Парсонс обвел его взглядом, в котором не было ни удивления, ни любопытства, а одно только страдание. Он принялся нервно ходить из угла в угол, словно ему было не под силу усидеть на месте. И каждый раз, когда его пухлые колени выпрямлялись, можно было видеть, как они дрожат. Широко открытые глаза Парсонса были пристально устремлены вперед, точно он внимательно разглядывал что-то на некотором расстоянии от себя.

— Как вы угодили сюда? — спросил Уинстон.

— Преступление мысли! — едва сдерживая слезы, отозвался Парсонс. В его голосе звучало и полное признание своей вины, и недоумение, и ужас перед тем, что такое слово может относиться к нему. Он остановился против Уинстона и, явно стараясь снискать его сочувствие, принялся засыпать вопросами. — Как вы полагаете, старина, ведь меня не расстреляют, а? Ведь не могут расстрелять, если вы не сделали ничего плохого, а только подумали? . . . Просто — не могли не подумать! Я знаю, что меня будут судить по справедливости, — в чем другом, а в этом я уверен. Вот скажите: разве вы не знаете, каков я человек? Чем плох? В своем роде совсем не так уж плох, не правда ли? Конечно, не больно умен, но все-таки с головой. И уж я ли не старался делать все, что мог для Партии? Вы не думаете, старина, что я отделаюсь пятью годами? Ну, пусть даже десятью! Ясно: такой парень, как я, может пригодиться и в концлагере. Не расстреляют же меня за то, что я только один раз сошел с рельсов?

— А разве вы виновны? — спросил Уинстон.

— Ну, конечно, я виновен! — вскричал Парсонс, кидая раболопный взгляд на телескрин. — Неужели вы допускаете, что Партия может арестовать невинного? — Его лягушачья физиономия обрела более спокойное, даже слегка ханжеское выражение. — Преступление мысли — страшная вещь, старина, — заявил он поучительно, — коварнейшая вещь! Так подкрадется к вам, что вы и не заметите. Знаете, как было дело со мной? Во сне! Честное слово, во сне! Жил да жил себе, трудился, делал свое дело и не подозревал, что в голове у меня завелась какая-то дрянь. А потом вдруг начал говорить во сне. И, представьте, что я говорил! . . .

Как пациент, которому приходится говорить с доктором о непристойностях, он понизил голос.

— Долой Старшего Брата! — вот что я говорил. Да, да! И не то, чтобы раз или два, а твердил и твердил, чуть не каждую ночь. Между нами, старина, я рад тому, что меня взяли, пока дело не зашло чересчур далеко. Знаете, что я

скажу, когда предстану перед судом? «Спасибо, — скажу я. — Спасибо вам за то, что спасли меня, пока еще можно было спасти!»

— Кто ж это донес на вас? — спросил Уинстон.

— Кто? Моя меньшая! — вскричал Парсонс с оттенком скорбной гордости. — Она, видите ли, подслушивала у замочной скважины. Услыхала, что я говорю, и на другой же день стукнула в полицию. Довольно рассудительно для семилетнего клопа, не правда ли? Но я не сержусь на нее. Ничуть! Напротив, я горжусь ею. Разве это не доказывает, что я сумел наставить ее на путь истинный?

Он опять нервно прошелся несколько раз из угла в угол, все время с вожделием поглядывая на унитаз. Потом вдруг быстро стал спускать штаны.

— Извините, старина, — пробормотал он. — Не могу больше терпеть. Это от волнения.

Он плюхнулся толстым задом на унитаз. Уинстон закрыл лицо руками.

— Смит! — закричал телескрин. — 6079, Смит У! Прочь руки от лица! В камере не разрешается закрывать лицо!

Уинстон отнял руки. Парсонс шумно и обильно отправлял свои надобности. Потом обнаружилось, что спуск унитаза не работает, и в камере надолго установилась отвратительная вонь.

Парсонса увели. Неизвестно почему, то появлялись, то снова исчезали другие заключенные. Какую-то женщину было приказано отправить в «камеру 101», и Уинстон видел, как она при этих словах вся съезжилась и изменилась в лице. Время шло и шло: если его привели сюда утром, то теперь, видимо, был уже полдень, если днем — сейчас должна была быть полночь. В камере стояла глубокая тишина, хотя в ней находилось шестеро заключенных, женщин и мужчин. Напротив Уинстона сидел человек без подбородка, с торчащими верхними зубами, удивительно напоминавший большого безвредного грызуна. Жирные пятнистые щеки так отвисали, что казалось, будто за ними спрятаны изрядные запасы пи-

щи. Светло-серые глаза робко перебежали от лица к лицу, но, встретив чужой взгляд, сейчас же уходили в сторону.

Дверь отворилась, и ввели нового арестанта, один вид которого заставил Уинстона похолодеть. Судя по внешности, это был обыкновенный техник или инженер. Поражала и пугала в нем необычайная худоба лица. Оно походило на череп скелета, обтянутый кожей. Рот и глаза казались непомерно большими, а взгляд незнакомца таил в себе неуголимую, смертоносную ненависть ко всему миру.

Арестант уселся на скамью неподалеку от Уинстона. И хотя Уинстон больше не смотрел на него, иссохшее, искаженное мукой лицо продолжало стоять перед глазами. И вдруг ему все стало ясно: этот человек умирал с голоду! Очевидно, почти в тот же миг это поняли и все другие. По рядам сидящих на скамье прошло едва заметное волнение. Взор толстяка без подбородка остановился на лице скелета, потом виновато ушел в сторону, потом, словно замороженный, опять потянулся к нему. Вскоре толстяк начал беспокойно ерзать на месте. Наконец не выдержал, встал, неуклюже переваливаясь прошел через всю камеру и, вытащив из кармана комбинезона кусок хлеба, протянул скелету.

Из телескрин раздался неистовый, оглушительный рев. Человек без подбородка даже подскочил от неожиданности и замер на месте. Заключение, походивший на скелет, быстро спрятал руки за спиной, очевидно, для того, чтобы все видели, что он отказался от подарка.

— Бамстед! — проревел телескрин. — 2713, Бамстед Дж! Бросьте хлеб!

Человек без подбородка выронил ломоть хлеба.

— Не сходите с места! — раздалась следующая команда. — Повернитесь лицом к двери! Не двигайтесь!

Заключенный повиновался. Его большие сумчатые щеки неудержимо дрожали. Дверь с грохотом распахнулась и на пороге появился молоденький офицерик. Когда он отошел в сторону, из-за его спины выступил вперед невысокий, крижистый охранник с непомерно широкими плечами и с гро-

мадными ручищами. Он остановился перед арестантом, затем, по знаку офицера, размахнулся и, подавшись всем телом вперед, ударил человека без подбородка прямо в зубы. Сила удара была такова, что заключенного, как вихрем, смело с ног. Прокатившись через всю камеру, его тело стукнулось об основание унитаза и остановилось. С минуту, видимо оглушенный, он лежал не двигаясь, в то время как из носа и изо рта у него медленно сочилась темная кровь. Не то легкий стон, не то всхлипывание непроизвольно вырвалось у него из груди. Потом он перевернулся на живот и, покачиваясь, как пьяный, неуверенно встал на четвереньки. Вместе с потоком крови и слюны изо рта у него выпали две половинки искусственной челюсти.

Арестанты сидели совершенно неподвижно, скрестив на коленях руки. Человек без подбородка кое-как добрался до своего места. Одна сторона его лица начала быстро темнеть. Рот превратился в бесформенную вишнево-красную массу, посередине которой чернела дыра. Время от времени на грудь стекали капли крови. Серые глаза еще более виновато, чем прежде, перебегали от лица к лицу, словно он старался угадать, насколько другие арестанты презирают его за унижение.

Дверь опять открылась. Коротким движением руки офицер указал на человека с лицом скелета

— В 101-ую камеру! — приказал он.

Сбоку от Уинстона кто-то судорожно всхлипнул и рванулся с места. Человек-скелет буквально рухнул на колени, с мольбой простирая руки к офицеру.

— Товарищ офицер! Товарищ офицер! — застонал он. — За что вы посылаете меня туда? Разве я не сказал вам уже всё? Что вы еще хотите знать? Нет ничего на свете, в чем я не признался бы. Только скажите, что вам нужно, и я сейчас же все признаю. Напишите это, напишите, и я подпишу! Всё, что вам угодно, подпишу! Только не в 101-ую камеру!

— В 101-ую, — повторил офицер.

И без того смертельно бледное лицо арестанта приняло

такой оттенок, что Уинстон не верил своим глазам: оно стало почти зеленым.

— Делайте со мною что хотите! — взмолился он. — Вы уже неделями морите меня голодом. Расстреляйте меня! Повесьте! Приговорите к двадцати пяти годам! Неужели я не всех выдал? Скажите, кто вам еще нужен, и я сейчас же расскажу о нем всё, что хотите. Все равно, кто бы он ни был и что бы вы ни сделали с ним! У меня жена и трое детей. Старшему всего пять лет. Приведите их сюда и перережьте им горло на моих глазах, и я не пикну. Только не в 101-ую камеру! Только не туда! . .

— В 101-ую! — сказал офицер.

Человек-скелет обвел безумным взором камеру, словно отыскивая, кого можно было бы отдать в жертву вместо себя. Его глаза остановились на разбитом лице человека без подбородка. Он поднял иссохшую руку.

— Вот кого вы должны взять, а не меня! — вскричал он. — Вы не слышали, что он тут говорил, когда получил по морде! Только разрешите, и я повторю каждое его слово. Это он враг Партии, а не я!

Охранники шагнули вперед. Крик заключенного перешел в вопль.

— Говорю вам, вы не слышали, что он болтал! Телескопин был не в порядке! Это он вам нужен, а не я! Берите его! Его, а не меня!

Два дюжих охранника наклонились, чтобы взять арестанта под руки. Но он в ту же минуту скользнул по полу в сторону и ухватился за железную ножку скамьи. Камера огласилась его пронзительным звериным воем, в котором невозможно было разобрать ни одного отдельного слова. Охранники старались оторвать его от ножки, но он с изумительной силой продолжал держаться за нее. Секунд двадцать длилась борьба. Заключенные сидели тихо, очень тихо, скрестив руки на коленях и устремив взгляд прямо перед

собой. Вой прекратился: человеку, видимо, хватало дыхания только на борьбу. Потом опять раздался вопль. Один из охранников ударил сапогом по руке арестанта и сломал ему пальцы. Заключенного поставили на ноги.

— В 101-ую! — сказал офицер.

Арестанта повели. Он шел нетвердой походкой, свесив голову, потирая искаленную руку; от его воинственного пыла не оставалось и следа.

Снова потянулось время. Если, когда уводили человека, похожего на скелет, была полночь, то сейчас было уже утро; если тогда было утро, то сейчас был полдень. Уже несколько часов Уинстон находился в камере один. Боль от сидения на узкой скамье была так невыносима, что он часто вставал и прохаживался по камере; телескрин этому не препятствовал. Кусок хлеба все еще лежал там, куда упал из рук человека без подбородка. Сначала было трудно не глядеть на него, но потом на смену голоду пришла жажда. Во рту все слипалось и чувствовался дурной вкус. Жужжание вентилятора и ровный белый свет вызывали чувство пустоты в голове — что-то похожее на дурноту. Он то вставал и ходил по камере, потому что все кости невыносимо ныли, то тут же опять садился, потому что стоило подняться, как начинала кружиться голова, и ему казалось, что он упадет. Когда удавалось хоть немного справиться с физической болью, — возвращался страх. Временами с угасавшей надеждой он думал об О'Брайене и бритвенном лезвии. Возможно, что лезвие пришлют в пищу, если только его вообще собираются кормить. О Юлии он думал реже. Где-то тут, неподалеку, страдала и она и, быть может, даже сильнее, чем он. Возможно, что в этот самый миг она кричала от боли. Он спрашивал себя: «Если бы я мог спасти ее, удвоив мои собственные страдания, согласился ли бы я на это?» И отвечал: «Да, согласился бы». Но к этому решению он приходил только умом и только потому, что чувствовал себя обязанным так рассуждать. Сердце его молчало. В таком месте, как здешнее, не

существует ничего, кроме боли или ожидания боли. Кроме того, может ли человек, страдающий от боли, ради чего бы то ни было, желать, чтобы она усилилась? Но на этот вопрос ответа еще не было.

Снова послышались шаги. Дверь отворилась. В камеру вошел О'Брайен.

Уинстон вскочил. Он был так ошеломлен, что забыл всякую осторожность. Впервые за много лет забыл он и о телескрине.

— Как! — вскричал он. — Вас тоже поймали?

— Меня поймали много лет назад, — ответил О'Брайен с вялой, слегка горькой иронией.

Он отступил в сторону. Из-за его спины вышел широкоплечий охранник с черной дубинкой в руке.

— Вы знали это, Уинстон, — сказал О'Брайен. — Не обманывайте себя. Вы всегда знали.

Да, — вдруг промелькнуло в уме Уинстона, — да, он знал это всегда. Но сейчас некогда было об этом думать. Его взгляд был прикован к дубинке охранника. Она могла обрушиться куда-угодно: на темя, на уши, на предплечье, на локоть . . .

На локоть! Почти парализованный, он рухнул на колени, зажимая поврежденную руку здоровой рукой. В глазах все помутилось. Непостижимо, непостижимо, как один, — всего один удар, — может причинить такую боль! Потом взор прояснился и всплыли лица тех, двоих, склонившихся над ним. Охранник хохотал, глядя на то, как он корчится в конвульсиях. Так или иначе, но один вопрос был наконец решен: ничто и никогда не может заставить человека желать, чтобы боль усилилась; можно желать только, чтобы она прошла. В мире нет ничего ужаснее физической боли. Перед ее лицом не может быть героев, нет героев! — пронеслось в мозгу Уинстона, в то время, как он, зажимая искалеченную левую руку, извивался на тюремном полу.

Он чувствовал, что лежит на чем-то вроде складной кровати, только более высокой, чем обычно, и привязан к ней так туго, что не в состоянии пошевелиться. Свет, казавшийся более ярким, чем всегда, бил ему прямо в лицо. Сбоку, напряженно глядя на него, стоял О'Брайен. С другой стороны находился человек в белом халате; он держал в руках шприц для подкожных впрыскиваний.

Даже после того, как он открыл глаза, он лишь постепенно начал различать окружающее. У него было такое впечатление, будто он всплывает в эту комнату из какого-то совсем иного мира, из какого-то подводного царства. Но долго ли он пробыл в глубине, — он не знал. С момента ареста он ни разу не видал дневного света и никогда не оставался в темноте. Кроме того, он вообще не помнил многого. Случалось, что сознание, даже то, которое присуще спящему, совершенно угасало и пробуждалось лишь через какой-то промежуток времени. Но равнялись эти промежутки дням, неделям или же только секундам, — он не мог сказать.

Кошмар начался с того первого удара дубинкой по локтю. Позднее ему стало ясно, что все, последовавшее за этим ударом, было простым предварительным допросом, которому подвергался почти каждый заключенный. Каждый непременно должен был признаться в целом ряде преступлений, вроде шпионажа, саботажа и тому подобного. «Признания» были простой формальностью, но пытки настоящими. Сколько раз его принимались избивать и сколько времени продолжались избивания, — он не помнил. Били всегда пятеро или шестеро охранников одновременно. Били кулаками и дубинками, сапогами и стальными прутьями. Бывали времена, когда он, утратив всякий стыд, как животное, крутился на полу, изворачиваясь так и сяк, в бесконечных и бесплодных попытках увернуться от пинков и только навлекая новые и новые удары в ребра, в пах, в живот, по голениям, по доктям, по мошонке, по крестцу. Порою это длилось без

конца, пока ему не начинало казаться, что самое мучительное, непростительное и постыдное во всем этом не то, что охранники так истязают его, а то, что он не может заставить себя впасть в беспмятство. Бывали времена, когда мужество настолько изменяло ему, что он начинал молить о пощаде раньше, чем его принимались бить, — когда одного вида занесенного для удара кулака было достаточно, чтобы он «признался» и в действительных и в вымышленных преступлениях. Бывало, что он начинал с решения — не признаваться ни в чем, и тогда каждое слово приходилось вырывать у него между обмороками, в которые он впадал от боли. Бывало и так, что он тщетно пытался найти компромисс с самим собою: «Я признаюсь, я признаюсь, — внушал он себе, — но только не сейчас, не сразу. Надо держаться, пока боль не станет нестерпимой. Еще три удара, еще два, и я все скажу, все, что они хотят» . . . Иногда, уже избитого до полусмерти, его швыряли, как мешок с картошкой, на каменный пол и оставляли так на несколько часов, чтобы дать время прийти в себя, а затем снова принимались бить. Бывали также долгие периоды выздоровления, но их он помнил смутно, потому что они проходили главным образом во сне или в оцепенении. Он припоминал камеру с нарами, вроде полки, выступающей из стены, металлическую раковину, горячий суп, хлеб, иногда кофе. Припоминал угрюмого парикмахера, приходившего скоблить ему подбородок и стричь волосы, и еще какого-то несимпатичного человека в белом, который с деловым видом считал его пульс, проверял рефлексy, выворачивал веки, щупал грубыми пальцами тело, отыскивая переломы, и совал в руку шприц со снотворным.

Потом бить стали реже, но держали в постоянном страхе, что ужас побоев в любой миг может возобновиться, если он не будет отвечать, как требуется. Следователями были теперь не головорезы в черной форме, а поблескивавшие очками партийные интеллигенты — маленькие, кругленькие, юркие мужчины. Эти новые следователи, так же как и прежние, постоянно старались причинять ему легкую боль, но не

полагались исключительно на нее. Они награждали его пощечинами, драли за уши, вырывали клочья волос, заставляли стоять на одной ноге, не пускали в уборную, слепили ярким светом до тех пор, пока глаза не застилались слезами, но все это делалось просто для того, чтобы унижить его и лишить способности рассуждать и возражать. Их главным оружием были безжалостные конвейерные допросы, продолжавшиеся многими часами. Следователи ловили его на ошибках, расставляли ловушки, искажали все, что он ни говорил, принуждали на каждом шагу признаваться во лжи и в противоречиях и доводили до того, что он начинал плакать от стыда и нервного напряжения. Иногда он принимался плакать раз пять за допрос. Его то и дело осыпали оскорблениями и при каждом колебании грозили снова отдать в руки охранников. Однако иногда тон следователей менялся: они начинали называть его «товарищем», зывали к нему от имени Ангсоца и Старшего Брата и со скорбным недоумением вопрошали, неужели у него не остается хоть настолько чувства долга перед Партией, чтобы покаяться в содеянном. После многих часов допроса, когда нервы Уинстона превращались в тряпки, даже и такая уловка могла разжалобить его до слез. Дошло до того, что брюзжание следователей стало изводить его больше, чем пинки и зуботычины охранников. Он больше не был человеком: от человека оставался только рот, который не переставая что-то говорил, и рука, которая подписывала всё, что требовали следователи. Он был озабочен лишь одним: угадать, что от него хотят и тут же, пока опять не начинались угрозы, подписать «признание». Он признался в том, что принимал участие в убийстве видных членов Партии, распространял мятежные брошюры, присваивал народные средства, продавал военные тайны, занимался саботажем всех видов. Признался, что давным-давно, с 1968 года, стал платным агентом Истазиатского правительства. Признался, что верит в Бога, преклоняется перед капитализмом, предается половым извращениям. Признался в убийстве жены, хотя и сам он знал и, очевидно, следователи долж-

ны были знать, что его жена жива. Признался, что многие годы находился в личной связи с Гольдштейном и был членом подпольной организации, к которой принадлежали все, когда-либо известные ему, лица. «Признаваться» решительно во всем и запутывать всех поголовно было проще простого. Кроме того, всё, в чем он признавался в известном смысле, было правдой. Он и в самом деле был врагом Партии, а с точки зрения Партии, разницы между мыслью и делом не существовало.

Были у него воспоминания и иного рода. Они возникали перед его умственными очами разрозненно, словно ряд картин на темном фоне.

Он видел себя в камере, которая не то была погружена во мрак, не то залита светом — он не различал ничего, кроме пары устремленных на него глаз. Где-то рядом медленно и ритмично тикал какой-то аппарат. Глаза все расширились, разгорались ярче и ярче. Вдруг его точно взмыло со стула, швырнуло в глубину этих глаз, и они поглотили его . . .

Потом он видел себя в кресле, окруженном какими-то приборами. Он сидел, туго пристегнутый ремнями, и в глаза ему бил ослепительный свет. Человек в белом халате наблюдал за циферблатами. Снаружи донеслась тяжелая поступь сапог. Дверь с лязгом отворилась. Сопровождаемый двумя охранниками, вошел офицер с лицом восковой куклы.

— В 101-ую камеру! — сказал он.

Человек в белом не пошелохнул. Но он не смотрел и на Уинстона; все его внимание было поглощено циферблатами.

Его покатили в кресле по громадному, в километр шириной, коридору, залитому волшебным золотистым светом, — покатили дико хохочущего и выкрикивающего во всю мочь признания. Он исповедовался во всем, даже в том, что сумел утаить под пытками. Он рассказывал всю историю своей жизни людям, уже знавшим ее. Охранники, следователи, человек в белом халате, О'Брайен, Юлия, господин Чаррингтон, — все они с шумом и с хохотом ехали с ним по коридо-

ру. Ужас, ожидавший его впереди, — миновал; его каким-то образом удалось избежать, обойти. Все уладилось, боль исчезла, последняя тайна его жизни раскрылась, была понята и прощена . . .

Почти уверенный в том, что слышит голос О'Брайена, он попытался привстать на своем досчатом ложе. При всех допросах у него было такое ощущение, что О'Брайен где-то рядом, хотя он и не видит его. О'Брайен всем руководил. Это он спускал на него свору охранников, и он же следил за тем, чтобы они не прикончили его. Он решал, когда Уинстон должен кричать от боли, и когда ему надо дать передышку; от него зависело то, что Уинстона кормили, давали уснуть, делали укол. О'Брайен спрашивал, и О'Брайен подсказывал ответы. Он был и мучителем и покровителем, инквизитором и другом. И однажды, когда Уинстон не то был усыплен, не то спал естественным сном, а может быть, даже и наяву, чей-то голос прошептал ему на ухо: «Не горюйте, Уинстон, вы под моим присмотром. Семь лет я слежу за вами. И вот теперь наступил кризис. Я спасу вас, я сделаю вас совершенством». Он не был уверен, что голос принадлежал О'Брайену, но, во всяком случае, это был тот самый голос, который семь лет тому назад сказал ему во сне: «Мы встретимся в царстве света».

Он не помнил, когда кончились допросы. Был какой-то темный провал в памяти, а потом вот эта камера или комната начала мало-по-малу материализоваться вокруг него. Он лежал почти в горизонтальном положении, не имея возможности пошевелить ни одним членом. Тело было сковано в каждой точке. Даже затылок был зажат какими-то тисками. Устремив на него тяжелый и довольно горький взгляд, над ним стоял О'Брайен. Снизу лицо О'Брайена казалось грубым и поношенным: под глазами висели мешки, от носа к углам рта шли усталые линии. Он был старше, чем думал Уинстон: ему, наверное, было лет сорок восемь или пятьдесят. Рука О'Брайена лежала на каком-то диске, на вершине которого имелся рычаг, а по кругу бежали цифры.

— Я говорил вам, — начал О'Брайен, — что если мы встретимся, то это произойдет здесь.

— Да, — подтвердил Уинстон.

Внезапно и как будто без всякой причины, если не считать едва заметного движения руки О'Брайена, волна боли захлестнула Уинстона. Боль эта ужасала: он не понимал, что происходит и вместе с тем чувствовал, что ему наносится какое-то смертельное повреждение. То ли под влиянием электрического шока, то ли по иной причине, все его тело корчилось, как в судороге, медленно вывихивалось и раздиралось в суставах. Боль была такая, что на лбу мгновенно выступили капли влаги, но хуже всего был страх, что еще секунда или две, и его спинной хребет не выдержит и переломится. Он стиснул зубы и тяжело дышал через нос, стараясь как можно дольше удержаться от крика.

— Вы опасаетесь, — заговорил О'Брайен, следя за выражением его лица, — что в следующий миг будете искалечены. Вы особенно боитесь, что будет сломан позвоночник. Мысленно вы живо представляете себе распадающиеся позвонки и вытекающий из них спинной мозг. Ведь вы об этом думаете, Уинстон?

Уинстон молчал. О'Брайен потянул ручку назад. Боль схлынула так же мгновенно, как пришла.

— Это было сорок, — объяснил О'Брайен. — Вы видите, что число делений на шкале достигает ста. Потрудитесь в течение всего нашего разговора помнить, что я в любой момент могу причинить вам боль любой силы. Если вы солжете, если тем или иным путем попытаетесь увильнуть от ответа, или даже если не проявите присущей вам сообразительности, — я моментально включу аппарат, и вы закричите от боли. Вам понятно это?

— Да, — сказал Уинстон.

О'Брайен, казалось, немного смягчился. Он задумчиво поправил очки на носу и прошелся раза два по комнате. Когда он опять заговорил, голос его звучал доброжелательно и терпеливо. В эту минуту он напоминал учителя или доктора

или даже священника, думающего не столько о том, чтобы покарать, сколько о том, чтобы объяснить и убедить.

— Я вожусь с вами так много только потому, что вы стоите этого, Уинстон. Вы отлично знаете, что с вами происходит. Знаете много лет, хотя всегда и боролись с этим знанием. Ваша психика не в порядке. Вы страдаете дефектом памяти. Вы не в состоянии запомнить реальных событий и убеждаете себя в реальности таких вещей, которые в действительности никогда не происходили. К счастью, это излечимо. Вы никогда не пытались лечиться — просто потому, что не хотели. Вам необходимо было сделать небольшое усилие воли, но вы не были подготовлены к нему. Я уверен, что даже и сейчас, в эту минуту, вы цепляетесь за свою болезнь, почитая ее за достоинство. Возьмем один пример. Скажите, с кем сейчас воюет Океания?

— Когда меня арестовали, Океания воевала с Истазией.

— С Истазией. Отлично. Океания всегда находилась в состоянии войны с Истазией, не так ли?

Уинстон уже открыл рот для ответа, но сдержался и смолчал. Он не мог оторвать глаз от шкалы с цифрами.

— Правду, Уинстон, пожалуйста! Вашу правду. Скажите, что вы помните?

— Я припоминаю, что всего за неделю до того, как меня арестовали, никакой войны с Истазией не было. Мы были в союзе с ней. Нашим врагом была Евразия. Это продолжалось четыре года. А до того . . .

Движением руки О'Брайен остановил его.

— Еще один пример, — продолжал он. — Несколько лет тому назад у вас была настоящая галлюцинация. Вы уверовали в то, что три человека, три бывших члена Партии, некие Джонс, Ааронсон и Рутефорд, казненные за измену и саботаж после того, как они полностью во всем сознались, — что эти люди не совершили преступлений, в которых они обвинялись. Вы уверовали в то, что у вас был неопровержимый документ, доказывавший ложность их признаний. Вы бре-

дили какой-то фотографией. Вы верили, что она была даже у вас в руках. Фотография вроде вот этой . . .

В руках О'Брайена появилась вдруг продолговатая полоска газеты. Секунд пять она находилась в поле зрения Уинстона. Это была фотография — та самая фотография! Сомнений быть не могло. Перед ним был новый экземпляр снимка Джонса, Ааронсона и Рутефорда на партийном слете в Нью-Йорке, — снимка, на который он случайно натолкнулся одиннадцать лет тому назад и сразу же уничтожил. Только на одно мгновение он снова появился у него перед глазами и тут же исчез. Но он видел этот снимок, несомненно видел! Он отчаянно, изо всей силы дернулся верхней частью корпуса. Но невозможно было оторваться от кровати хотя бы на сантиметр. На миг он забыл даже о циферблате. Только об одном он думал в этот миг: схватить фотографию или хотя бы взглянуть на нее еще раз.

— Значит, она существует! — вскричал он.

— Нет, — сказал О'Брайен.

Он прошел через всю комнату к противоположной стене, где виднелась шель-напоминатель. О'Брайен приподнял решетку. Жалкий клочок бумаги взвился в струе теплого воздуха и исчез в пламени. О'Брайен повернулся к Уинстону.

— Пепел, — заявил он. — Пепел, который даже неизвестно чем и был. Тлен. Фотографии не существует. Не существовало никогда.

— Она существовала! — вскричал Уинстон. — Существовала и существует! Я помню ее. Вы помните . . .

— Я ничего не помню, — пожал плечами О'Брайен.

Уинстон осекся. Здесь начиналось двоемыслие. Чувство полной беспомощности овладело им. Если бы он был уверен, что О'Брайен лжет, все было бы проще. Но вполне возможно, что О'Брайен на самом деле забыл фотографию. А если так, то он должен забыть и то, как отрицал ее существование — забыл акт забывания. Как же после всего этого можно допустить, что все это — простое надувательство? А что если

такие сумасшедшие вывихи памяти действительно случаются? Эта мысль доконала его.

О'Брайен задумчиво смотрел на него сверху вниз. Больше чем когда-нибудь, он походил на учителя, который, не жалея сил, старается исправить даровитого, но своенравного ребенка.

— Существует лозунг Партии насчет власти над прошлым, — сказал он. — Потрудитесь повторить его.

— «Кто управляет прошлым, тот управляет будущим, а кто управляет настоящим, тот управляет прошлым», — покорно произнес Уинстон.

— Да, да, — подтвердил О'Брайен, медленно и ободрительно кивая головой. — «Кто управляет настоящим, тот управляет прошлым». Скажите, Уинстон, вы и в самом деле верите, что прошлое реально существует?

Уинстон снова ощутил свою беспомощность. Его взор устремился на шкалу. Он не только не знал, что нужно сказать — «да» или «нет», — чтобы избежать боли; он действительно не мог решить, какой из этих ответов будет правильным.

О'Брайен усмехнулся.

— Вы не метафизик, Уинстон, — сказал он. — Вы до сих пор не вдумывались даже в смысл самого понятия «существование»: Я постараюсь уточнить вопрос. Существует ли прошлое конкретно, в пространстве? Существует ли такое место во вселенной, в материальном мире, где прошлое совершается?

— Нет.

— Так где же оно существует, если существует вообще?

— В документах. Оно занесено на бумагу.

— В документах. А еще где?

— В головах людей. В человеческой памяти.

— В памяти людей. Отлично. Но, скажите, если нам, — я разумею Партию, — подвластны и все документы и человеческое сознание, не означает ли это того, что мы властвуем и над прошлым? Так это или не так?

Уинстон снова на минуту позабыл о циферблате.

— Но как вы можете помешать людям помнить! — воскликнул он. — Это зависит от их воли. Это не подвластно им. Как вы можете управлять памятью людей? Вы не властны даже над моим рассудком!

Поведение О'Брайена опять стало более суровым. Он положил руку на шкалу.

— Напротив, — сказал он, — вы над ним не властны. Это вас и привело сюда. Вы здесь потому, что недостаточно покорны и вам не хватает самодисциплины. За душевное здоровье платят подчинением, а вы не пожелали дать этой цены. Вы предпочли сумасшествие, предпочли остаться в меньшинстве, даже в единственном числе. Лишь дисциплинированный ум видит вещи такими, каковы они есть, Уинстон. Вы верите в то, что реальность — нечто объективное, независимое от сознания, существующее по своим законам. Вы также верите, что существование объективной действительности — самоочевидно. Обманывая себя тем, будто вы понимаете что-то в действительности, вы предполагаете, что и другие должны видеть мир таким же. А я говорю вам, Уинстон, что реальность не есть что-то объективное. Реальность существует лишь в умах людей и нигде больше. И не в умах отдельных индивидуумов, которые способны ошибаться и, во всяком случае, недолговечны, а в коллективном и бессмертном разуме Партии. То, что Партия считает правдой — и есть правда. Только одним способом можно познать действительность, — глядя на нее глазами Партии. Поэтому, Уинстон, вам придется переучиваться. И вам не обойтись без внутренней ломки, без усилия воли. Чтобы стать нормальным, вы должны будете покориться.

Он немного помолчал, словно для того, чтобы дать сказанному улечься.

— Вы помните, — продолжал он, — вашу запись в дневнике: «Свобода есть свобода, как два и два — четыре».

— Помню, — сказал Уинстон.

О'Брайен поднял левую руку и, повернув ее ладонью к себе, спрятал большой палец.

— Сколько пальцев я показываю, Уинстон?

— Четыре.

— А если Партия скажет, что их не четыре, а пять, — тогда сколько будет?

— Четыре.

Он не успел договорить, потому что у него вдруг занялось дыхание от боли. Стрелка на шкале поднялась до пятидесяти пяти. Пот выступал по всему телу Уинстона. Воздух раздирал легкие, пока не вырвался наружу с тяжким стоном, которого нельзя было подавить, даже стиснув зубы. Все еще держа перед собой четыре пальца, О'Брайен наблюдал за Уинстоном. Потом он потянул рычаг назад. На этот раз боль только слегка уменьшилась.

— Сколько пальцев, Уинстон?

— Четыре.

Стрелка подскочила до шестидесяти.

— Сколько пальцев, Уинстон?

— Четыре! Четыре! Что вы от меня хотите? Четыре!

Очевидно, стрелка поднялась еще выше, но Уинстон не глядел на нее. Тяжелое, неумолимое лицо и четыре пальца все заполнили собою. Громадные, как колонны, пальцы маячили перед глазами. Они расплывались и вибрировали, но их, несомненно, было лишь четыре.

— Сколько пальцев, Уинстон?

— Четыре . . . Прекратите это! Прекратите! . . . Как можно . . . Четыре! Четыре!

— Сколько пальцев, Уинстон?

— Пять! Пять! Пять!

— Нет, Уинстон, это не годится. Вы лжете. Вы все еще думаете, что их четыре. Еще раз, пожалуйста . . . Сколько пальцев?

— Четыре! Пять! Четыре! Сколько вам угодно . . . только остановите боль! Остановите!

Внезапно он увидел себя сидящим. Рука О'Брайена об-

нимала его за плечо. Он, видимо, на несколько секунд потерял сознание. Путь, удерживавшие его на койке, были ослаблены. Его сильно знобило, все тело тряслось, как в лихорадке, зубы стучали, по щекам катились слезы. Тяжелая рука, обнимавшая его за плечи, странно успокаивала, и он, как ребенок, на миг приник к О'Брайену. Он чувствовал в О'Брайене своего покровителя. Боль шла откуда-то извне, из другого источника; О'Брайен оберегал его от боли.

— Вы медленно постигаете науку, Уинстон, — мягко сказал О'Брайен.

— Что поделать? — всхлипнул Уинстон. — Как я могу не видеть того, что у меня перед глазами? Два и два — четыре.

— Не всегда, Уинстон. Иногда — пять, иногда — три. А иногда — всё вместе. Вы должны приложить больше усилий. Не так-то легко стать нормальным.

Он снова уложил Уинстона. Путь опять стянулись. Боль схлынула и дрожь прошла, оставив только слабость и легкий озноб. О'Брайен кивнул человеку в белом халате, неподвижно стоявшему в стороне в продолжение всей процедуры. Тот наклонился над Уинстоном, пристально взглянул в зрачки, пощупал пульс, приложил ухо к груди, постучал раз-другой по телу и сделал знак О'Брайену.

— Еще раз, — объявил О'Брайен.

Боль хлынула в тело Уинстона. Стрелка, вероятно, дошла до семидесяти, до семидесяти пяти. На этот раз Уинстон закрыл глаза. Он знал, что пальцы все еще торчат перед ним, и что их — четыре. Он думал только о том, чтобы выжить — дотянуть до той минуты, когда конвульсии прекратятся. Он уже не замечал, кричит или нет. Боль опять уменьшилась. Он открыл глаза. О'Брайен потянул рычаг назад.

— Сколько пальцев, Уинстон?

— Четыре. По-моему, четыре. Я хотел бы видеть пять. Я стараюсь видеть пять.

— Вы стараетесь уверить меня в том, что видите пять или действительно хотите видеть их?

— Действительно хочу.

— Еще раз, — сказал О'Брайен.

Возможно, что стрелка была уже на восьмидесяти или девяноста. Лишь по временам Уинстон вспоминал, зачем эта боль. За вывороченными веками мерещился целый лес пальцев; приплясывая, они то сплетались, то расплетались, исчезали один за другим и снова появлялись. Он пробовал считать их, — сам не зная для чего. Он понимал только, что сосчитать их невозможно, и что это как-то связано со странным тождеством четырех и пяти. Боль опять утихла. Открыв глаза, он обнаружил, что все еще видит то же самое. Бесчисленные пальцы, словно движущиеся деревья, сходясь и расходясь, плыли во всех направлениях. Он снова сомкнул веки.

— Сколько пальцев я показываю, Уинстон?

— Не знаю. Я не знаю. Вы убьете меня, если повторите это еще раз. Четыре, пять, шесть, — честное слово, я не знаю.

— Это уже лучше, — решил О'Брайен.

В руку Уинстона вонзился шприц. И почти в ту же минуту блаженное, целебное тепло разлилось по всему телу. Боль была уже почти забыта. Он открыл глаза и благодарно взглянул на О'Брайена. При виде тяжелого, изборожденного морщинами лица, столь безобразного и столь интеллигентного, его сердце сжалось. Хотелось протянуть руку и коснуться руки О'Брайена. Никогда он не любил О'Брайена так сильно, как в эту минуту, и не просто потому, что тот избавил его от боли. Прежнее чувство, — что, в конце концов, не важно, друг ему О'Брайен или враг, — вернулось к нему. С этим человеком можно говорить. Люди, может быть, вообще не столько хотят любви, сколько понимания. О'Брайен истязал его почти до помешательства и скоро несомненно предаст смерти. Но это не меняет ничего. В известном смысле их роднит нечто более прочное, чем дружба. И где-то они еще встретятся и обменяются мнениями, даже если настоящие слова не будут сказаны. О'Брайен глядел на Уинсто-

наверху вниз с таким выражением, словно думал о том же самом. Он опять заговорил, — в тоне простой мирной беседы.

— Вы знаете, где вы находитесь, Уинстон?

— Нет. Но могу догадываться. В Министерстве Любви.

— Вам известно, сколько времени вы тут?

— Нет. Несколько дней или недель, если не месяцев.

Несколько месяцев, я полагаю.

— А как вы думаете, для чего мы забираем сюда людей?

— Чтобы заставить их признаться.

— Нет, это не причина. Подумайте еще.

— Чтобы покарать их.

— Нет! — вскричал О'Брайен. Его голос вдруг необычайно изменился, и лицо стало сурово-вдохновенным. — Нет! — повторил он. — Не просто для того, чтобы заставить вас покаяться и покарать. Неужели нужно объяснять, для чего вас посадили сюда? Чтобы лечить! Чтобы сделать вас нормальным человеком! Поймите, Уинстон, что еще ни один из тех, кто попадал сюда, не уходил от нас неизлеченным. Нам нет дела до ваших глупых преступлений. Партию вообще не интересуют видимые факты, а лишь помыслы людей. Мы не просто уничтожаем врагов, мы их переделываем. Вам понятно, что я разумею под этим?

Он наклонился над Уинстоном. Из-за близости его лицо стало огромным, и, при взгляде снизу, казалось устрашающе безобразным. Это было экзальтированное, сумасшедше-напряженное лицо. Сердце Уинстона опять похолодело. Хотелось сжаться в комочек и утонуть в постели. Он определенно чувствовал, что О'Брайен не владеет собою и близок к тому, чтобы снова беспричинно включить аппарат. Но как раз в эту минуту О'Брайен выпрямился и отвернулся. Он сделал несколько шагов по комнате. Потом, менее страстно, снова заговорил.

— Прежде всего поймите, что мы здесь не допускаем мученичества. Вы читали о религиозных преследованиях прошлого. Вы знаете об инквизиции Средних Веков. Это бы-

ла неудача. Инквизиция начала с того, что намеревалась вырвать ересь с корнем, а кончила тем, что увековечила ее. На смену каждому еретику, которого она сжигала на костре, вырастали тысячи других. Почему? Да потому, что инквизиция убивала врагов в открытую и прежде, чем они покаялись; вернее, — убивала потому, что они не покаялись. Люди умирали, не желая отказаться от своих истинных убеждений. Естественно, что вся слава принадлежала жертвам, а весь позор падал на инквизицию, которая сжигала их. Позднее, в двадцатом веке, появился так называемый тоталитаризм. Появились немецкие нацисты и русские коммунисты. Русские коммунисты преследовали инакомыслящих более жестоко, чем инквизиция. И они воображали, что чему-то научились на ошибках прошлого. Правда, они знали, что нельзя создавать мучеников. Прежде чем их жертвы представляли перед гласным судом, в них предусмотрительно убивалось всякое достоинство. С помощью пыток и одиночного заключения их доводили до такого состояния, что они обращались в жалких и ничтожных трусов, которые повторяли все, что вкладывалось в их уста, молили о пощаде и старались выгородить себя клеветой на других. И тем не менее, спустя несколько лет стало повторяться то, что происходило в годы инквизиции. Мертвые превращались в мучеников, а их моральное падение забывалось. Снова возникает вопрос: почему? А потому, прежде всего, что их признания были явно вынужденными и ложными. Мы этих ошибок никогда не допускаем. Все признания, которые приносятся здесь, — истинны. Мы делаем их истинными. А главное, мы не позволяем мертвым восставать против нас. Перестаньте воображать, что потомки отомстят за вас. Потомки даже не услышат никогда о вас. Вы начисто исчезнете из истории. Мы обратим вас в газ, а газ развеем в стратосфере. От вас не останется ничего: ни имени на документах, ни памяти о вас в умах людей. Вы уничтожитесь не только для будущего, но перестанете существовать и в прошлом. Вы не существовали никогда.

«Зачем же доставлять себе хлопоты, истязая меня?» — промелькнула горькая мысль в уме Уинстона. О'Брайен вдруг остановился, точно Уинстон высказал эту мысль вслух. Большое безобразное лицо склонилось над Уинстоном. О'Брайен глядел на него, слегка прищурившись.

— Вы думаете о том, — сказал он, — что поскольку мы намерены начисто уничтожить вас, — так, чтобы ни дела ваши, ни речи не имели ни малейшего значения, — постольку мы напрасно утруждаем себя, подвергая вас допросам. Вы об этом думаете, Уинстон?

— Да.

О'Брайен ухмыльнулся.

— Вы — паршивая овца в здоровом стаде. Вы — пятно, которое нужно стереть. Ведь сейчас только я объяснил, что мы не похожи на гонителей прошлых времен. Мы не довольствуемся пассивным послушанием и даже самым раболепным подчинением. Когда вы наконец капитулируете, вы должны будете сделать это по доброй воле. Мы не уничтожаем инакомыслящего потому, что он восстал на нас, никогда не убиваем его, пока он нам сопротивляется. Мы обращаем его на путь истины, овладеваем его сердцем и душой, переделываем его. Мы выжигаем в нем все зло и всякие иллюзии; мы добиваемся того, что он становится на нашу сторону не по необходимости, а искренне, всем сердцем, всей душой. Мы делаем его подобным себе, прежде чем убить. Мы не можем допустить ни малейшего уклona мысли, каким бы сокровенным и безвредным этот уклон ни был. Даже в момент смерти человека мы не можем разрешить ему сомнений в правильности нашего мировоззрения. Когда-то еретик поднимался на костер еретиком, открыто провозглашая свою ересь, распаяя себя ею. И даже человек, ставший жертвой коммунистической чистки, в свой последний час, идя по коридору и ожидая пули в затылок, мог нести в себе крамолу. Мы же делаем рассудок человека совершенным, прежде чем обратить его в ничто. Формулой прежнего деспотизма было: «Ты не смеешь!» Формулой тотали-

гаризма: «Ты обязан!» Наша формула: «Ты есть». Ни один из тех, кто побывал здесь, не мог устоять перед нами. И все очищались. Даже те трое несчастных изменников, Джонс, Ааронсон и Рутефорд, в невиновность которых вы когда-то верили, — даже и они в конце концов смирились. Я сам принимал участие в их допросах. И я видел, как слабело их сопротивление, как они потом начали охать, проливать слезы и сокрушаться, и притом все это — уже не от боли или страха, а исключительно от сознания своей вины и от раскаяния. К тому времени, когда мы решили их прикончить, от них оставалась только оболочка человека. У них не было иных чувств, кроме сожаления о том, что они совершили, и любви к Старшему Брату. Надо было видеть, как трогательно они его любили! Они умоляли поскорее расстрелять их, чтобы умереть в раскаянии и с чистой совестью.

Его голос стал почти мечтательным. Лицо все еще пылало воодушевлением, — энтузиазмом безумия. Он не притворяется, — подумал Уинстон, — он не лицемер. Он верит в каждое сказанное им слово. Более всего Уинстона угнетало в этот миг сознание собственной неполноценности. Грузная и вместе с тем изящная фигура, двигавшаяся по комнате, то появлялась в поле его зрения, то исчезала. Уинстон следил за ней глазами. Как человек, О'Брайен выше его во всех отношениях. Все, над чем он, Уинстон, когда-либо задумывался или может задуматься, О'Брайену давным-давно известно, все им изучено и все отвергнуто. Его разум вмещает в себе разум Уинстона. Но, в таком случае, можно ли считать его помешанным? Очевидно, это он, Уинстон, помешался. О'Брайен остановился и поглядел на него сверху. Его голос снова зазвучал неумолимо.

— Не воображайте, Уинстон, что капитуляция, даже самая полная, спасет вас. Ни один из тех, кто хоть раз сбился с пути, еще не был пощажен. Даже если мы позволим вам дожить до естественного конца ваших дней, то и в этом случае вам не уйти от нас. То, что случилось с вами здесь, — случилось навсегда, навек. Зарубите это на носу. Мы сокру-

шим вас так, что возврата к прошлому для вас не будет. С вами произойдет нечто такое, от чего вы не оправитесь и через тысячу лет. Никогда больше простые человеческие чувства не вернуться к вам. Всё внутри у вас умрет. Любовь, дружба, радость жизни, смех, любознательность, доблесть, честь — всё это будет недоступно вам. Мы выскребем из вас всё начисто, а потом заполним вас собою.

Помолчав, он подал знак человеку в белом халате. Уинстон чувствовал, что к его изголовью придвигают какой-то тяжелый аппарат. О'Брайен сел возле постели так, что оказался лицом к лицу с Уинстоном.

— Три тысячи, — сказал он, обращаясь через голову Уинстона к человеку в белом.

Две мягких, слегка влажных подушечки сомкнулись на висках Уинстона. Он вздрогнул, снова ожидая боли. О'Брайен успокаивающе, почти дружески коснулся его руки.

— На этот раз больно не будет, — сказал он. — Смотрите прямо мне в глаза.

В тот же миг Уинстон ощутил оглушительный взрыв или что-то похожее на взрыв, хотя у него не было уверенности в том, что он слышал звук. Однако, несомненно, произошла яркая вспышка света. Уинстон не чувствовал никакого повреждения, он только внезапно совершенно обесилел. Хотя в минуту взрыва он уже лежал на спине, у него было странное чувство, будто он повержен в это положение страшным, хотя и безболезненным ударом. Его словно расплющило. И что-то случилось с головой. Когда взор прояснился, он вспомнил, кто он и где находится, и узнал глаза, пристально глядевшие на него; но в памяти образовались вдруг громадные провалы, точно у него из головы изъяли какие-то клеточки мозга.

— Это ненадолго, — сказал О'Брайен. — Теперь смотрите мне в глаза. С кем воюет Океания?

Уинстон задумался. Он помнил, что такое Океания; помнил, что он — гражданин Океании. Помнил также об Евразии и об Истазии. Но кто из них с кем воевал, — он ре-

шительно не мог сказать. Больше того, он вообще не мог припомнить никакой войны.

— Я не помню.

— Океания воюет с Истазией. Вы вспоминаете это теперь?

— Да.

— Океания всегда воевала с Истазией. С начала вашей жизни, с зарождения Партии, с первых дней человеческой истории. Их война продолжается без конца, без перерыва, — все одна и та же война. Помните вы это?

— Да.

— Одиннадцать лет тому назад вы сочинили легенду о трех лицах, казненных за измену. Вы вообразили, будто видели клочок газеты, доказывающий их невиновность. Этого клочка никогда не существовало. Вы выдумали его, а потом, чем дальше, тем все больше верили в свою фантазию. Вы припоминаете сейчас ту первую минуту, когда выдумали этот клочок?

— Да.

— Я только что показывал вам пальцы своей руки. Вы видели пять пальцев. Вы помните это?

— Да.

О'Брайен поднял левую руку и, поджав большой палец, сказал:

— Я показываю вам пять пальцев. Вы видите пять пальцев?

— Да.

Он действительно видел пять пальцев, видел на какой-то миг, прежде чем к нему вернулся рассудок. Он видел пять пальцев отчетливо, безо всякой деформации. А потом опять все приняло обычный вид, и прежний страх, ненависть и растерянность хлынули в сердце. Но был какой-то промежуток времени, — он не знал точно какой, секунд около тридцати, — когда все обрело отчетливость и определенность, когда каждое новое заявление О'Брайена заполняло один из провалов памяти и становилось абсолютной исти-

ной, а два и два легко превращались в три и в пять, смотря по тому, что требовалось. Навождение кончилось раньше, чем О'Брайен опустил руку, и больше не вернулось, но Уинстон помнил о нем, как припоминаются иной раз живые отдаленные события, произошедшие еще в те дни, когда вы были, в сущности, иным человеком.

— Вы теперь, по крайней мере, убедились в том, что это возможно, — произнес О'Брайен.

— Да, — сказал Уинстон.

О'Брайен с довольным видом встал. Слева от себя Уинстон видел человека в белом, который, сломав ампулу, втягивал в шприц ее содержимое. С улыбкой на лице О'Брайен повернулся к Уинстону. Почти тем же жестом, который Уинстон замечал у него раньше, он поправил очки на носу.

— Не припоминаете ли вы одно место в вашем дневнике? — спросил он. — Вы пишете там, что не важно, друг я вам или враг, но что я, во всяком случае, вас понимаю и со мной можно потолковать. Это верно. Я люблю говорить с вами. Мне нравится склад вашего ума. Он сходен с моим, с той только разницей, что вы сумасшедший. Если хотите, можете задать мне несколько вопросов до того, как мы расстанемся.

— Любых вопросов?

— Каких вам угодно, — подтвердил О'Брайен и, заметив, что глаза Уинстона остановились на шкале, добавил: — Эта штука выключена. Итак, каков же будет ваш первый вопрос?

— Что вы сделали с Юлией?

О'Брайен снова усмехнулся.

— Она предала вас, Уинстон. Предала сразу же и безоговорочно. Я редко встречал людей, которые переходили бы на нашу сторону так быстро и легко, как она. Вы не узнали бы ее теперь, если бы встретили. Все ее бунтарство и лукавство, всю блажь и распущенность, — как ветром выдуло. Превосходнейший был разговор: случай, можно сказать, образцовый.

— Вы пытали ее?

О'Брайен не ответил.

— Следующий вопрос? — сказал он.

— Существует ли на самом деле Старший Брат?

— Конечно, существует! Партия ведь существует? А Старший Брат есть воплощение Партии.

— Существует ли он в том смысле, как я?

— Вы не существуете, — сказал О'Брайен.

Еще и еще раз чувство беспомощности обрушилось на Уинстона. Он знал, или мог себе представить, доводы, доказывающие его небытие. Но ведь все они — простая игра слов, бессмыслица. Разве утверждение: «Ты не существуешь» само по себе не есть логический абсурд? С какой целью оно говорится? У Уинстона ссыхался мозг, как только он начинал думать о диких, нелепых аргументах, с помощью которых О'Брайен мог легко переспорить его.

— Мне кажется, я существую, — произнес он устало. — Я сознаю себя. Я родился и умру. У меня есть руки, ноги. Мне принадлежит определенное место в пространстве, которое не может занимать одновременно ни одно другое тело. Существует ли Старший Брат в этом смысле?

— Это не важно. Он существует.

— Он умрет когда-нибудь?

— Конечно, нет! Как может умереть Старший Брат? Следующий вопрос?

— А Братство тоже существует?

— Этого, Уинстон, вам не узнать никогда. Даже, если мы, покончив с вами, решим вас отпустить на все четыре стороны, и вы доживете до девяноста лет, то и в этом случае не узнаете ответа. Он будет вечно составлять для вас загадку.

Уинстон замолчал. Он немного волновался. У него все еще не хватало духу задать вопрос, который прежде всех других пришел ему на ум. Он уже готов был заговорить, но язык отказывался служить. О'Брайена, по-видимому, это забавляло. Даже его очки поблескивали иронически. «Он зна-

ет, — вдруг подумал Уинстон, — знает, что я собираюсь у него спросить!» И едва эта мысль промелькнула в голове, как вопрос сорвался сам собою:

— Что такое камера 101?

Выражение лица О'Брайена не изменилось. Он сухо ответил:

— Вы знаете, Уинстон, что такое Камера 101. Каждый знает это.

— Он опять подал знак человеку в белом. Очевидно, разговор был кончен. В руку Уинстона вонзилась игла. И почти тотчас же его охватил глубокий сон.

### III

— В своей интеграции, — сказал О'Брайен, — вы должны будете пройти через три стадии: обучения, усвоения и принятия. Пора вам вступать во вторую фазу.

Уинстон, как обычно, лежал на спине. Однако путы, удерживавшие его в постели, в последнее время стягивались не так туго, как прежде. Он мог слегка сгибать ноги в коленях и руки в локтях и поворачивать из стороны в сторону голову. Уменьшился и страх перед циферблатом. Проявляя известную находчивость, можно было избежать внезапной боли, и О'Брайен надавливал на рычаг главным образом в тех случаях, когда Уинстон делал случайные промахи. Иногда в течение всего допроса аппарат ни разу не включался. Уинстон не помнил, сколько раз его допрашивали. Все это продолжалось бесконечно долго, вероятно уже много недель, причем перерывы между допросами равнялись иногда нескольким дням, а иногда лишь часу или двум.

— Лежа здесь, — продолжал О'Брайен, — вы часто задавались вопросом — и даже спрашивали у меня, — почему Министерство Любви тратит на вас столько сил и времени. В сущности говоря, над решением той же самой проблемы вы ломали себе голову и на свободе. Вы старались постичь внешнюю механику общества, в котором вы живете, а не его

основы. Помните, как вы писали в дневник: «Я понимаю как, но не понимаю зачем?» Это самое «зачем» и заставило вас в свое время усомниться — в здоровом ли вы уме. Вы читали книгу Гольдштейна или, по крайней мере, часть ее. Скажите, почерпнули вы что-нибудь новое из нее?

— А вы ее читали? — спросил Уинстон.

— Я писал ее или, лучше сказать, принимал участие в ее составлении. Вам известно, что книги не пишутся одним лицом.

— Ну, и что же? Она говорит правду, эта книга?

— В части описательной, — да. Программа же, которая в ней излагается, — чепуха. Тайное накопление знаний, постепенное распространение просвещения, решающее восстание пролетариата, ниспровержение Партии — все это вы предвидели и ожидали найти в книге. Но все это ерунда. Пролетарии не восстанут никогда, — ни через тысячу лет, ни через миллион. Не могут восстать. Причин, я полагаю, объяснять не надо: вы и без того их знаете. Если вы когда-нибудь лелеяли мечту о мятеже, — оставьте ее. Партию свергнуть нельзя. Ее власть вечна. Примите это за исходную точку всего вашего мировоззрения.

Он подошел к постели.

— Вечна! — повторил он. — А теперь вернемся к вопросам «как?» и «зачем?» Вы достаточно хорошо понимаете, как Партия держится у власти. Но скажите, почему мы так цепляемся за власть? Что нас побуждает к этому? Почему мы должны жаждать власти? Отвечайте же! — повторил он нетерпеливо, заметив, что Уинстон медлит с ответом.

Но Уинстон помолчал еще минуту или две. Ему вдруг стало скучно ото всех этих вопросов. Лицо О'Брайена снова озарилось воодушевлением безумия. Уинстон наперед знал все, что будет говорить О'Брайен. Он будет говорить, что Партия стремится к власти не в собственных интересах, а ради блага большинства людей. Что люди в массе своей слабы, малодушны и не в состоянии нести бремя свободы и правды и поэтому ими должны управлять — и постоянно их

обманывать — другие, более сильные. Что человечеству приходится выбирать между счастьем и свободой, и что громадное большинство людей предпочитает счастье. Что Партия — вечный страж слабых, секта людей, посвятивших себя тому, чтобы творить зло во имя добра и жертвующих личным счастьем ради счастья других. Но ужаснее всего то, — думал Уинстон, — что О'Брайен будет говорить все это с верой в свою правоту. Это видно по его лицу. О'Брайен знает все. В тысячу раз лучше Уинстона знает, что собою представляет мир, знает до какого вырождения и упадка дошло человечество и к какому варварству и лжи прибегает Партия, чтобы держать людей на этом уровне. И, тем не менее, тот факт, что О'Брайену известно это все и давно им взвешено, не имеет ни малейшего значения, ибо все оправдывается конечной целью. Чего можно ждать от сумасшедшего, — думал Уинстон, — который куда хитрее вас и только делает вид, что прислушивается к вашим доводам, а на самом деле все-таки настаивает на своих безумных доводах?

— Вы правите нами ради нашей пользы, — нерешительно начал Уинстон. — Вы считаете, что люди не могут управлять собою и поэтому . . .

Он вздрогнул и чуть не закричал от боли. О'Брайен так нажал на ручку аппарата, что стрелка поднялась до тридцати пяти.

— Глупости, Уинстон, глупости! — вскричал О'Брайен. — Вы достаточно хорошо разбираетесь в этом вопросе, чтобы говорить такие вещи!

Он потянул рычаг назад и продолжал:

— Хорошо, я отвечу сам на свой вопрос. Дело в том, что Партия стремится к власти исключительно в собственных интересах. Мы нимало не интересуемся благом других; нам нужна лишь власть. Не богатство, не роскошь, не долголетие, не счастье, а одна лишь власть, — власть, как таковая. Что значит власть, как таковая, — это вы сейчас поймете. В отличие от всех олигархий прошлого, мы знаем, что мы делаем. Все прежние олигархии, даже походившие на нашу, бы-

ли лицемерны и трусливы. Немецкие нацисты и русские коммунисты были очень близки нам по методам, но им не хватало мужества осознать собственные побуждения. Они притворялись, а быть может, даже верили, что овладели властью, сами того не желая и на ограниченное время, и что где-то рядом, чуть не за углом, человечество ждет земной рай, в котором все будут свободны и равны. Мы не из таких. Мы знаем, что еще никто не захватывал власть с намерением отказать от нее. Власть не средство, она — цель. Не диктатуры создаются для защиты революции, а, наоборот, революции совершаются для установления диктатуры. Цель гонения — гонение. Цель пыток — пытки. Цель власти — власть. Вы понимаете меня теперь?

Глядя на О'Брайена, Уинстон по-прежнему удивлялся выражению усталости на его лице. Тяжелое, сильное и грубое, это лицо говорило об интеллекте и горело какой-то сдержанной страстью, перед которой Уинстон чувствовал себя беспомощным. Но вместе с тем, оно носило отпечаток глубокого утомления: под глазами темнели мешки, кожа свисала со щек. Как бы для того, чтобы Уинстон мог лучше разглядеть следы этого обветшания, О'Брайен наклонился над ним.

— Вы думаете о том, — сказал он, — что я выгляжу старым и уставшим. Вам кажется странным, что, толкуя о силе, я не в силах предотвратить даже разрушения собственного тела. Неужели вы не понимаете, Уинстон, что индивидуум — это лишь клетка? Утомление отдельной клетки — залог силы организма. Ведь не умрете же вы от того, что обрежете себе ногти?

Он отвернулся и заходил по комнате, держа одну руку в кармане.

— Мы — жрецы силы, — снова заговорил он. — Сила, властвование — наш Бог. Впрочем, для вас «сила» — ничего не значащее слово. Пора вам составить себе некоторое представление о том, что это такое. Прежде всего, поймите, что сила — в коллективе. Личность сильна ровно постольку, по-

скольку она перестает быть личностью. Вы знаете партийный лозунг: «Свобода — это рабство». А не задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что этот лозунг обратим. Рабство есть свобода. Предоставленный себе, свободный человек всегда беззащитен. Да иначе и не может быть, потому что человек смертен, а смерть — величайшее из поражений. Но если человек способен на полное, на безоговорочное подчинение, если он способен перестать быть собою и так раствориться в Партии, чтобы стать Партией, — он бессмертен и непобедим. Далее, вам нужно усвоить, что власть есть власть только тогда, когда вы властвуете над человеком, — над его телом и, прежде всего, над его умом. Власть над материальным миром, — над объективной реальностью, как вы называли бы его, — не столь существенна. Уже и теперь наша власть над материальным миром абсолютна.

Уинстон на минуту позабыл о циферблате. Он сделал отчаянную попытку приподняться и только причинил себе этим мучительную боль.

— Как можете вы говорить о власти над материальным миром! — возмущенно вскричал он. — Да ведь вы не в силах справиться даже с климатом или с законом тяготения! А помимо них существуют еще боль, болезни, смерть . . .

Движением руки О'Брайен остановил его.

— Мы властвуем над материальным миром, потому что властвуем над разумом людей. Действительность — в умах людей. Для нас не существует непосильного. Сила нашей власти такова, что мы можем сделать предмет невесомым, невидимым, каким угодно. Если бы я захотел, я мог бы сейчас взлететь в воздух, как мыльный пузырь. Но я не хочу, потому что Партии это не нужно. Вы должны отделаться от своих представлений о законах природы, сформулированных в девятнадцатом столетии. Законы природы творим мы.

— Нет! Ничего подобного! Вы даже не хозяева нашей планеты. А что вы скажете насчет Евразии и Истазии? Ведь вы не в силах покорить их.

— Это нам не нужно. Но, если потребуется, покорим. А если даже и не покорим, то — что изменится? Мир — это Океания.

— Однако, сама Земля — только крупица пыли. Человек ничтожен и беспомощен. Сколько времени он существует? Миллионы лет Земля была необитаема.

— Чушь! Земля не старше нас. Да и как она может быть старше? Вне человеческого разума не существует ничего.

— И тем не менее, недра земли полны остатков вымерших животных, — мамонтов, мастодонтов, гигантских рептилий, — которые жили задолго до того, как человек впервые услышал о них.

— А вы видели эти останки, Уинстон? Конечно, нет. Всё это выдумки биологов девятнадцатого века. До того, как появился человек, не было ничего. И после человека, если он исчезнет, не останется ничего. Вне человека не существует ничего.

— Да ведь весь мир вне нас! Взгляните на звезды. Некоторые из них — в миллионах световых лет от земли. Они останутся недостижимыми для человека навсегда, навеки.

— Ну, что там звезды! — равнодушно отмахнулся О'Брайен. — Огоньки, мерцающие в нескольких километрах от Земли. Стоит нам пожелать, и мы доберемся до них. Или потушим. Центр мироздания — Земля. Солнце и звезды вращаются вокруг нее.

Уинстон снова конвульсивно дернулся на койке. Но на этот раз он не сказал ни слова. О'Брайен, словно отвечая оппоненту, продолжал:

— Конечно, для известных целей, это утверждение не годится. Плывая по океану или предсказывая затмение, мы считаем более удобным принимать за истину то утверждение, что Земля вращается вокруг Солнца и что звезды — в миллионах миллионов лет от нее. Но что из этого? Разве вы не допускаете, что мы можем создать двойную астрономию? Звезды могут находиться близко или далеко, в зависимости от того, что нам больше подходит. Или вы думаете, что на-

ши математики не способны на такое рассуждение? А на что же существует двоемыслие, Уинстон?

Уинстон съехался на койке. Что бы он ни говорил, на него, словно дубинка, обрушивались быстрые ответы. И тем не менее, он был глубоко убежден в своей правоте. Несомненно, можно было как-то доказать ошибочность той точки зрения, что за пределами человеческого разума не существует ничего. Разве эта точка зрения не обличена давным-давно как заблуждение? Существовало даже и название для нее, которого он только не мог вспомнить. Едва заметная усмешка искривила углы рта О'Брайена, когда он снова повернулся к Уинстону.

— Я уже говорил вам, Уинстон, что вы не слишком сильны в метафизике, — сказал он. — Солипсизм, — вот слово, которое вы ищете. Но вы ошибаетесь. Это не солипсизм. Скорее «коллективистический солипсизм». Но это вещи разные, в сущности, даже противоположные. Впрочем, мы отвлекаемся, — добавил он другим тоном. — Настоящая власть, власть за которую мы неустанно боремся, — это власть над человеком, а не над материальным миром.

Он помолчал и, снова приняв вид учителя, который обращается к даровитому ученику, спросил:

— Скажите, каким образом человек утверждает свою власть над другим человеком?

Уинстон задумался.

— Обрекая его на страдания, — сказал он.

— Совершенно верно. Обрекая на страдания. Одного повиновения мало. Как можно установить, что человек следует велениям вашей воли, а не своей, если он не страдает? Властвовать, — значит причинять боль и унижать. Властвовать, — значит дробить сознание подвластного и из осколков создавать ту форму, какая вам нужна. Быть может, вы теперь догадываетесь, какой именно мир мы создаем? Мир, прямо противоположный глупой гедонистической Утопии, созданной воображением прежних реформаторов. Мир страха, муки и предательства; мир попирающих и попираемых;

мир, становящийся по мере совершенствования не менее, а все более и более безжалостным. Его развитие будет заключаться в углублении и умножении человеческих страданий. Прежние цивилизации претендовали на то, что они основаны на принципах любви и справедливости. Наш мир основан на ненависти. В нем не будет места иным чувствам, кроме страха, гнева, победного ликования и самоунижения. Всё остальное будет нами уничтожено, — всё! Мы уже закончили с дореволюционным образом мышления. Мы порвали узы, связывавшие детей с родителями, мужчину с женщиной и женщину с мужчиной. Никто больше не смеет верить детям, жене, другу. Но настанет время, когда не будет ни жен, ни друзей. Дети будут отбираться у матери сразу после рождения, как яйца у курицы. Мы вырвем с корнем половой инстинкт. Производство потомства станет ежегодной формальностью, как возобновление продуктовых карточек. Мы уничтожим оргазм. Наши неврологи работают над этим. Не будет иной верности, кроме верности Партии. Не останется иной любви, кроме любви к Старшему Брату. Смех забудется; люди будут смеяться только над поверженным врагом. Искусство, литература и науки упразднятся. Когда мы станем всемогущи, нужда в науках отпадет. Разница между красотой и безобразием сотрется. Исчезнет любознательность; жизнь потеряет смысл. Всякое соревнование между людьми, в котором они могут найти удовольствие, будет уничтожено. Но вечно, — запомните, Уинстон, вечно! — будет существовать, расти и становиться все более изощренным опьянение силой. Всегда, в любой момент, будет сладостная дрожь победы и ликование над поверженным врагом. Угодно вам видеть образ будущего? Вот он: сапог, наступивший на лицо человека. Навеки наступивший!

Он умолк, как будто ожидая от Уинстона ответа. Но Уинстона опять охватило желание утонуть, исчезнуть без следа в постели. Он не мог произнести ни слова. У него заledenело сердце. О'Брайен продолжал:

— И запомните: это будет навек! Сапог вечно будет

попирать лицо человека. Вечно будет существовать вероотступник, — враг народа, — которого можно будет громить и унижать. Люди вечно будут переживать то, что пережили вы с тех пор, как попали в наши руки. Худшее будут переживать! Шпионаж, измена, аресты, пытки, казни, исчезновение людей никогда не прекратятся. Это будет мир ужаса и ликования. Чем сильнее будет становиться Партия, тем менее терпима ко всякому инакомыслию, чем слабее оппозиция, тем жестче деспотизм. Вечно будет жить ересь Гольдштейна. Каждый день и каждый час ее будут обличать, дискредитировать, высмеивать и позорить, а она все будет жить и жить. Драма, которую я разыгрывал с вами целых семь лет, будет исполняться вновь и вновь, из поколения в поколение и все более искусно. Вот здесь, в этой комнате, вечно будет стонать от боли еретик, отданный нам на позор и поругание. Жалкий и надломленный, раскаявшись во всем, он добровольно приползет к нашим стопам, после того, как мы спасем его от самого себя. Вот мир, который мы готовим, Уинстон. Мир, идущий от победы к победе, от триумфа к триумфу. И мир гнета, — гнета свыше всяких сил. По-моему, вы начинаете понимать, каков он будет. Но под конец вы достигнете большего, чем простое понимание. Вы примете этот мир, будете приветствовать его. Вы станете его частью.

Уинстон пришел в себя настолько, что вернул себе дар речи.

— Вы не добьетесь этого, — произнес он слабым голосом.

— Что вы хотите сказать, Уинстон?

— Я хочу сказать, что вам не удастся создать мира, подобного тому, который вы мне описали. Это бред. Это несущественно.

— Почему?

— Потому что страх, ненависть и истязательство людей не могут составлять основу цивилизации. Как может существовать такая цивилизация!

— А почему не может?

— Потому что она нежизнеспособна. Это тление. Это самоубийство.

— Чуть! Просто вам кажется, что ненависть больше изнуряет, чем любовь. Но почему? скажите, — почему? Да если бы даже это и было так, какое это может иметь значение? Почему вы не хотите допустить, что мы решили ускорить процесс снашивания человеческого организма? Почему не допустить, что мы доведем темп жизни до таких пределов, что человек будет дряхлеть к тридцати годам? Еще раз спрашиваю: что от этого изменится? Поймите, наконец, что смерть индивидуума — не смерть, Партия бессмертна.

Как всегда, голос О'Брайена обезоруживал Уинстона. Страшило и то, что если он будет настаивать на своем, О'Брайен снова включит аппарат. И все-таки Уинстон не мог молчать. Слабо, без всякой аргументации, находя себе опору только в том невыразимом ужасе, который ему внушила речь О'Брайена, он снова перешел в атаку.

— Я не знаю . . . не хочу знать. Но на чем-то вы сорветесь. Что-то должно будет сокрушить вас. Жизнь вас сокрушит.

— Мы властвуем над всеми проявлениями жизни, Уинстон. Вы думаете, что так называемая природа человека, будучи поругана нами, восстанет против нас. Но ведь и природу человека творим мы. Человек бесконечно податлив. Или вы опять имеете в виду вашу прежнюю теорию, что пролетарии или рабы восстанут и сбросят нас? Выкиньте это из головы. Они бессильны, как животные. Человечество — это Партия. Все, кто вне ее, — в расчет не принимаются.

— Пусть так. Но в конце концов они все-таки вас побьют. Рано или поздно они разглядят, кто вы такие, и разорвут вас на куски.

— А вы видите какие-нибудь признаки того, что это произойдет? Или какие-нибудь основания?

— Нет. Я просто верю в это. Я знаю, что вы проиграете. Есть что-то такое в космосе . . . я не знаю, что . . . не-

кий дух, некие вечные законы, которых вам никогда не преступить.

— Вы верите в Бога, Уинстон?

— Нет.

— Тогда что же должно нас сокрушить? Что это за законы?

— Не знаю. Дух Человека.

— А самого себя вы считаете человеком?

— Да.

— Если вы и человек, Уинстон, то вы последний человек. Вы из породы вымирающих; мы идем на смену вам. Вы сознаете, что вы один? Вы вне истории, вы не существуете.

Его поведение начало опять меняться, и он спросил более резко:

— И вы считаете себя духовно выше нас с нашей ложью и жестокостью?

— Да, я считаю, что я выше вас.

О'Брайен не ответил. Вместо его голоса послышались два других. Через минуту Уинстон узнал в одном из них себя. Это была звукозапись его разговора с О'Брайеном в тот вечер, когда он вступал в Братство. И он услышал, как обещал лгать, красть, подделывать, убивать, содействовать распространению наркотиков, проституции и венерических болезней, как обещал плеснуть в лицо ребенка серной кислотой. О'Брайен слабо и нетерпеливо махнул рукой, словно желая сказать, что вся эта демонстрация ни к чему. Потом он повернул выключатель, и голоса умолкли.

— Встаньте! — приказал он.

Путы, удерживавшие Уинстона на койке, сами собой ослабли. Уинстон сполз на пол и неуверенно встал на ноги.

— Вы последний представитель рода человеческого, — повторил О'Брайен. — Вы страж человеческого духа. Сейчас вы увидите себя таким, каков вы есть на самом деле. Раздевайтесь!

Уинстон распутал веревочку, которой был затянута его комбинезон. Застежка «молния» уже давно была сорвана с

него. Он не помнил, приходилось ли ему хоть раз с момента ареста снимать с себя одежду. Под комбинезоном болтались на теле грязные рыжие тряпки, в которых едва можно было распознать остатки белья. Сбрасывая их на пол, он увидел в дальнем конце комнаты трельяж. Он направился к нему и тут же остановился. Из его груди вырвался непроизвольный крик.

— Идите, идите! — приказал О'Брайен. — Станьте между створками. Тогда вы увидите себя и в профиль.

Уинстон остановился потому, что его обуял страх. Пепельно-серое, скелетообразное существо, согнувшись в три погибели, шло ему навстречу. Вид этого существа наводил ужас, но не только потому, что Уинстон узнал в нем собственное отражение. Он подошел к зеркалу ближе. Из-за того, что чудище двигалось ссутулившись, череп его непомерно выдавался вперед. На Уинстона глядело лицо жалкого закореневшего арестанта с высоким лбом, переходившим в лысину, с перебитым носом и развороченными скулами, над которыми жарко горели настороженные глаза. Щеки были покрыты морщинами, углы рта скорбно опущены. Определенно, это было его собственное лицо, но ему казалось, что внешне он изменился куда больше, чем внутренне. То, что отражалось на его лице, не отвечало его чувствам. Он полысел. Вначале ему показалось, что он и поседел, но потом увидел, что череп его просто-напросто оброс слоем серой грязи. За исключением лица и рук, все его тело покрывала старая, въевшаяся грязь. Там и сям из-под нее алели рубцы ран, а варикозная язва над лодыжкой превратилась в воспаленную массу, покрытую, как чешуей, шелушащейся кожей. Но больше всего устрашала худоба. Грудь была как у скелета, ноги высохли до того, что колени стали толще бедер. Теперь только он сообразил, почему О'Брайену хотелось, чтобы он посмотрел на себя сбоку. Он не поверил собственным глазам, увидав, как искривился его позвоночник. Узкие плечи так ссутулились, что грудь образовывала впадину, а тощая шея сгибалась вдвое под тяжестью головы. На

вид это было тело человека лет шестидесяти, страдающего какой-то злокачественной болезнью.

— Вы удивлялись иногда тому, что мое лицо, лицо члена Внутренней Партии, выглядит старым и поношенным, — сказал О'Брайен. — А что вы скажете насчет вашего собственного лица?

Он взял Уинстона за плечо и повернул кругом, так что они оказались лицом к лицу.

— Посмотрите, во что вы превратились! — продолжал он. — Посмотрите, какой коростой обросло все ваше тело. А какая грязь у вас между пальцами на ногах! А эти отвратительные язвы на лодыжках! Знаете ли вы, что от вас воняет, как от козла? Впрочем, вы наверно уже перестали это замечать. Посмотрите, как вы высохли. Я могу легко охватить пальцами ваши бицепсы. Могу переломить шею, как морковь. Известно ли вам, что с тех пор, как вы попали в наши руки, вы потеряли в весе двадцать пять килограммов? Даже волосы у вас лезут целыми прядями. — Он запустил руку в голову Уинстона и выдернул целый пук волос. — Видали? Откройте-ка рот. Девять, десять, одиннадцать . . . Всего одиннадцать зубов. А сколько у вас было, когда вы пришли сюда? Да и те, которые остались, едва держатся во рту. Смотрите!

Он ухватил своими мощными пальцами один из уцелевших зубов Уинстона. Внезапно Уинстон почувствовал резкую боль в челюсти. О'Брайен с корнем вырвал зуб и швырнул на пол.

— Вы разлагаетесь, — сказал он, — распадаетесь на части. Что вы такое? Мешок с дерьмом. Повернитесь к зеркалу еще раз. Видите вы страшилище, которое глядит на вас? Это последний представитель рода человеческого. Если вы человек, то перед вами — человечество. А теперь, — марш одеваться!

Медленно, окаменевшими руками Уинстон стал натягивать одежду. Он, должно быть, до сих пор не замечал того, как похудел и ослабел. Только одна мысль шевелилась в мозгу, — мысль о том, что он, по-видимому, пробыл здесь го-

раздо дольше, чем предполагал. Потом, натягивая жалкое тряпье, он вдруг почувствовал жалость к себе, к своему растоптанному телу. Не успев сообразить, что с ним такое происходит, он упал на табурет, стоявший возле койки, и залился слезами. Сидя в ярком белом свете, как куча костей, облеченных в грязное тряпье, он плакал над своей поруганной душой, над своим отталкивающим внешним безобразием. О'Брайен почти дружески положил руку ему на плечо.

— Это не век будет продолжаться, — сказал он. — Вы можете покончить с этим в любой миг. Все зависит исключительно от вас.

— Это вы! — сквозь рыдания проговорил Уинстон. — Вы довели меня до этого!

— Нет, Уинстон, вы сами себя довели, — сказал О'Брайен. — Вы сами избрали свою долю в тот день, когда восстали против Партии. Первый шаг всё предрешил. Вы предвидели всё, что с вами здесь произошло.

Немного помолчав, он продолжал:

— Да, мы истязали вас, и теперь вы сломленный человек. Вы видели, во что превратилось ваше тело. Ваш рассудок в таком же состоянии. Я не думаю, чтобы у вас осталось слишком много гордости. Вас награждали пинками, секли, оскорбляли: вы ревели от боли, катались по полу в собственной блевоте и крови. Вы молили о пощаде, вы предали всех и вся. Можно ли представить хоть одно унижение, через которое вы не прошли?

Уинстон перестал плакать, хотя слезы сами собой продолжали бежать по щекам. Он поднял на О'Брайена глаза.

— Я не предал Юлию, — сказал он.

О'Брайен задумчиво поглядел на него сверху вниз.

— Да, — ответил он. — Да, вы совершенно правы. Вы не предали Юлию.

Мистическое благоговение перед О'Брайеном, которого, казалось, ничто в мире не способно было уничтожить, вспыхнуло в сердце Уинстона с новой силой. Как умен, — подумал Уинстон, — как он умен! Не бывало случая, чтобы

О'Брайен не понял его с полуслова. Любой другой на его месте тотчас же заявил бы, что он давно предал Юлию. Ибо не существовало такой тайны, которой у него не вывели бы под пытками. Он рассказал им все, что знал о ней — о ее характере, привычках, прошлой жизни; он описывал им все подробности их встреч и разговоров, рассказывал даже о том, какие продукты они покупали на черном рынке, как любили, как грезил о заговоре против Партии. И все-таки, в том смысле, какой он вкладывал в свои слова, он не предал Юлию. Он не перестал любить ее; его чувства к ней остались прежними. О'Брайен понимал это без всяких объяснений.

— Скажите, когда меня расстреляют? — спросил у него Уинстон.

— Возможно, что еще не скоро, — ответил О'Брайен. — Вы представляете собою трудный случай. Однако не отчаивайтесь. Каждый рано или поздно исцеляется. В конце концов мы расстреляем вас.

#### IV

Он чувствовал себя гораздо лучше. С каждым днем (если только слово «день» уместно в данном случае) он полнел и набирался сил.

Камера, в которой как всегда, горел белый искусственный свет и слышалось жужжание вентилятора, была значительно удобнее, чем все прежние. В ней имелся стул и грубая деревянная койка с матрацем и подушкой. Уинстона выкупали в ванне и теперь довольно часто разрешали умываться из жестяного тазика. Для умывания давали даже теплую воду. Он получил новое белье и чистый комбинезон. Варикозную язву мазали какой-то успокаивающей мазью. Немногие оставшиеся у него зубы выдернули и вставили новые искусственные челюсти.

Протекли недели или месяцы. Если бы он интересовался этим, он мог бы теперь отмечать течение времени, потому

что более или менее регулярно получал пищу. По его расчетам, его кормили трижды в сутки, но днем или ночью — он не мог сообразить. Он также удивлялся тому, что пища оказалась хорошей: каждая третья еда была мясная. Один раз ему даже выдали пачку сигарет. Спичек у него не было, но вечно молчащий часовой, приносивший еду, давал ему прикуривать. Когда Уинстон закурил первый раз, ему стало плохо, но, несмотря на это, он упорно продолжал курить. Ему удалось надолго растянуть пачку, выкуривая по полсигареты после каждой еды. Ему дали белую грифельную доску, к которой был привязан осколок грифеля. Первое время он совсем ею не пользовался. Даже бодрствуя, он находился в состоянии крайней апатии. В большинстве случаев он лежал, почти не двигаясь, от одной еды до другой — иногда погруженный в сон, иногда в такую смутную задумчивость, что даже для того, чтобы открыть глаза, требовалось большое усилие. Он уже давно привык спать при ярком, устремленном в лицо свете. По-видимому, ничего особенного в этом не было, за исключением того, что сны становились более связными и отчетливыми. Все это время он постоянно видел сны и всегда счастливые. Он видел себя в Золотой Стране или где-то посреди громадных, великолепных, освещенных солнцем руин, — с матерью, с Юлией, с О'Брайеном; они сидели на солнышке, не занятые ничем, — просто сидели и мирно беседовали. И, даже бодрствуя, он чаще всего продолжал думать о снах. Теперь, когда стимул боли перестал подхлестывать, он, казалось, потерял способность к умственному усилию. Он не скучал: ему не хотелось ни говорить, ни развлекаться. Он был совершенно удовлетворен своим одиночеством и тем, что никто его не бьет и не допрашивает, что он сыт и в чистоте.

Мало-помалу он стал спать меньше и меньше, но все еще не чувствовал желания вставать с постели. Единственное, что ему хотелось, — это лежать, не двигаясь, и ощущать, как наливается силами тело. Он ощупывал себя то тут, то там, чтобы убедиться, что мускулы действительно округля-

ются, а кожа делается более упругой. Наконец исчезли и последние сомнения в том, что он поправляется. Бедрa у него определенно были теперь толще колен. После этого, — сначала неохотно, — он начал заниматься гимнастикой. Вскоре он уже мог пройти по камере три километра, измеряя расстояние шагами. Плечи его стали выпрямляться. Он попробовал перейти к более сложным упражнениям и был удивлен и сконфужен, когда обнаружил, что многое ему стало недоступно. Он мог ходить только шагом, он не мог удержать стула на вытянутой руке, не мог стоять на одной ноге. Он сaдился на корточки и пробовал подняться, но испытывал при этом мучительную боль в икрах и в бедрах. Он ложился на живот и пытался выжиматься на руках. Безнадежно! Он не мог подняться даже на сантиметр. Но спустя несколько дней, еще немного подкормившись, удалось осилить и эту задачу. Настало такое время, что он мог выжиматься по шесть раз подряд. Теперь он по-настоящему гордился своим телом, и по временам в нем загоралась надежда, что и его лицо мало-помалу тоже принимает свой нормальный вид. Только когда ему случайно приходилось касаться рукою голого черепа, перед ним возникал образ развалины, глядевшей на него из зеркала.

Постепенно возвращалась и потребность в умственной деятельности. Прислонившись к стене, Уинстон сидел на деревянной койке с грифельной доской на коленях и усердно занимался собственным перевоспитанием.

Несомненно, он капитулировал. Он знал теперь, что, в сущности говоря, капитулировал задолго до того, как принял решение о капитуляции. Еще в тот миг, когда он очутился в Министерстве Любви, — нет, даже еще тогда, когда они с Юлией беспомощно стояли и слушали приказы, отдаваемые по телескрину железным голосом, — он осознал, насколько несерьезна и неглубока была его попытка противопоставить себя Партии. Ему теперь было известно, что Полиция Мысли целых семь лет наблюдала за ним, как наблюдают в лупу какого-нибудь крохотного жучка. Не было по-

ступка или слова, которых она не зафиксировала бы; не было мысли, о которой она не могла бы догадаться. Даже белесоватая пылинка, положенная им на обложку дневника, была аккуратно водворена на свое место. Ему демонстрировали звукозаписи и фотографии. На некоторых снимках он видел себя с Юлией даже в момент . . . Нечего было и думать о дальнейшей борьбе с Партией. И, кроме того, Партия была права. Так оно и должно быть: может ли ошибаться коллективный и бессмертный разум? И где те объективные критерии, с помощью которых можно было бы его судить? Чтобы научиться думать так, как Партия, нужна только техника, только тренировка. Единственно что . . .

Грифель казался ему чересчур толстым и неудобным. Он начал записывать мысли, приходившие ему на ум. Большими неровными буквами он вывел:

Свобода — это Рабство

Затем, почти следом:

Два и два — пять

Но тут произошла какая-то заминка. Словно напуганный чем-то, разум его, казалось, не мог сосредоточиться. Он был уверен, что знает дальнейшее и только не мог воскресить его в памяти. Потом, — не свободно, не по наитию, — а только при помощи рассуждения, он вспомнил, что должно следовать дальше. И написал:

БОГ — ЭТО СИЛА

Он соглашался со всем. Прошлое изменяемо. Прошлое не изменяется никогда. Океания воюет с Истазией. Океания всегда воевала с Истазией. Джонс, Ааронсон и Рутефорд совершили те преступления, в которых обвинялись. Он никогда не видал фотографии, опровергающей их вину. Фотографии никогда не существовало; он выдумал ее. Он помнил, что помнит противное, но то были ложные воспоминания — продукт самообмана. Как это всё легко! Только капитулируй — и все остальное явится к тебе. Как будто, вместо то-

го, чтобы плыть против течения, которое, сколько ни борись с ним, сносит и сносит тебя, решил вдруг повернуть назад и поддаться ему. Ничто не изменилось, кроме твоего положения, и, вместе с тем, произошло что-то предопределяющее. Он почти не понимал теперь, зачем ему было нужно бунтовать. Ведь все это так просто и легко, за исключением . . .

— Решительно всё может оказаться правдой! Так называемые законы природы — чепуха. Закон тяготения — чепуха. «Стоит мне захотеть, — говорит О'Брайен, — и я поднимусь на воздух, как мыльный пузырь». Уинстон принялся развивать эту мысль. «Если он думает, что взлетит, и я в то же самое время буду думать, что взлетит, — то это и произойдет». Но тут, — как внезапно всплывший на поверхность воды обломок крушения, — явилась мысль: «А ведь этого в действительности не произойдет. Мы просто вообразим это себе. Это будет галлюцинация». Он моментально прогнал эту мысль, как явно ошибочную. В ней заключалось предположение, что где-то, вне человека, существует «реальный» мир, в котором совершаются «реальные» явления. Но как можно допустить существование такого мира? И что мы знаем вообще, кроме собственных мыслей? Все, что происходит, — происходит в уме человека. И то, что происходит в умах всех, — происходит в действительности.

Ему было нетрудно избавляться от заблуждений, и он не опасался, что не справится с этой задачей. Но он понимал, что это нужно закрепить навек. В уме должны образовываться белые пятна, пустоты всякий раз, когда опасная мысль закрадется в него. Процесс должен протекать автоматически. На Новоречи он именуется криминостопом.

Он стал упражняться в криминостопе. Он формулировал аксиому: «Партия учит, что Земля имеет плоскую форму» или «Партия учит, что лед тяжелее воды» и приучал себя не видеть и не понимать противоположных доводов. Это было нелегко. Нужна была большая сила рассуждения и импровизации. Арифметические проблемы, возникавшие на

базе таких, например, утверждений, как «два и два равняются пяти», были для него вообще непостижимы. А чтобы уметь пользоваться тончайшими доводами логики и тут же не замечать самых грубых логических ошибок, нужно было обладать каким-то атлетическим умом. Глупость была столь же необходима, как сообразительность, и ее так же трудно было в себе развить.

Вместе с тем, все это время он думал о том, когда же его расстреляют. «Все зависит исключительно от вас», — говорил ему О'Брайен. Но он знал, что не в его власти приблизить назначенный час. Расстрелять могут и через десять минут и через десять лет. Могут продержат в одиночке еще десять лет или отправить в концентрационный лагерь, но могут на известное время и освободить, что иногда делается. Вполне вероятно, что прежде чем расстрелять, всю драму его ареста и допросов разыграют наново. Одно ясно: смерть всегда приходит неожиданно. По традиции, — о которой никогда не говорится, о которой никто не слышал, но почему-то знают все, — расстреливают всегда одинаково: сзади, выстрелом в затылок, без предупреждения, когда вы идете по коридору из одной камеры в другую.

В один прекрасный день, — впрочем, «день» едва ли здесь подходит, потому что также вероятно, что это случилось в полночь, — итак, однажды, он впал в странную, в блаженную задумчивость. Он шел по коридору, ожидая пули в затылок. Он знал, что это произойдет с секунды на секунду. Все было решено, все улеглось, со всем он примирился. Сомнения и споры, боль и страх — все миновало. Он чувствовал себя здоровым, полным сил. Он шел легкой походкой, наслаждаясь движением, словно прогуливался на солнышке. Шел он не по узким белым коридорам Министерства Любви, а по громадному, залитому солнцем пассажи, — кажется, по тому самому, который видел в бреду после снотворного. Он находился в Золотой Стране и шел по тропинке через старое, потравленное кроликами пастбище. Он чувствовал короткий упругий газон под ногами и ласку солнца на лице.

На другой стороне выгона стояли, чуть покачиваясь, вязы, и где-то позади них пробежал поток с зелеными заводями, в которых в тени лип лежали ельцы.

Вдруг он в ужасе вскочил. Все тело покрылось холодным потом. Он услышал свой собственный крик:

— Юлия! Юлия! Юлия! Любовь моя, Юлия!

С минуту он был полностью во власти впечатления, что она здесь, с ним. Даже не с ним, а в нем. Ему казалось, что он весь наполнен ею. В этот миг он любил ее несравненно сильнее, несравненно больше, чем в те дни, когда они были вместе и на свободе. И он знал, что она жива и ждет его помощи.

Он лег на спину на койку и постарался овладеть собою. Что он наделал? Сколько лет прибавил к своей каторге, подавшись минутной слабости?

Сейчас он услышит шаги за дверью. Такой срыв не может остаться безнаказанным. Если они и не знали прежде, то теперь им ясно, что он нарушает заключенное с ними соглашение. Он покорился Партии, но продолжает ненавидеть ее. Прежде он прятал свою ересь под личиной правочности. Теперь он отступил еще на шаг: он капитулировал даже в сознании, но надеялся сберечь неоскверненную душу. Они это поймут, — О'Брайен, во всяком случае, должен понять. И всему виною один глупый крик!

Надо начинать сначала. На это могут потребоваться годы. Он провел рукой по лицу, стараясь освоиться со своим новым обликом. Глубокие морщины бороздили щеки, скулы выдавались, нос был приплюснут. Вдобавок, уже после того, как он последний раз видел себя в зеркале, ему вставили новые челюсти. Трудно хранить тайну, не зная своего лица. И даже зная, — мало уметь управлять его чертами. Впервые ему стало ясно, что для сохранения тайны, ее нужно сделать тайной и для самого себя. Необходимо всегда помнить о ней, но не позволять ей отливаться в образ, которому можно дать название. Отныне он должен не только думать так, как от него требуют, но и чувствовать и мечтать.

И все время должен держать ненависть спрятанной глубоко в себе, как сгусток материи, которая будучи частицей его тела, вместе с тем, чужда ему, точно киста.

Рано или поздно они решат расстрелять его. Когда, — неизвестно, но за несколько секунд все-таки можно будет догадаться. Стреляют всегда сзади, в то время, когда вы идете по коридору. Десяти секунд будет достаточно. И в этот миг его внутренний мир раскроется. Внезапно, — без единого слова, без перебоя в шаге, с тем же выражением лица, — он сбросит маску и все батареи его ненависти откроют огонь. Ненависть заполнит его, как громадное ревущее пламя. И почти в ту же секунду из дула револьвера вырвется пуля, — слишком поздно или слишком рано. Она раскроит мозг Уинстона раньше, чем они сумеют исправить его. Покаяния так и не наступит: еретические мысли останутся ненаказанными, навсегда недостижимыми для них. Они просто продырявят свое собственное совершенство. Умереть, ненавидя их, — вот в чем свобода!

Он закрыл глаза. Это — гораздо труднее, чем простое подчинение их умственной дисциплине. Это вопрос самодеградации, самоувечья. Ему придется по уши влезть в отвратительную грязь. Что самое ужасное, самое отталкивающее на свете? Он вспомнил о Старшем Брате. Как бы сами собою всплыли в памяти: громадное лицо (из-за того, что он постоянно видел его на плакатах, оно представлялось ему в метр шириной), густые черные усы и стерегущий, всюду вас преследующий взгляд. Каковы его истинные чувства к Старшему Брату? . .

В коридоре послышался тяжелый стук сапог. Стальная дверь с лязгом распахнулась. В камеру вошел О'Брайен. Позади него стоял офицерик с восковым лицом и охранники в черном.

— Встаньте! — приказал О'Брайен. — Подойдите ко мне!

Уинстон остановился перед ним. О'Брайен взял его своими могучими руками за плечи и пристально взглянул в лицо.

— Вы собирались обмануть меня, — сказал он. — Как это глупо! Стойте ровнее! Смотрите мне в глаза.

Помолчав, он мягко добавил:

— Вы поправляетесь. Ваш рассудок уже почти в порядке. Только эмоции мешают вашему дальнейшему выздоровлению. Скажите, Уинстон, — но помните, не лгать! — вы знаете, что я тотчас же угадаю ложь, — скажите, какие чувства вы питаете в действительности к Старшему Брату?

— Я ненавижу его.

— Вы ненавидите его. Я понимаю. Значит, наступило для вас время сделать последний шаг. Вы должны полюбить Старшего Брата. Мало покориться ему; вы должны любить его.

Он снял руки с плеч Уинстона и легонько подтолкнул к охранникам. В 101-ую камеру, — сказал он.

## V

На каждом этапе заключения он знал, или полагал, что знает, в какой именно части громадного, без окон, здания он находится. Возможно, что была едва заметная разница в атмосферном давлении. Камера, в которой его избивали охранники, была расположена ниже уровня земли. Комната, где допрашивал О'Брайен, — почти под крышей. Теперь он сидел в каком-то самом глубоком подвале, глубже которого не могло и быть.

Камера была обширнее, чем все те, в которых он побывал прежде. Но он почти не видел окружающего. Все, что он мог различить — это два небольших столика, стоящие прямо перед глазами; оба были накрыты зеленым сукном. Один стоял на расстоянии всего какого-нибудь метра или двух, другой — дальше, у двери. Уинстон сидел выпрямившись на стуле, привязанный к нему так туго, что не мог пошевелиться, даже повернуть головы. Что-то вроде небольшой подушки охватывало затылок, заставляя смотреть прямо вперёд.

Некоторое время он сидел один, потом дверь отворилась и вошел О'Брайен.

— Вы как-то спрашивали, — начал он, — что такое Камера 101. Я ответил, что вы знаете. Каждый это знает. Камера 101 — это то, страшнее чего нет на свете.

Дверь снова отворилась. Вошел охранник, держа в руках что-то похожее на проволочный ящик или клетку. Он поставил эту вещь на дальний столик. О'Брайен стоял так, что почти загоразживал ее собою от Уинстона.

— Самое страшное на свете, — продолжал О'Брайен, — в представлении разных людей различно. Иной думает, что самое ужасное — быть погребенным заживо; другому самым страшным кажется смерть на костре; третьего ужасает смерть утопленника; четвертого — смерть посаженного на кол; пятого — пятьдесят других смертей. Иногда какой-нибудь пустяк, даже и не рокового свойства, страшит человека больше смерти.

Он слегка посторонился, чтобы Уинстон мог видеть то, что стояло на столе. Это была продолговатая проволочная клетка с ручкой наверху. На одной из ее стенок имелось приспособление вроде фехтовальной маски, обращенной открытой стороной наружу. Хотя до клетки было метра три или четыре, Уинстон видел, что она разделена на несколько отделений, и каждое из них кишит какими-то животными. Это были крысы.

— В вашем случае, — сказал О'Брайен, — самое ужасное на свете крысы.

Роковой страх, страх перед неведомым, обуял Уинстона еще в тот миг, когда он бросил первый взгляд на клетку. Теперь ему в миг стало понятно и назначение похожего на маску приспособления на ее передней стенке. Кровь застыла в жилах Уинстона.

— Нет! — закричал он не своим голосом. — Нет! Нет! Это невозможно!

— Вы помните кошмар, который мучал вас иногда по ночам? — продолжал О'Брайен. — Помните вы стену мрака и

шум крови у вас в ушах? Нечто нестерпимое таилось за стенами мрака. Вы знали, Уинстон, что там скрывалось; вы только не осмеливались приподнять завесу. Крысы были за стеной мрака. Крысы!

— О'Брайен, — заговорил Уинстон, стараясь всеми силами сдержать дрожь в голосе, — О'Брайен, вы же знаете, что в этом нет необходимости. Что вы хотите от меня? Скажите, что?

О'Брайен уклонился от прямого ответа. С минуту помолчав, он снова заговорил в той поучающей манере, которую любил иногда напускать на себя. Его глаза задумчиво были устремлены в пространство, точно он обращался не к Уинстону, а к сидящей позади него аудитории.

— Сама по себе боль, — сказал он, — не всегда достаточно сильное средство. Случается, что человек способен выдержать любую, даже смертную боль. Но у каждого есть своя слабость, есть нечто такое, чему он не может сопротивляться. Мужество и малодушие тут ни при чем. Когда вы летите с высоты, не трусость заставляет вас хвататься за веревку. Когда вы поднялись из глубины воды, не малодушие побуждает вас вздохнуть всей грудью. И в том и в другом случае действует простой инстинкт, которого нельзя слушаться. То же самое с крысами. Для вас они невыносимы. Они — просто форма давления, которого вам не выдержать, даже если вы и захотели бы. И вам придется сделать то, что от вас требуют.

— Но что это такое, что? Как можно сделать что-то, если ты не знаешь, что?

О'Брайен поднял клетку и перенес на ближний столик. Он бережно поставил ее на зеленое сукно. Уинстон слышал шум крови в ушах. Он чувствовал себя так, будто сидел в полном одиночестве где-то посреди необъятной равнины или совершенно плоской, выжженной солнцем степи, куда все звуки доносились до него из бесконечной дали. И даже клетка с крысами была не на расстоянии двух метров, а тоже где-то очень далеко. Какие громадные крысы! И все в

том возрасте, когда морды у них становятся тупыми и свирепыми, а шкура из серой превращается в бурую.

— Будучи грызунами, — продолжал О'Брайен поучать невидимую аудиторию, — крысы, вместе с тем, являются хищными животными. Вы знаете это. Вы слышали о том, что случается иногда в кварталах Лондона, населенных беднотой. На некоторых улицах женщины боятся оставлять детей одних даже на пять минут, потому что крысы непременно нападут на них. В течение нескольких минут они обгладывают тело до костей. Они пожирают также мертвых и больных. Они обнаруживают замечательную сообразительность, безошибочно угадывая, когда человек слаб и беззащитен.

В клетке раздался взрыв визга. Он донесся к Уинстону откуда-то издалека. Крысы дрались, они старались вцепиться друг в друга сквозь перегородки. Уинстон услышал также тяжелый стон отчаяния. Этот стон, кажется, исходил из его собственной груди.

Опять О'Брайен приподнял клетку и что-то в ней нажал. Послышался резкий щелчок. Уинстон изо всех сил дернулся на стуле, силясь порвать путы. Бесполезно! Он не мог пошевелиться ни одним членом. О'Брайен пододвинул клетку ближе. Теперь она была меньше, чем в метре от Уинстона.

— Я нажал первый рычаг, — сказал О'Брайен. — Вы понимаете устройство клетки? Маска будет надета вам на лицо, так что не останется ни одной щелки. Когда я надавлю второй рычаг, дверца упадет. Эти голодные бестии пулями кинутся из клетки. Вы видели когда-нибудь летящую крысу? Они кинутся прямо вам в лицо и в ту же секунду вцепятся в него. Иногда они прежде всего выедают глаза. Иногда прогрызают насквозь щеки и сжирают язык.

Клетка опять придвинулась. Теперь Уинстон легко мог дотянуться до нее рукою. Кто-то непрерывно и пронзительно визжал у него над головой. Но он неистово боролся с паникой. Думать, думать! До последней доли секунды думать — в этом вся надежда. Неожиданно отвратительный за-

пах крысиного помета коснулся его ноздрей. Внутри у него все сжалось и задрожало в неудержимой спазме тошноты, и он едва не потерял сознания. В глазах помутилось. На какой-то миг он превратился в обезумевшее, дико ревушее животное. Мысль, молнией блеснувшая в уме, помогла ему вернуть сознание. Существовал один, и только один способ спасти себя. Между собой и крысами он должен поставить другого человека, другое человеческое тело.

Овал маски заслонил собой весь мир. Проволочная дверца клетки была рядом. Очевидно, крысы теперь тоже понимали, что должно произойти. Одна из них металась по воздуху от стенки к стенке. Старый, покрытый паршой самец из породы тех, что водятся в канализационных трубах, стоял, положив передние розовые лапки на сетку и неистово обнюхивал воздух. Уинстон видел его желтые зубы и усы. Новый приступ паники обуял его. Он был слеп, беспомощен, не соображал ничего.

— Эта казнь, — сказал О'Брайен прежним дидактическим тоном, — широко практиковалась в Китайской Империи.

Маска легла на лицо Уинстона. Проволока коснулась щек. И вдруг! . . Нет, это не было спасением, не было даже надеждой на спасение, а лишь проблеском надежды. Поздно! Вероятно, уже поздно. Но вдруг ему стало ясно, что на всем свете есть только один человек, на которого он мог перенести наказание, одно тело, которое он мог поставить между крысами и собой. И он неистово закричал:

— Пусть это будет с Юлией! Пусть будет с Юлией, а не со мной! Делайте с нею что хотите, — мне совершенно все равно! Изуродуйте ее! Изорвите на части! Только не меня! Юлию, Юлию, а не меня! . .

И он полетел куда-то вниз, в страшную пропасть, — прочь, прочь от клетки с крысами. Он был все еще привязан к стулу, но вместе с ним летел сквозь пол, стены здания, сквозь твердь и океаны, сквозь земную атмосферу, куда-то в иные сферы, в межзвездную бездну, — все прочь, прочь и прочь от крыс. Он был уже на расстоянии световых лет от

них, но О'Брайен все еще стоял возле него. И тут, в окутывавшем его мраке раздался металлический щелчок затвора. И Уинстон понял, что дверца клетки не открылась, а, наоборот, захлопнулась.

## VI

Кафе «Под каштаном» почти пустовало. Лучи солнца, косо падавшие из окна на пыльный стол, золотили его. Было около пятнадцати, — время дневного затишья. Из телескопа тоненькой струйкой доносилось бречание музыки.

Сидя на обычном месте в углу, Уинстон бесцельно глядел в порожний стакан. Время от времени он поднимал глаза на громадное лицо, смотревшее на него с противоположной стены. «Старший Брат охраняет тебя», — говорила надпись. Не дожидаясь, когда его позовут, подошел официант и наполнил стакан Джинном Победа, добавив к нему несколько капель из другой бутылки с капельницей в пробке. Это был раствор сахарина, настоянный на гвоздике — специальность кафе.

Уинстон прислушивался к телескопу. Сейчас по нему передавалась только музыка, но каждую минуту можно было ожидать специального бюллетеня Министерства Мира. С африканского фронта поступали необычайно тревожные вести. Целый день он с беспокойством думал о них. Евразийская армия (Океания воевала с Евразией, Океания всегда находилась в войне с Евразией) двигалась на юг с ужасающей быстротой. В сводке, переданной в полдень, не упоминалось никаких территорий, но можно было предполагать, что бои идут уже в устье Конго. Брацлавиллю и Леопольдвиллю угрожала опасность. Даже не глядя на карту, легко можно было понять, что это означает. Речь шла не просто о потере Центральной Африки: впервые за всю войну создавалась угроза территории самой Океании.

Что-то похожее на страх, но не страх, а какое-то общее возбуждение охватило Уинстона и тотчас же увяло. Он пе-

рестал думать о войне. Он не умел теперь сосредоточиваться на одном предмете дольше, чем на несколько минут. Он поднял стакан и разом осушил. Как всегда, его при этом передернуло и даже потянуло стошнить. Смесь имела отвратительный вкус. Тошнотворные сами по себе, гвоздика с сахарином не могли забить запаха сивухи. Но хуже всего было то, что пары джина, в которых он теперь купался день и ночь, неразрывно связывались в его памяти с запахом этих . . .

Он никогда не называл их, даже мысленно, и, насколько возможно, старался не вспоминать о них. Они были чем-то едва уловимым, чем-то неясно парящим вокруг него, словно запах, щекочущий ноздри. Джин начал бродить в животе, и Уинстон отрыгнул, приоткрыв алый рот. Он пополнил с того времени, как его отпустили, и лицо его возвратило себе прежние краски, сделалось даже ярче, чем прежде. Черты расплылись, кожа на носу и на скулах казалась покрытой багровой сыпью, даже лысина розовела слишком уж ярко. Официант, — опять без напоминания, — подал ему шахматы и свежий номер Таймса, открытый на шахматной задаче. Потом, заметив, что стакан Уинстона пуст, принес бутылку и налил еще. Напоминать было не нужно. В кафе знали привычки Уинстона. Шахматная доска всегда была к его услугам, столик в углу всегда ждал его, и даже когда посетителей было много, он сидел один, потому что никому не хотелось, чтобы его видели в обществе Уинстона Смита. Он никогда не утруждал себя счетом выпитого. Время от времени ему вручали грязный клочок бумаги, называвшийся счетом, но у него было такое впечатление, что кафе, вечно обсчитывает само себя. Впрочем, будь это наоборот, он тоже не тревожился бы. У него теперь всегда было достаточно денег. Была даже и работа, — синекура, — которая оплачивалась много лучше прежней.

Передача музыки по телескрину прекратилась, и послышался голос диктора. Уинстон, подняв голову, прислушался. Но, нет, — сводки с фронта опять не было. Передавали про-

сто краткое сообщение Министерства Изобилия. Из него явствовало, что план Десятой Трехлетки по выпуску шнурков для ботинок перевыполнен в прошлом квартале на девяносто восемь процентов.

Он просмотрел шахматную задачу и расставил фигуры. Это было остроумное окончание партии с двумя конями. «Белые начинают и дают мат в два хода». Уинстон поднял глаза на портрет Старшего Брата. Белые всегда выигрывают, — подумал он с каким-то мистицизмом. Всегда, без исключения, потому что так когда-то было решено. С начала мира ни в одной шахматной задаче черные не выигрывали. Разве это не символизирует вечного и неизменного торжества Добра над Злом? Громадное лицо, полное спокойной силы, пристально смотрело на него. Белые всегда выигрывают.

Диктор помолчал.

— Внимание! — снова начал он иным, гораздо более серьезным тоном. — Внимание! Сегодня, в пятнадцать тридцать будет передаваться важное сообщение. Слушайте сообщение особой важности в пятнадцать тридцать! Следите за передачами.

Бренчание музыки возобновилось.

У Уинстона забилося сердце. Это будет военная сводка! Чувство говорило ему, что нужно ждать скверных новостей. Мысль о сокрушительном поражении в Африке целый день не выходила у него из головы, тревожа как заноза. Он почти видел неисчислимую армию евразийцев, прорывающуюся через границы, которые никогда прежде не пересекались, и растекающуюся, подобно туче муравьев, по южной оконечности Африки. Разве нельзя как-то охватить их с флангов? Очертания западного побережья Африки живо возникли в его памяти. Он взял белого коня и сделал ход. Вот где он должен стоять! Достаточно было представить себе темные орды евразийцев, стремительно текущие на юг, чтобы увидеть и другую армию, которая таинственно концентрируется и высаживается в тылу врага, отрезая его коммуникации.

Уинстон чувствовал, что желая видеть эту армию, он тем самым вызывает ее к жизни. Но необходимо действовать без промедления. Ибо, если евразийцы захватят всю Африку, если они овладеют воздушными базами и базами подводных лодок на мысе Доброй Надежды, Океания окажется разрезанной пополам. Это может означать все что угодно: поражение, развал, передел мира, ниспровержение Партии! У него занялся дух. Необычайный хаос чувств, — даже и не хаос, а такое быстрое напластование их, что невозможно было различить ни одного отдельного ощущения, — снова хлынул в сердце.

Спазма прошла. Он поставил белого коня на прежнее место, но еще с минуту не мог сосредоточиться на шахматной задаче. Его мысли снова разбрелись. Он почти не замечал того, как выводит пальцем на пыльном столе:

$$2 + 2 = 5$$

«Нельзя влезть в душу человека», — говорила она. О, нет! Они могут проникнуть и в человеческую душу. «То, что случилось с вами здесь, — сказал ему О'Брайен, — случилось навек». Это правильно. Есть такие вещи, такие поступки, которых уже не вернуть. Что-то убито у вас в сердце, выжжено, вытравлено.

Он виделся с ней, даже говорил. Ничего опасного в этом не было. Он знал, как бы догадывался инстинктивно, что его делами теперь почти не интересуются. Они могли бы даже условиться о другом свидании, если бы захотели. Их встреча произошла случайно — в Парке, в отвратительный, пронизывающе-холодный майский день, когда земля была тверда, точно чугун, трава казалась умершей, и нигде не было видно ни одного цветка, кроме нескольких бутонов крокуса, распустившихся словно нарочно для того, чтобы их растрепал ветер. С озябшими руками, со слезящимися глазами он торопливо шел по Парку и вдруг увидел ее не дальше, чем в десятке метров от себя. Ему сразу же бросилось в гла-

за, что с ней произошла какая-то неуловимая перемена. Они уже почти прошли, не поздоровавшись, мимо друг друга, но тут он повернул и не очень решительно последовал за нею. Он знал, что это не опасно: ведь все равно никто им не интересуются. Она молчала. Она сошла с дороги на траву и пошла наискосок, словно хотела избавиться от него, но потом, должно быть, примирилась с тем, что он идет за нею. Вскоре они оказались среди кущ голого неподстриженного кустарника, который не только не мог служить убежищем, но даже и укрыть от ветра. Они остановились. Холод пронизывал до костей. Ветер свистел в ветвях, подергивая редкие бурые кусты крокуса. Он обнял ее за талию.

Телескрина поблизости не было, но должны были таиться микрофоны; кроме того, их просто могли видеть. Однако, это ничего не значило. Если бы они пожелали, они могли бы тут же лечь на траву и . . . При одной мысли об этом у него по телу пробежали мурашки. Его объятия не разбудили в ней никакого ответного чувства; она даже не попыталась высвободиться. Теперь он понял, что именно изменилось в ней. Лицо у нее пожелтело и на лбу и на виске был виден длинный шрам, частью прикрытый волосами. Но не это изменяло ее. Изменяло то, что талия ее пополнила и казалась удивительно окостеневшей. Он вспомнил, как однажды, после взрыва ракетного снаряда, он помогал извлекать трупы из-под развалин и был поражен тем, как они тверды и неудобны для переноски, — это делало их более похожими на камни, чем на плоть. Ее тело казалось таким же. Он обратил внимание и на то, что кожа у нее стала совсем иной, чем была прежде.

Он не пытался поцеловать ее, и они еще не начинали разговора. Когда они выходили из калитки, она первый раз прямо взглянула на него. Этот мгновенный взгляд был полон презрения и отвращения. Он не мог понять: только ли прошлым вызывается это отвращение или оно было навеяно также видом его обрюзгшего лица и слезящихся глаз. Они

сели рядом, но не очень близко друг к другу, на железные стулья. Он видел, что сейчас она заговорит. Она выставила вперед ногу в грубом ботинке, наступила на прутик и нарочно сломала его. Он заметил, что и ноги у нее словно стали больше.

— Я предала тебя, — грубо, без обиняков, заявила она.

— Я предал тебя, — отозвался он.

— Она подарила его еще одним неприязненным взглядом.

— Иногда, — снова заговорила она, — они угрожают вам чем-то таким, что невозможно вынести . . . о чем невозможно даже и подумать. И тут вы говорите: «Не делайте этого со мной, пусть это будет с другим, пусть будет с тем-то и с тем-то». Можно, конечно, потом притворяться, что это была просто уловка, и что вы сказали так только затем, чтобы они перестали мучить вас, а на самом деле вы этого не хотели. Но всё это неправда. В то время, когда это произошло, вы думали то, что сказали. Вы считали, что другим путем спастись нельзя и хотели именно этим путем спасти себя. Вы хотели, чтобы это случилось с другим, а не с вами, и совсем не думали о том, на что вы его обрекаете. Вы думали только о себе.

— Вы думали только о себе, — повторил он, как эхо.

— И после этого вы уже не можете относиться к тому человеку так, как относились прежде.

— Да, это уже невозможно, — согласился он.

Больше им, как будто, не о чем было говорить. Ветер туго обтягивал на них тонкие комбинезоны. Оба почти одновременно почувствовали неловкость молчания. Кроме того, было слишком холодно сидеть неподвижно. Она что-то сказала насчет того, что ей нужно попасть на метро и поднялась уходить.

— Нам надо будет встретиться еще раз, — сказал он.

— Да, — подтвердила она, — надо встретиться.

Он некоторое время нерешительно шел за нею в полшаге позади. Они больше не говорили. Она, видимо, не ду-

мала о том, чтобы избавиться от него, но шла так быстро, что он не поспевал за нею. Он решил, что проводит ее до станции метро, но внезапно мысль о долгом путешествии по холоду показалась ему бессмысленной и невыносимой. Его не столько тяготила Юлия, сколько не терпелось поскорее попасть в кафе «Под каштаном». Он, как больной тоской по родине, видел свой столик в углу, газету, шахматную доску, видел, как бежит в стакан никогда не иссякающей струей джин. А самое главное, — в кафе должно быть тепло. Минуту спустя он, — очевидно, неслучайно, — позволил небольшой группе людей втереться между ним и Юлией. Он сделал слабую попытку догнать ее, потом замедлил шаг, повернулся и пошел в обратном направлении. Отойдя пятьдесят метров, он оглянулся. На улице было мало народу, но он уже не мог узнать Юлию. Любой из десятка торопившихся прохожих мог сойти за нее. А, может быть, ее расплывшаяся и окаменевшая фигура стала вообще неузнаваемой.

«В то время, когда это произошло с вами, — вспомнил он ее слова, — вы хотели сказать именно то, что сказали». Да, это так. Он сказал это неспроста, — он хотел этого. Он хотел, чтобы не он, а она была отдана на растерзание этим...

В дребезжащей музыке телескринна что-то изменилось. В нее ворвалась какая-то надтреснутая, насмешливая, трусливая нота. А потом... Впрочем, может быть, этого вовсе не было; может быть, это было просто воспоминанием, навеянным сходством мелодий, — но он услышал, как потом кто-то запел:

Под развесистым каштаном  
Предали друг друга мы...

Слёзы хлынули у него из глаз. Проходивший мимо официант заметил, что его стакан пуст, и подошел с бутылкой джина.

Он поднял стакан и понюхал. Каждый новый глоток джина вызывал все большее отвращение. Но джин стал те-

перѣ его стихией. Он был его жизнью, смертью, его воскресением. Это под влиянием его паров Уинстон погружался вечером в оцепенение, и те же пары возвращали ему жизнь наутро. Когда он, со слипшимися ресницами, с пылающим ртом и с такой болью в спине, словно она была переломлена, просыпаясь по утрам (редко раньше одиннадцати ноль-ноль), у него не хватало сил даже на то, чтобы подняться с постели, прежде чем он не отхлебнет из чашки, стоявшей рядом на столике. В полдень он, уже с лоснящимся лицом, сидел и слушал телескрин, то и дело подливая себе из бутылки. С пятнадцати часов и до закрытия кафе «Под каштаном» он был его завсегдатаем. Никого больше не интересовало, чем он занимается, никакие свистки не будили его по утрам, никто не увещевал его по телескрину. Время от времени, раза два в неделю, он заходил в пыльную, безлюдную канцелярию в Министерстве Правды и занимался там пустяшной работой или делал вид, что работает. Он был прикомандирован к подкомиссии какой-то подкомиссии, входившей, в свою очередь, в одну из бесчисленных комиссий, которые занимались устранением мелких затруднений, возникавших при составлении Одиннадцатого Издания словаря Новоречи. Они готовили какой-то Временный Доклад, но о чем именно докладывали, — этого Уинстон никогда так и не мог понять. Речь шла о том, где нужно ставить запятую: внутри скобок или за ними. В подкомиссии было еще четыре человека, и все — вроде Уинстона. Бывали дни, когда они встречались в канцелярии и тут же расходились, искренне соглашаясь, что делать им решительно нечего. Но бывало и так, что они брались за работу почти с воодушевлением, невероятно преувеличивая значение протоколов и длинных докладных записок, которые они писали, и которые вечно оставались незаконченными. При этом у них разгорались споры, настолько жаркие, запутанные и непонятные, что скоро сами спорщики забывали их причину. Они придирались к малейшей неточности в определениях, невероятно отклонялись от те-

мы, ссорились, грозили друг другу и даже жаловались вышестоящему начальству. А потом внезапно жизнь улетучивалась из них, и они сидели вокруг стола безмолвные, с потухшими глазами, словно духи на рассвете.

Телескрин на минуту умолк. Уинстон опять поднял глаза. Сводка? Нет, — просто сменили музыку. Он видел карту Африки даже с закрытыми глазами. Движение армий обозначалось на ней графически: черная стрела, устремленная вертикально на юг, и белая — горизонтально, на восток, по хвосту первой. Словно желая удостовериться, он поднял глаза на невозмутимое лицо на портрете. Можно ли поверить, что второй стрелы даже не существует?

Интерес к теме опять погас. Он отхлебнул из стакана, взялся за белого коня и сделал пробный ход. Шах. Но ход несомненно был неправильный, потому что . . .

Незванное, нахлынуло воспоминание. Перед ним возникла освещенная свечой комната с громадной постелью под белым покрывалом. Он увидел себя мальчиком лет девяти или десяти. Он сидел на полу, тряс стаканчик с костями и заразительно смеялся. Мать сидела напротив и тоже смеялась.

Это было, очевидно, за месяц до ее исчезновения. Был момент примирения, когда назойливое чувство голода было забыто, и в Уинстоне ожила прежняя привязанность к матери. Он хорошо помнил этот день: барабанную дробь проливного дождя, струи, бегущие по рамам, полусумрак комнаты, не позволявший читать. Двое детей, заключенных в тесную и темную каморку, невыносимо скучали. Младшая девочка то и дело принималась плакать. Уинстон хныкал, томился, просил от нечего делать есть, слонялся по комнате, передвигая с места на место вещи, или колотил башмаками в панель до тех пор, пока соседи не начинали стучать в стенку. Наконец мать сказала: «А теперь ведите себя хорошо, а я пойду и куплю вам игрушку. Хорошую игрушку, — она вам понравится». И пошла по дождю в маленький уни-

версальный магазин неподалеку, в котором иногда еще торговали, и вернулась оттуда с картонной коробкой. Уинстон до сих пор помнил запах этой влажной коробки, в которой находилась игра под названием «Вверх и вниз». Набор был жалкий. Доска оказалась надломленной, а крохотный деревянный кубик был так плохо сделан, что едва ложился. Уинстон угрюмо, без всякого интереса, смотрел на игрушку. Но мать зажгла свечу и расположилась с коробкой на полу. Скоро он был весь захвачен игрой, кричал и смеялся, когда фишка с надеждой ползла вверх по лестнице, а потом снова срывалась почти к тому месту, откуда начала. Они сыграли восемь партий, выиграв каждый по четыре. Маленькая сестренка Уинстона, ничего не понимая в игре, сидела опершись на валик для подушек и, глядя на то, как они хохочут, тоже смеялась. Весь вечер они чувствовали себя счастливыми вместе, как это бывало в дни его раннего детства.

Он отогнал воспоминание. Оно было ошибочным. Иногда его покой еще нарушался ложными воспоминаниями. Но они не имеют значения, если знаешь, что они собой представляют. Есть вещи действительно происходившие и есть такие, которые никогда не случались. Он склонился над шахматной доской и опять взялся за белого коня. И почти в ту же минуту фигура выпала у него из рук, со стуком ударившись о доску. Уинстон выпрямился, словно в него вонзили булавку.

Пронзительный звук трубы прорезал воздух. Сводка! Победная сводка! Вот он, — трубный глас, — неизменный предшественник вести о победе! Слово электрический ток пробежал по кафе. Даже официанты замерли на своих местах и насторожились.

Звук трубы сменился долгим неистовым шумом. Уже взволнованный голос что-то торопливо говорил по телескрину, но его все еще заглушал вой ликования, доносившийся снаружи. Каким-то таинственным образом весть уже успела распространиться по улицам. Из слов диктора Уинстон су-

мел только понять, что все произошло именно так, как он и предвидел: громадная, тайно сконцентрированная десантная армада, внезапный удар по тылам врага, — белая стрела, отсекающая хвост черной. Обрывки победных фраз доносились до него сквозь шум: «Колоссальный стратегический маневр . . . отличная координация . . . сокрушительное поражение . . . полмиллиона пленных . . . полная деморализация . . . овладение всей Африкой . . . один шаг до конца войны . . . победа . . . величайшая в истории человечества победа! . . . Победа, победа, победа!»

Ноги Уинстона конвульсивно дернулись под столом. Он не двинулся с места, но мысленно он бежал, стремглав мчался на улицу, был уже в толпе и вместе с толпой оглушительно кричал «ура». Он опять поднял глаза на портрет Старшего Брата. Колосс, попирающий мир! Гранитная скала, о которую тщетно бьются азиатские орды! Он вспомнил, как десять минут тому назад, — да, всего десять минут! — он сомневался в том, что принесет сводка: победу или поражение. Ах, не одна только евразийская армия погибла сегодня! Многое изменилось в нем с того первого дня, когда он оказался в Министерстве Любви, но последний и необходимый шаг к исцелению сделан только сейчас, вот в эту минуту.

Диктор продолжал свой рассказ о военнопленных, о грабежах и резне, но крики за окном немного утихли. Официанты снова взялись за работу. Один из них подошел с бутылкой джина. Уинстон, сидевший в блаженном забытьи, не заметил, как наполнился его стакан. Он больше никуда не бежал, не кричал «ура». Он был снова в Министерстве Любви. Снова все было забыто и прощено, и душа его стала белой, как снег. Он сидел на скамье подсудимых перед показательным судом, признавался во всем и всех запутывал. Он шел по коридору, облицованному белыми изразцами, с таким чувством, будто он гуляет на солнышке, и вооруженный стражник шел за ним. Долгожданная пуля вошла ему в мозг.

Он вгляделся в громадное лицо. Сорок лет понадобилось ему на то, чтобы разгадать что за усмешка таится под черными усами! О, как жестоко и нелепо он заблуждался! О, как упрямо избегал того, чьё сердце преисполнено любви к нему! Пьяные слёзы покатались по его щекам. Но теперь всё хорошо, всё хорошо, — битва кончена. Он одержал победу над собой. Он любил Старшего Брата.



STAMPATO IN ITALIA  
*(Printed in Italy)*  
LITOSTAMPA NONENTANA  
ROMA